



Олдос Хаксли

# ЛУДЕНСКИЕ БЕСЫ

## Annotation

Написанные в 1952 г. «Луденские бесы» явились большой неожиданностью для почитателей всемирно известного английского писателя Олдоса Хаксли.

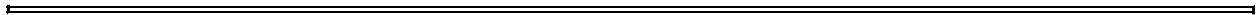
Впервые у Хаксли это не художественная проза, а «нон-фикшн», — исторические хроники о знаменитом массовом сексуальном помешательстве монахинь из монастыря Ангелов во французском местечке Луден. Этот сюжет не раз использовался кинематографистами. На русский язык «Луденские бесы» переводятся впервые.

---

- [Олдос Хаксли](#)
  - [«Перекличка через столетия»](#)
  - [Глава первая](#)
  - [Глава вторая](#)
  - [Глава третья](#)
    - [I](#)
    - [II](#)
    - [III](#)
  - [Глава четвертая](#)
  - [Глава пятая](#)
  - [Глава шестая](#)
  - [Глава седьмая](#)
    - [I](#)
    - [II](#)
  - [Глава восьмая](#)
  - [Глава девятая](#)
  - [Глава десятая](#)
  - [Глава одиннадцатая](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)

- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)

- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)



**Олдос Хаксли**  
**Луденские бесы**

## «Перекличка через столетия»

Написанные в 1952 г. «Луденские бесы» явились большой неожиданностью для почитателей всемирно известного английского писателя Олдоса Хаксли (1894–1963). Во-первых, это не роман, а основанный на документах пространный исторический очерк, описывающий Францию эпохи Людовика XIII и кардинала Ришелье (первая половина XVII в.). Меж тем Хаксли был знаменит именно как романист. Начиная с «Шутовского хора» и «Контрапункта», появившихся еще в 1920-е, его всегда воспринимали как законного наследника великой традиции нравоописательного романа с яркими сатирическими красками, — той, что в английской литературе представлена именами самого первого ряда: от Дефо и Смоллета до современности. И вдруг под старость Хаксли словно забывает о своем призвании прозаика. Его влекут совершенно новые для него литературные формы — документальная проза и этико-философский трактат.

Во-вторых — и это было еще удивительнее — книга оказалась вовсе не сатирической, вообще далекой от стихии смеха, которую справедливо считали самой органичной для Хаксли. Правда, сам он, принявшись под конец рассказа разъяснять смысл своего произведения, говорил о том, что, по меньшей мере, одно из главных действующих лиц, настоятельница по имени Иоанна от Ангелов<sup>[1]</sup>, против собственной воли постоянно выставляет себя на посмеище, больше того, использует, сама того не сознавая, «все приемы комедии: внезапные смены масок, абсурдные трюки, чрезмерность в поступках...» Однако у читателей, познакомившихся с историей, рассказанной Хаксли, вряд ли возникнет «реакция отстранения, то есть чисто комический эффект». Эта история скорее пробудит совсем иные чувства: любопытство, недоумение, сострадание, страх, но только не ощущение нелепости, вызывающей улыбку.

Хаксли написал книгу о фанатизме, нетерпимости и массовой истерии, которой всегда сопровождаются расправы над идейно подозрительными и неугодными. Если вдуматься, эта книга вполне органична для его творчества. Ведь Хаксли знает прежде всего как автора антиутопии «О дивный новый мир» (1932), в которой описано общество, где никто не свободен, потому что свобода принесена в жертву вульгарному житейскому благоденствию, помноженному на безмыслие. Но в той книге события разворачиваются по прошествии многих веков, когда на земле наступила

«эра Форда». Время там — условное время, пусть приметы реальности нашего столетия совершенно ясно проступают за воссозданной у Хаксли картиной «победившего разума», ведь эта победа означает торжество предельного обезличивания и повсеместно насаждаемого стандарта, подавление не только недовольства в любых его формах, но и самых робких попыток жить собственным чувством и умом.

«О дивный новый мир» — вымысел, хотя никто не назовет этот вымысел произвольным. «Луденские бесы» — опыт реконструкции реально происходивших событий. То обстоятельство, что они происходили за триста лет до появления книги Хаксли, нисколько не сказывалось на актуальности этой книги. Она была актуальной в прямом и точном значении слова, можно даже сказать — злободневной. Хаксли работал над ней в Калифорнии, где жил с конца 1930-х. Шла, приближаясь к своему апогею, «холодная война». В СССР развернулась позорная кампания, именовавшаяся «борьбой с космополитизмом»: мощная карательная машина не простаивала ни минуты, а власть прилагала все усилия, чтобы заразить бациллами шовинизма и расизма сознание масс. В США сенатор Дж. Маккарти возвестил начало крестового похода, направленного на искоренение «антиамериканской деятельности», и все развивалось по знакомому сценарию: вызовы в специальные комиссии, интересовавшиеся взглядами и политическим прошлым неблагонадежных, чистки, аресты, запреты на профессию. У Хаксли персонажи заняты тем, что изгоняют бесов, или указывают на тех, в кого вселился бес, или отчаянно стараются доказать: с бесами они никогда не знали. Тем же самым занималось чуть ли не полмира в те годы, когда Хаксли работал над своей книгой. Перекличка через столетия возникала как бы самопроизвольно, даже если автор не стремился к аналогиям.

Он, впрочем, наверняка к ним стремился, чутьем художника уловив, что документальная проза, основанная на свидетельствах, которые извлечены из очень старых хроник, способна рассказать о кошмаре происходящего вокруг достовернее, чем беллетристика, созданная по горячему следу событий. В Америке такая беллетристика появлялась — за год до «Луденских бесов» молодой, но уже очень известный писатель Норман Мейлер выпустил смелый по замыслу роман «Берег варваров», где были проставлены многие точки над *i*, — но эффект таких произведений все-таки оказывался неглубоким. Там преобладали сенсационность и довольно прямолинейная обличительность, тогда как, по существу, требовалось все-таки другое. Требовалось умение проникнуть в механику подобного экзорцизма, осуществляется ли он по причинам религиозного

или откровенно политического характера, а также способность понять и воссоздать те особенности массовой психологии, которые позволяют экзорцистам действовать, не опасаясь сопротивления.

Факты, извлеченные Хаксли из книги Ф. Кремона «История религиозного чувства во Франции» (одного из важнейших источников для интересующихся эпохой Ришелье), как раз и предоставляли возможность, не прибегая к слишком прозрачным иносказаниям, коснуться существа дела. Маниакальная одержимость, побуждающая в любой человеческой слабости усматривать сатанинские происки, изобличать ересь, когда ее нет и в помине, лжесвидетельствовать с искренней уверенностью, что так необходимо «для пользы дела», и потом с изуверским наслаждением наблюдать корчи сжигаемого на костре, — все это слишком часто повторялось в разные эпохи и под разными небесами. У Хаксли были основания заключить, что повторяемость этих печальных обстоятельств необъяснима, пока самой человеческой природе не будет уделено, по меньшей мере, столько же внимания, что и политическим интригам или диктату идеологии, не считающейся с моралью.

На склоне лет у него выявился особенно стойкий интерес как раз к той стороне жизни, которую заглавием своей известной философской работы он обозначил как «врата восприятия». Хаксли подразумевал полуосознанные, а порой вовсе неосознанные стимулы поведения, индивидуальные душевные свойства и психологические особенности, заставляющие людей совсем по-разному трактовать одни и те же явления, а также и возможность тем или иным способом воздействовать на эти механизмы. Многое из того, что описано в «Луденских бесах», — мотивация действий Иоанны с ее подавляемым, но неотступным ощущением своей ущербности, доходящий до исступления экстаз монахинь, которые возводят дикие поклепы на обреченного отца Грандье, — в представлении Хаксли является результатом ложно устроенного «восприятия» его персонажей. Их своекорыстие, малодушие, предрассудки, страхи, так же как политические выкладки принца Конде или далекие расчеты кардинала, замыслившего использовать луденские происшествия с целью восстановить во Франции инквизицию, — для Хаксли скорее дополнительные, чем определяющие причины разыгравшейся трагедии.

История Жан-Жозефа Сурена, который сменил жалкого и несчастного Грандье, призвана стать доказательством великой, поистине магической силы корректного восприятия: оно способно в буквальном значении слова лечить не только души, но и тела. Пока Сурен, мобилизуя всю свою волю,



борется с искушениями и приучает себя к строгой аскезе, пока он верит в бесов так, словно сам с минуты на минуту окажется одержим ими, и понапрасну растрчивает духовные силы, пытаясь исцелить настоятельницу, этот молодой иезуит остается, в глазах Хаксли, существом душевно неполноценным и потенциально больным. Десятилетнее пребывание Сурена в психосоматическом параличе воспринимается как неизбежный результат подобных аномалий, проистекающих из превратного толкования отношений между Богом и человеком. Однако аномалии в конечном счете будут выправлены, и сцена, когда Сурен делает первые, еще неуверенные шаги в саду, заваленном осенними листьями, приобретает глубоко символический смысл. Пройдя через испытания и муки, он выжил, потому что исцелился духовно. Или же, придерживаясь терминологии Хаксли, обрел верное восприятие.

Верным оно становится с той минуты, как человек, вопреки церковным догматам воссоздаваемого времени, проникается мыслью о необходимости единства с природой, ибо это единственный путь к единству с Богом. Французский философ-экзистенциалист Габриэль Марсель, современник Хаксли, оказавший на него сильное влияние, обосновал доктрину, обладающую особой важностью для понимания всех произведений, созданных английским писателем под конец пути. Марсель доказывал, что отношения человека и Бога возникают не вопреки природе, а в ней самой, и никогда не строятся как ее преодоление. История Сурена, в сущности, иллюстрирует некоторые фундаментальные положения доктрины французского мыслителя, пережившего Хаксли на десять лет: объективный мир и мир нашего личного, сокровенного существования должны быть резко разграничены, и существенно только наше отношение к окружающей реальности, а вовсе не она сама во всей ее жестокой хаотичности. Жизнь — это таинство, и постижение ее тайн всегда интуитивно. Пока мы скованы догмой, пусть даже внушающей нам безусловное доверие, жизнь никогда не подчинится ни нашей воле, ни попыткам ее усовершенствовать. Истина чувства непременно выше и надежнее, чем самые изощренные выкладки ума.

Церковная история свидетельствует, что Сурен умер в 1665 г. в состоянии благодати (тогда как Иоанне от Ангелов было в ней отказано, несмотря на покаяние). Снизшла ли на него благодать благодаря обретенному новому восприятию порядка вещей в мире — в любом случае недоказуемо. Можно лишь отметить, что исторический Сурен, если его мысль действительно развивалась в направлении, указанном Хаксли, должен был оказаться в тяжелом конфликте с церковью, которой он

служил. Церковь, а в особенности орден иезуитов, рассматривали природу как царство греховности, оттого и требуя обуздания чувственности.

В сознании Хаксли, как раз наоборот, органичное слияние с природой — порука здоровья не только нравственного, но и физического. Эта идея — то с отсылками к Марселю, то с аргументацией, почерпнутой из философии буддизма, которой писатель был столь же сильно увлечен в свои последние годы, — обязательно возникает у Хаксли, о чем бы он ни писал после того духовного перелома, который пережил сразу после Второй мировой войны (и видимо, под шоковым воздействием, которое она на него оказала). С суждениями Хаксли чаще спорили, чем соглашались, и это естественно. Случай, когда прирожденный писатель на самом деле непринужденно чувствует себя в стихии философии, нетипичен, и это явно не случай Олдоса Хаксли.

Но и не соглашаясь с главной идеей, как не оценить в «Луденских бесах» точности и выразительности картин всеобщего ослепления, испепеляющей ненависти, стихийно зарождающегося насилия, — жестко написанных картин, которые высветили травмирующий духовный и нравственный опыт XX века. Как хроникер этого столетия, никогда не поддававшийся успокоительным иллюзиям и самообманам, Хаксли занимает в европейской литературе особое место. И его книга, созданная на материале намного более раннего времени, все равно воспринимается скорее не как панорама давних событий, а именно как размышление над болезненными явлениями нашей эпохи, теми, которые, как ни жаль, еще не сделались только достоянием архивистов.

*Алексей Зверев.*

## Глава первая

В 1605 году Джозеф Холл<sup>[2]</sup>, автор сатир и будущий епископ, впервые посетил Фландрию. «По пути нам встретилось множество церквей, от коих не осталось ничего, кроме груды обломков, повествующих прохожему о былом благочестии и братоубийстве. О, горестные следы войны!.. Однако (чему я немало удивился) хоть храмы и повержены, повсюду попадаются иезуитские коллежи. Мне не встретилось ни единого города, где вышеуказанные учебные заведения уже не открыли бы свои двери либо же не находились в стадии постройки. Чем объяснить сие явление? Неужели политика важнее благочестия? Эта порода (обычно так говорят о лисицах) более всего преуспевает там, где ее больше всего проклиняют. Они повсеместно осуждаемы и ненавидимы, наши сторонники противятся их влиянию всеми своими силами, и все же сии плевелы произрастают пышным цветом».

А появлялись коллежи в таком изобилии по очень простой и внятной причине: на них был спрос. Холл и его современники отлично знали, что для иезуитов важнее всего была «политика». Члены ордена создавали свои школы для того, чтобы помочь римско-католической церкви в борьбе с врагами, вольнодумцами и протестантами. Славные пастыри надеялись, что своими наущениями взрастят сословие образованных людей, всецело преданных интересам церкви. Красноречиво выразился Черутти (доведя этим высказыванием до неистовства Жюль Мишле<sup>[3]</sup>):

«Точно так же, как младенцу в колыбели выправляют рахитичные конечности, необходимо с раннего возраста выправлять человеку волю, дабы она на протяжении всей жизни пребывала здоровой и благодатной». Намерения у учителей были самые решительные, только вот пропагандистская методика хромала. Невзирая на все «выправления», некоторые из лучших иезуитских питомцев по окончании коллежа становились заядлыми вольнодумцами, а то и, подобно Жану Лабадьё<sup>[4]</sup>, протестантами. В том, что касалось «политики», система образования не оправдала надежд своих создателей. Публику политические материи не интересовали; публику интересовали хорошие школы, где сыновей научили бы всему, что положено знать образованному молодому человеку. Иезуиты удовлетворяли этот спрос лучше, чем кто бы то ни было.

«Что я наблюдал в течение семи лет, проведенных под иезуитским кровом? Умеренность, прилежание, любовь к порядку. Каждый час они

посвящали нашему обучению и неукоснительному соблюдению своих обетов. В свидетели своей правоты призываю тысячи и тысячи тех, кто, подобно мне, получил образование у иезуитов». Так писал Вольтер, подтверждая эффективность орденской педагогической системы. И в то же время вся биография Вольтера красноречиво показывает, насколько тщетны были попытки педагогов направить свою науку на цели «политики».

Когда Вольтер учился в коллеже, иезуитские школы были привычным и хорошо известным явлением. Но веком ранее достоинства коллежей казались поистине революцией в педагогике. В ту эпоху большинство учителей были невежами и освоили разве что науку обращения с розгой, а иезуиты использовали относительно гуманные способы стимулирования тяги к знаниям, да и наставники в их школах проходили специальное обучение и тщательный отбор. Здесь превосходно преподавали латынь, рассказывали о новейших открытиях в области оптики, географии, математики, о литературе (на рубеже шестнадцатого и семнадцатого веков в моде была драматургия), учили хорошим манерам, почитанию церкви и королевской власти — во всяком случае, во Франции, после перехода Генриха IV в католичество. Вот почему иезуитские коллежи пришлись по вкусу всем в типичной богатой семье: и чадолюбивым матерям, которым не хотелось отдавать свое дитя на муки старозаветного образования, и богобоязненному ученому дяде, свято верившему в догматы и цистероновое красноречие, и, главное, отцу, государственному человеку и патриоту, придерживавшемуся монархических принципов, или предусмотрительному буржуа, отлично понимавшему, что иезуиты с их широкими связями сумеют устроить своего воспитанника на хорошую должность, либо приискать ему местечко при дворе, либо помочь с церковной синекурой.

Взять, к примеру, почтенную супружескую пару — господина и госпожу Корнель из города Руана (глава семейства — королевский адвокат, его спутница жизни — урожденная Марта ле Пезан). Их сынок Пьер такой способный мальчик, как было не послать его в коллеж? Или вот господин Жоаким Декарт, парламентский советник из города Ренна. В 1604 году он отправил своего младшенького, премилого восьмилетнего мальчугана по имени Рене, учиться в Ла-Флеш, где незадолго перед тем с королевского благословения открылся иезуитский коллеж. Так же и примерно в то же время поступил ученый каноник Грандье из Сента. У него был племянник, сын юриста — хоть и не столь блестящего, как мэтр Декарт или мэтр Корнель, но все же вполне respectable члена общества. Мальчика звали Урбен, ему сравнялось четырнадцать, и был он куда как умен. Урбен безусловно заслуживал самого хорошего образования, а близ Сента не было

школы лучше, чем иезуитский коллеж в Бордо.

Это знаменитое учебное заведение включало школу для мальчиков, коллеж изящных искусств, семинарию и лицей для братии, пожелавшей углубить свои знания. Здесь обладавший блестящими способностями Урбен провел более десяти лет: сначала школяром, потом студентом теологического факультета, а после принятия духовного сана (это произошло в 1615 году) — послушником иезуитского ордена. Впрочем, становиться монахом он не собирался — не чувствовал в себе достаточного призвания, чтобы подчинить свою жизнь строгой орденой дисциплине. Нет, Грандье надеялся преуспеть на поприще не монашеского, а священнического служения. Человек, обладающий такими способностями, да еще и пользующийся покровительством самой могущественной из церковных структур, мог надеяться здесь на многое. Например, стать духовником какого-нибудь — знатного вельможи, наставником будущего маршала Франции или кардинала. Наверняка будут приглашения блеснуть красноречием перед конгрегацией князей церкви, перед принцессами крови, а то и перед самой королевой. Не исключалось и участие в дипломатических миссиях, высокие административные посты, богатые синекеры, аппетитные ренты. А если повезет — хоть это было и маловероятно, учитывая недворянское происхождение Урбена, — удастся и увенчать голову епископской митрой, дабы позолотить закатную пору своей жизни.

В начале карьеры Урбена казалось, что самые смелые из ожиданий вполне осуществимы. В двадцать семь лет, после двухлетнего углубленного изучения теологии и философии, молодой священник получил вознаграждение за долгие годы прилежания и примерного поведения. Орден даровал ему завидный приход Сен-Пьер-де-Марше в городе Лудене. Одновременно, волей все тех же благодетелей, его назначили каноником коллежской церкви Святого Креста. Итак, первая ступенька была покорена, теперь оставалось только подниматься вверх по лестнице.

Подъезжая к месту жительства своей новообретенной паствы, отец Грандье мог видеть холм, на холме — маленький городок, над городком — две высоких башни: шпиль собора Святого Петра и донжон старинного замка. В символическом смысле этот силуэт уже являлся анахронизмом. Хоть готическая колокольня и накрывала своей тенью половину города, большинство луденцев придерживались гугенотской веры и взирали на сей храм с отвращением. Что же касается замка, в свое время выстроенного (пуатевенскими) графами Пуату, то он все еще впечатлял мощью, однако дни его могущества уже были сочтены. Скоро к власти придет Ришелье и

не оставит камня на камне как от родовых твердынь провинциальной знати, так и от самой местной автономии. Молодой человек, разумеется, не мог знать, что ему выпало жить в эпоху завершения междоусобицы, за которой последует пролог великой национальной революции.

У городских ворот на муниципальной виселице догнивал труп, а то и пара. Внутри же стен приезжего встретили грязные улочки и пестрая смесь самых разнообразных запахов и зловоний — от дыма очагов до нечистот, от гусяного помета до благовоний, от свежего печева до конского пота, от смрада свинарников до вони немытого человеческого тела.

Крестьяне, ремесленники, бродяги, слуги и прочие голодранцы составляли безгласное и безвестное большинство четырнадцатитысячного населения города. Рангом повыше были лавочники, мастера и мелкие чиновники, чуть-чуть не достигшие нижней ступеньки, с которой начиналась буржуазная респектабельность. Выше, удобно устроившись на плечах черни, пользуясь многочисленными привилегиями и свято веря в свое божественное право, благоденствовали богатые купцы, ученые люди почтенных профессий и дворяне, причем у последних еще имелась и своя собственная иерархия: внизу — мелкопоместные землевладельцы, над ними — богатые помещики, еще выше — магнаты и князья церкви. На этом фоне редкими исключениями смотрелись оазисы культуры и свободной мысли. В остальном же преобладала удручающая атмосфера бездуховности и провинциализма. Богатые заботились только о деньгах и собственности, страстно рвались к почестям и привилегиям. На две, самое большее три тысячи платежеспособных клиентов, нуждавшихся в юридических услугах, в Лудене приходилось двадцать адвокатов, восемнадцать стряпчих, восемнадцать судебных исполнителей и восемь нотариусов.

Время и энергия, остававшиеся от погони за прибылью, растворялись в повседневности: радостях и тревогах семейной жизни, перемывании косточек соседям, религиозных обрядах и еще — ибо Луден был городом, разделенным на два лагеря — теологических дискуссиях. Во время пастырского служения отца Грандые в городе не произошло ни одного события, которое свидетельствовало бы об истинном благочестии прихожан — во всяком случае, история подобных сведений не сохранила. Духовной жизнью бывают увлечены лишь люди исключительные, которым по внушению свыше доподлинно известно, что Бог — начало духовное, и потому поклоняться Ему следует не умом, а сердцем.

Впрочем, наряду с изрядным числом ничтожеств и негодяев, имелись в городе Лудене и жители добрые, добропорядочные, искренне веровавшие в

Господа и отличавшиеся неподдельной набожностью. Однако святых тут не водилось — то есть таких людей, одно присутствие которых является неопровержимым доказательством вечности бытия и сливается в унисон с Божественным Основанием всего сущего. Пройдет еще шестьдесят лет, прежде чем святая переступит городскую черту. Луиза де Тронше, после множества физических и духовных испытаний, найдет пристанище в луденской больнице, где будет помогать страждущим. Вокруг этой женщины сразу образуется очаг энергии и духовности. Люди всех возрастов и сословий будут стекаться к ней, чтобы узнать о Господе, чтобы получить совет и помощь. «Нас здесь слишком сильно любят, — писала Луиза своему прежнему духовнику в Париж. — Это внушает мне стыд; когда я говорю о Господе, люди приходят в такое волнение, что раздражаются рыданиями. Меня страшит то, что своими действиями я заставляю их любить меня все сильнее и сильнее». Ей хотелось бежать из города, спрятаться, но она стала заложницей всеобщей любви. Иной раз, когда Луиза молилась, больные исцелялись. Все были уверены, что выздоровлением они обязаны святой, а та приходила в ужас и сгорала от стыда. «Если бы я и в самом деле совершила хоть одно чудо, — писала она, — я сочла бы себя проклятой».

Несколько лет спустя ее перевели из Лудена, и окошко, через которое город озарялся неземным сиянием, померкло. Вскоре религиозное рвение пошло на убыль, забота о духовной жизни угасла. Луден вернулся к своему всегдашнему состоянию — точно такому же, как двумя поколениями раньше, когда сюда прибыл Урбен Грандье.

С самого начала общество в своем отношении к новому кюре разделилось на две половины. Большинству представительниц более благочестивого из полов молодой священник пришелся по нраву. Его предшественник был полным ничтожеством, а этот пастырь имел цветущий вид, был высок, отменно сложен, держался важно и даже (по словам одного современника) величественно. У него были большие темные глаза, из-под берета выбивались пышные черные кудри; высокий лоб, орлиный нос, подвижный, краснотубый рот. Прибавьте к этому остроконечную бородку, напыженные усы на манер двух вопросительных знаков, и перед вами, читавшими «Фауста», предстанет Мефистофель — только миловидный и несколько полноватый, а умом если и уступающий Сатане, то самую малость.

Привлекательной внешности сопутствовали хорошие манеры и природный дар красноречия. Грандье умел одарить собеседницу изящным комплиментом, да еще и присовокупить такой взгляд, который грел душу

жарче слов — в особенности если дама была недурна собой. Довольно скоро стало ясно, что новый пастырь проявляет к прихожанкам не вполне пастырский интерес.

Та серая, предрассветная эпоха может быть названа Эрой Респектабельности. На протяжении всех средних веков официальный кодекс католической церкви и реальный образ жизни ее служителей не имели между собой ничего общего. Трудно найти хоть одного средневекового или ренессансного писателя, кто не был бы преисполнен убеждения, что все попы — от высшего прелата до последнего монашка — склонны к непотребству. Разложение церковного сословия повлекло за собой Реформацию, а та, в свою очередь, Контрреформацию. После Тридентского собора скандальное поведение понтификов стало уходить в прошлое и к середине семнадцатого века окончательно сошло на нет. Даже епископы, единственным достоинством которых было то, что все они, как правило, были младшими сыновьями знатных семейств, стали пытаться вести себя прилично. За нравственностью низшего духовенства теперь приглядывала бдительная церковная власть, а за ней самой изнутри следили ревностные блюстители религиозной чистоты вроде членов Общества Иисуса или ора토리анцев<sup>[5]</sup>.

Во Франции, где короли использовали церковь как инструмент укрепления центральной власти за счет подавления протестантов, крупных феодалов и провинциальных автономий, за поведением клира присматривала сама монархия. Народ не станет внимать церковникам, запятнанным скандальным поведением. А в стране, где царствовал закон, гласивший, что «государство — это я»<sup>[6]</sup>, то же самое можно было сказать и о церкви. Посему неуважение к церкви было равносильно неуважению к персоне монарха. Бейль<sup>[7]</sup> пишет в одном из бесчисленных примечаний к своему монументальному «Словарю»: «Помню, однажды я спросил некоего дворянина, рассказывавшего мне о беспутстве венецианского духовенства, как терпит Сенат республики подобное непотребство, ущемляющее честь религии и государства. Он ответил, что соображения общественного блага вынуждают власть проявлять снисходительность. Поясняя сей парадокс, он присовокупил, что Сенат вполне устраивает положение, при котором священники и монахи не вызывают у народа ничего, кроме презрения, ибо это лишает их возможности подбивать людей к мятежу. По словам этого господина, одна из причин, по которым иезуиты не угодны государю, состоит в том, что они держатся с достоинством и оттого пользуются уважением черни, а стало быть, способны возглавить



недовольство».

Во Франции на протяжении всего семнадцатого столетия государство придерживалось по отношению к духовенству прямо противоположной политики. Венецианский Сенат опасался чрезмерного влияния церкви и всячески поощрял непристойное поведение пастырей, относясь с подозрением к респектабельным иезуитам. Французская же монархия, мощная и проникнутая национальным духом, не боялась римского засилья и рассматривала церковь как удобный механизм управления подданными. Поэтому короли покровительствовали иезуитам и искореняли пороки духовенства — либо же, по крайней мере, пресекали публичное их проявление<sup>[8]</sup>.

(В начале описываемого периода «тридентские статуты никак не подействовали на состояние церкви. В 1560 году состоялось заседание королевского совета... Шарль де Марийяк, епископ Вьенский, заявил там, что ецклезластическая дисциплина канула в прошлое, что никогда еще духовенство не вело себя столь непристойно, а скандалы не приключались столь часто... Французские прелаты, уподобляясь немцам, завели обычай собирать со священников „куллаглум“, а тем из них, кто не содержал наложниц, велят все равно вносить положенный штраф». «Из всего этого очевидно, что тридентским отцам не удалось поднять нравственный уровень клира, однако исследование протоколов церковных судов показывает, что на протяжении семнадцатого и восемнадцатого веков, по мере постепенного развития общественной морали, открытое проявление бесстыдного цинизма со стороны духовных лиц становилось все большей редкостью». Особое значение придавалось тому, чтобы любыми способами избежать огласки и скандала. Если священник жил с любовницей, то непременно выдавал ее за сестру или племянницу. По кодексу 1668 года было установлено, что монахи Ордена минимитов не будут отлучаться от церкви, «если перед тем, как уступить плотскому соблазну либо совершить кражу, позаботились снять монашеское облачение». Все это время предпринимались спазматические попытки приучить духовенство к пристойному поведению. Например, в 1624 году преподобный Рене Софье был уличен в развратных действиях с женой некоего магистрата, причем прелюбодеяние свершилось прямо в церкви. Лейтенант уголовной полиции Ле Манса приговорил преступника к повешению. Тот подал апелляцию в парижский парламент, который заменил приговор на сожжение заживо).

Новый кюре начал свою церковную карьеру в эпоху, когда скандалы в среде духовенства были еще довольно частым явлением, но уже воспринимались властями крайне неодобительно.

Один из младших современников Урбена Грандье, Жан-Жак Бушар, оставил потомкам описание своего детства и юности. Этот документ исполнен такой клинической бесстрастности, настолько лишен каких-либо проявлений раскаяния и моральной оценки, что исследователи девятнадцатого века осмелились издать его лишь ограниченным тиражом, для специалистов, причем сочли своим долгом объявить автора явным и несомненным безумцем. Однако для поколения, выросшего на книгах Хэблока Эллиса, Крафт-Эбинга, Хиршфельда и Кинси, сочинение Бушара вовсе не выглядит таким уж возмутительным. Оно не шокирует, но все же впечатляет. Поистине странно читать, как спокойно и невозмутимо подданный Людовика XIII описывает всевозможные разновидности нестандартной сексуальной деятельности — будто это современная студентка пишет курсовую по антропологии или психиатр излагает историю болезни! Декарт старше Бушара на десять лет. Однако задолго до того, как великий мыслитель приступил к вивисекционистским опытам над воющими от боли «автоматами», известными также под вульгарным названием «кошек» и «собак», Бушар уже ставил психо-химико-физиологические эксперименты с горничной своей матушки. Когда он заинтересовался указанной девицей, она была благочестива и почти фанатично добродетельна. Проявив терпение и изобретательность, достойные академика Павлова, Бушар переориентировал сей продукт слепой веры на не менее истовую веру в догматы натурфилософии, так что горничная охотно согласилась стать объектом экспериментаторства и даже сама занялась исследованиями. На столе подле кровати Жан-Жака лежало с полдюжины фолиантов по анатомии и медицине. В перерывах между штудиями, а иногда и между высоконучными ласками, сей диковинный предшественник Пlossa и Бартельса раскрывал «De Generatione», Фернелиуса или Ферандуса и проводил сопоставление практики с теорией, глава за главой и параграф за параграфом. В отличие от большинства современников, он ничего не принимал на веру. Лемниус или Родерикус а-Кастро могли писать все что им заблагорассудится о поразительных и пугающих свойствах менструальной крови, но Бушар хотел убедиться сам, насколько все эти утверждения соответствуют действительности. При активной помощи горничной, заразившейся исследовательским пылом, он произвел череду опытов, безжалостно разоблачив врачей, философов и теологов, морочивших людям голову с незапамятных времен. Выяснилось, что менструальная кровь вовсе не уничтожает траву, не замутняет зеркала, не губит побеги виноградника, не растворяет асфальт и не оставляет нестираемых пятен ржавчины на клинках. Биологическая наука потеряла

одного из самых рьяных своих энтузиастов, когда Бушар был вынужден покинуть Париж, дабы избежать женитьбы на своей помощнице и *congrus vile*<sup>[9]</sup>. Жан-Жак отправился к папскому двору ловить фортуна. Запросы у него были самые скромные: он рассчитывал получить в родном городе или, на худой конец, в Бретани какую-нибудь маленькую епархию с доходом в шесть-семь тысяч ливров в год. (Примерно столько же, шесть с половиной тысяч в год имел Декарт, выгодно распорядившийся отцовским наследством. Доход, конечно, не княжеский, но вполне достаточный для философа, желающего жить с комфортом). Бедному Бушару так ничего и не перепало. Современникам он был известен всего лишь как автор смехотворного труда «Панглоссия», собрания стихов на сорока шести языках, в том числе коптском, перуанском и японском. Умер Жан-Жак не достигнув сорокалетнего возраста.

Новый луденский кюре был вполне нормальным мужчиной и не имел намерения превращать свою спальню в лабораторию. Однако, подобно Бушару, он происходил из почтенного буржуазного семейства; получил образование точно в таком же пансионе; был столь же умен и образован, как и подобало приверженцу гуманизма; наконец, как и Бушар, он рассчитывал сделать на церковном поприще блестящую карьеру. В социальном и культурном отношении два эти француза очень напоминали друг друга, хоть были и совсем несхожи характером. Поэтому то, что Бушар рассказывает о своем детстве, школьных годах и развлечениях, дает нам представление и о среде, в которой сформировался Грандье.

Мир, открывающийся нам на страницах бушаровых «Признаний», во многом напоминает картину полового созревания, изображаемую современной сексологией — разве что с некоторым перебором. Автор описывает, как подростки развлекаются сексуальными игрищами, вполне свободно и беспрепятственно; судя по всему, взрослые в их забавы совершенно не вмешивались. Добрые отцы-иезуиты не слишком утомляли мальчиков занятиями, и сорванцы давали выход своей энергии, постоянно занимаясь мастурбацией и предаваясь гомосексуализму. До некоторой степени школяров сдерживали благочестивые беседы, проповеди, молитвы и ритуал исповеди. Например, Бушар рассказывает, что во время четырех великих церковных праздников он предпочитал воздерживаться от своих обычных сексуальных игр — иной раз ему удавалось продержаться целых восемь, а то и десять дней. Однако ни разу периоды целомудрия не достигали двух недель, *quoique la devotion le gourmandast assez* — «несмотря на то, что благочестие его до некоторой степени сдерживало». В любой ситуации факторы, воздействующие на поведение человека, могут

быть изображены геометрически в виде параллелограмма, основанием которого станет желание или стремление, а вертикальной стороной — этический или религиозный идеал. В случае Бушара, как, очевидно, и в случае прочих школяров, соучастников его забав, вертикальная сторона была такой короткой и так близко лънула к горизонтальной, что угол между ними получался минимальным.

Когда Бушар во время каникул возвращался в отчий дом, родители укладывали его спать в ту же комнату, где ночевала горничная, юная и целомудренная девица.

Бодрствуя, она была сама добродетель, однако ночью, когда она спала, с ней можно было делать все, что угодно. Собственно говоря, не так важно, действительно ли она спала или притворялась.

Позднее, когда школьные годы остались позади, Жан-Жак увлекся пастушкой, приставленной к коровьему стаду. За мелкую монету она охотно выполняла любые желания молодого господина. Потом появилась новая горничная, прежде служившая у приора Кассанского, сводного брата Жан-Жака; приор попытался ее соблазнить, и честная девушка перешла на новое место службы. Ей-то и суждено было стать подопытным кроликом Жан-Жака. Вместе они поставили немало опытов, подробно описанных во второй части «Признаний».

Нечего и говорить, что целая пропасть отделяла Бушара от наследника французского престола. И все же моральная атмосфера, в которой воспитывался будущий Людовик XIII, во многом напоминала обстановку, в которой формировалась личность скромного школяра. Сохранился «Журнал» доктора Жана Эроара, личного врача маленького принца. Благодаря этому документу мы имеем весьма пространное и детальное описание детского воспитания в восемнадцатом веке. Правда, дофин был ребенком необычным — в конце концов, у французского короля впервые за восемьдесят лет появился на свет сын и наследник. Тем более поразительной предстает картина ранних лет жизни этого драгоценного ребенка. Если уж так обращались с мальчиком, на которого буквально молилась вся страна, то что же происходило с обычными детьми? Начать с того, что дофин воспитывался вместе с целой оравой незаконных отпрысков своего отца, рожденных разными женщинами. Некоторые из его единокровных братьев и сестер были старше, другие младше. Годом к трем маленький Людовик уже очень хорошо знал, что значит слово «бастард», а также отлично представлял, откуда бастарды берутся. Объяснения давались языком столь грубым, что малыш по временам приходил в ужас. «*Fi donc!*»<sup>[10]</sup> — говорил он о своей гувернантке мадам де Монгла. — «До чего

же она отвратительна!»

Генрих IV обожал непристойные песенки, поэтому придворные и слуги распевали их беспрестанно, занимаясь своими повседневными делами во дворце. Свита маленького принца, как мужчины, так и женщины, часто шутили с ребенком, в самых неприличных терминах обсуждая любовные приключения его отца или предполагаемые достоинства будущей жены дофина инфанты Анны Австрийской (к тому времени они были уже обручены). Сексуальное образование принца не исчерпывалось разговорами. По ночам мальчика обычно брали с собой в постель фрейлины. При этом ночные рубашки или пеньюары в ту эпоху были не в почете, а частенько в той же самой постели проводили ночь и мужья этих дам. Вероятно, к четырем или пяти годам Людовик уже знал, причем непонаслышке, а из собственных наблюдений, все так называемые «факты жизни». Дело в том, что во дворце семнадцатого века понятия личной уединенности еще не существовало. Архитекторы пока не додумались до полезного изобретения под названием «коридор». Для того чтобы попасть из одной части дворца в другую, нужно было идти через анфиладу комнат, в каждой из которых кто-то жил и в каждой из которых в любую минуту могло происходить все, что угодно. Не следует забывать и о придворном этикете. Особам королевской крови побыть наедине почти никогда не удавалось. Если в твоих жилах текла голубая кровь, то ты рождался при свидетелях, умирал при свидетелях, отправлял естественные надобности при свидетелях, а иногда и любовью занимался тоже при свидетелях. Устройство дворцов было таково, что ребенок волей-неволей был вынужден наблюдать за тем, как другие рождаются, умирают, отправляют естественные надобности или предаются любовным утехам. Во взрослой жизни Людовик XIII не скрывал своего отвращения к женщинам и явно симпатизировал мужчинам (хоть эта симпатия, вероятнее всего, и носила чисто платонический характер); кроме того, король терпеть не мог вида болезней и всяческих уродств. Первые две особенности королевского характера, видимо, объяснялись злобредным воспитанием госпожи де Монгла и ее товарок; что же до третьей привычки, то, надо полагать, Людовик еще мальчиком насмотрелся столько мерзостей и непотребностей, что ему хватило на всю жизнь.

Итак, вот каков был мир, в котором воспитывался новый луденский священник. В этом мире традиционные сексуальные табу почти ничего не значили для невежественного, неимущего большинства, да и для верхов общества все эти запреты тоже оставались пустым звуком.

Герцогини запросто отпускали шутки, которые заставили бы

покраснеть няню Джульетты Капулетти, а светские дамы свободно употребляли похабные словечки. Мужчина с положением и состоянием (если только он не отличался маниакальной чистоплотностью) мог беспрепятственно удовлетворять любые плотские аппетиты. Даже самые образованные и мыслящие люди воспринимали религиозные догмы с чисто пиквикским легкомыслием, так что разрыв между теорией и практикой был поистине впечатляющ — хоть и сократился, если сравнивать с нравами средних веков.

Воспитанный своей эпохой, Урбен Грандье поселился в назначенном ему приходе, намереваясь насладиться плодами обоих миров, как земного, так и небесного. Его любимым поэтом был Ронсар, у которого можно найти строчки, красноречиво выражающие мировоззрение молодого пастыря.

Quand au temple nous serons,  
Agenouilles nous ferons  
Les devotes selon la guise  
De ceux qui, pour louer  
Dieu, Humbles se courbent au lieu  
Le plus secret de l'Eglise.  
Mais quand au lit nous serons,  
Entrelaces nous ferons  
Les lascifs selon les guises  
Des amants qui librement  
Pratiquent folatrement  
Dans les draps cent mignardises<sup>[11]</sup>.

Цветущему двадцатисемилетнему гуманисту жизнь, должно быть, представлялась аппетитной и округлой. Однако служение пастыря должно двигаться не по окружности, а в едином, раз и навсегда установленном направлении; духовная особа — это не флюгер, а стрелка компаса. Для того чтобы не сбиться с пути, священник принимает на себя определенные обязательства и дает обеты. Грандье, разумеется, дал нужные клятвы, однако вовсе не собирался их исполнять. Со временем он напишет маленький трактат, предназначенный для одного-единственного читателя. Произойдет это лет через десять после приезда в Луден, темой трактата будет обет целомудрия.

Грандье выдвинет два главных аргумента. Первый можно свести к следующему: «Обещание, которое невозможно выполнить, ничего не стоит.

Воздержание для молодого мужчины непосильно. Значит, обет целомудрия не может являться для него обязательным». Если этого довода недостаточно, у Грандые был наготове и второй, построенный на известной максиме, гласящей, что обещания, данные под принуждением, не имеют никакой цены. «Священник клянется соблюдать целомудрие не из нравственности, а лишь для того, чтобы получить сан». Поэтому его обет «проистекает не от доброй воли, а навязывается ему церковью, которая хочешь не хочешь заставляет его принимать это тяжкое условие — иначе ему не удастся приобщиться к священнической профессии». Придерживаясь подобных взглядов, Грандые считал, что имеет полное право сочетаться браком и уж, во всяком случае, вступать в связь с любой женщиной, готовой ответить ему взаимностью.

Конечно, среди прихожан имелись ханжи, у которых любовные похождения нового кюре вызвали возмущение, однако ханжей в Лудене было немного. Остальным же жителям, даже тем из них, кто почитали себя добродетельными христианами, пожалуй, до некоторой степени нравилось, что их пастырь так хорош собой, обходителен и любвеобилен. Секс и религия отлично сочетаются друг с другом; этот союз, который может показаться отталкивающим, в то же время сулит особенно изысканные наслаждения, возбуждая плотский аппетит. Почему? Хороший вопрос.

Популярность Урбена среди прихожанок не могла понравиться мужчинам. С самого начала отцы и мужья отнеслись с подозрением к расфуфыренному умнику, обладавшему прекрасными манерами и хорошо подвешенным языком. Тут еще примешивалось и другое. Даже если бы новый священник был образцом святости, все равно местным жителям не могло прийти по душе, что такой богатый приход достался чужаку. А чем, спрашивается, плохи свои священники? Луденские денежки должны перетекать в карманы луденских же уроженцев. Хуже всего было то, что чужак приехал в город не один. Он привез с собой мать, трех братьев и сестру. Одному из братьев тут же подыскал завидную должность в городской магистратуре. Другого, тоже священника, сделал главным vikarием церкви Святого Петра. Третьего брата, опять-таки рукоположенного в сан, Урбен сразу пристроить не смог, но юноша явно подбирался к первой же вакансии. Это было настоящее нашествие!

Однако даже недоброжелатели были вынуждены признать, что отец Грандые отлично читает проповеди, прекрасно знает свое ремесло, и вообще человек в высшей степени ученый. С другой стороны, ученость не прибавляла ему популярности. Будучи мужем начитанным и остроумным, Грандые сразу же получил доступ в самые аристократические и изысканные

дома города. Двери этих домов были закрыты для богатых выскочек, неотесанных чинуш и высокородных бездельников, которые составляли луденское «общество», но, увы, не «сливки общества». Зато приезжий хват немедленно попал в самую верхушку. Подобная несправедливость вызвала горькую обиду у отцов города. Грандье сошелся с самим Жаном Д'Арманьяком, недавно назначенным губернатором. Мало того, его запросто принимал самый известный житель Лудена престарелый Севол де Сен-Март, прославленный юрист, государственный деятель, историк и поэт. Губернатор так высоко оценивал способности священника, что во время частых отлучек ко двору поручал молодому человеку вести все свои дела. Сен-Марту же кюре пришлось по душе потому, что был гуманистом, отлично знал классическую литературу, а стало быть, был в состоянии по достоинству оценить поэтический шедевр старика «*Paedotrophiae Libri Tres*» — дидактическую поэму о воспитании детей. Поэма была так популярна, что еще при жизни автора выдержала десять изданий. Ее слог был столь элегантен, столь точен, что сам Ронсар сказал: «Я предпочитаю автора этих стихов всем современным поэтам и настаиваю на этом мнении, хоть оно вряд ли понравится Бембо, Наваджеро и божественному Фракасторо».

Увы, сколь преходяща земная слава, сколь недолговечно людское самомнение! Для нас имя кардинала Бембо мало что значит, а имя Андреа Наваджеро — и того меньше. Что же касается «божественного Фракасторо», если он и сохранился в памяти потомков, то по одной-единственной причине: он первым придумал приличное название для срамной болезни — написал на латыни медицинскую эклогу о злоключениях несчастного принца Сифилиса. После многих испытаний сей принц избавился от «галльской болезни», прибегнув к помощи гваяколовой коры. Мертвые языки мертвы и со временем становятся все мертвее. Три тома педагогической поэмы Сен-Марта имели еще меньше шансов остаться в веках, чем фракасторова «Сифилида». Современники почитали Севолу де Сен-Марта как божество, знали его поэзию наизусть, а ныне она канула в Лету. Однако во времена Урбена Грандье старый поэт еще купался в лучах заходящей славы; он был прославленнейшим из великих Старцев, своего рода национальным монументом. Идти к нему на обед было все равно что запросто выпивать с Собором Парижской Богоматери. В великолепном особняке, где проживал почтенный государственный деятель и декан гуманистических наук, молодой священник имел счастье общаться с самим патриархом и его почти столь же прославленными сыновьями и внуками. У Сен-Марта бывали и высокие



гости: принц Уэльский (инкогнито); Теофраст Ренодо, филантроп, врач-новатор и родоначальник французского журнализма; Исмаэль Бульо, будущий автор грандиозного труда «*Astronomia Philolaica*», которому было суждено первым с точностью определить периодический цикл переменной звезды. Приходили к Сен-Марту и столпы местного общества — такие, как Гийом де Серизе, главный магистрат Лудена, или Луи Тренкан, городской прокурор, весьма благочестивый и ученый господин, в свое время учившийся вместе с Абелем де Сен-Мартом. Прокурор слыл знатоком литературы и старинного искусства.

Дружба столь почтенных людей не могла не льстить самолюбию, но расплачиваться за эту привилегию приходилось враждебностью всех прочих, не допущенных в избранный круг. Урбен чувствовал себя несправедливо обиженным: ему, человеку, во всех отношениях превосходившему окружающих, воздавали неприязню за ум, завистью за добрые деяния, ненавистью за остроумие, хамством за хорошее воспитание и злобой за успех у женщин. Впрочем, надо сказать, что отец Грандье в долгу не оставался. Он ненавидел своих недоброжелателей столь же люто, как и они его. Есть поговорка: «Хула укрепляет, хвала расслабляет». На свете не так много людей, которые испытывают от ненависти и ярости куда больше удовлетворения, чем от любви. Это люди, у которых агрессия в крови, люди, для которых адреналин является своего рода наркотиком, люди, предающиеся гневу, дабы испытать волнение, возбуждение, страсть. Отлично зная, что всякая попытка самоутверждения за счет других вызывает у окружающих ответную реакцию, человек этого склада не предпринимает никаких мер предосторожности. Само собой, в самом скором времени он оказывается в гуще схватки. Но именно схватка-то ему и нужна. В пылу боя, когда бурлит кровь, он ощущает себя в своей стихии. Состояние конфликта является для него естественным; сражаясь с врагами, эти люди чувствуют себя комфортно и хорошо — при этом несколько не сомневаясь в собственной правоте. Приток адреналина выливается в Праведное Негодование; подобно пророку Ионе, гневливые уверены, что их ярость — проявление праведности.

Чуть ли не с первого дня жизни в Лудене Грандье ввязался в целую череду неприглядных, но, с его точки зрения, весьма стимулирующих ссор. Один дворянин, доведенный до крайности, даже набросился на священника со шпагой. С другим, лейтенантом уголовной полиции, главным блюстителем правопорядка в городе, Грандье устроил публичную перепалку, перешедшую в драку. Поскольку на стороне неприятеля было численное превосходство, кюре и его сторонники были вынуждены

забаррикадироваться в замковой часовне. На следующий день Грандье подал на лейтенанта жалобу в церковный суд, и полицейский получил должное воздаяние. Кюре одержал победу, но то была пиррова победа. Отныне у Грандье появился заклятый враг, с нетерпением ожидавший возможности поквитаться.

Элементарная осторожность, не говоря уж о христианском миролюбии, должна была бы подсказать пастырю, что нельзя иметь сразу так много врагов. Но, невзирая на иезуитское воспитание, Грандье так и не впитал христианского духа. Губернатор Д'Арманьяк и прочие высокопоставленные друзья давали ему множество добрых советов, но там, где начиналась страсть, разум отступал. Долгое религиозное образование ничуть не умерило урбенова самолюбия; наоборот, любовь к себе, изначально присущая этому человеку, обрела теологическое «алиби». Прimitивный эгоист просто требует того, чего ему хочется. Но, обзаведясь плацдармом религиозности, эгоист приходит к заключению, что его желания совпадают с волей Господа, что его интересы неотделимы от интересов истинной Церкви, а любые компромиссы здесь невозможны, ибо от них пахнет сатанинским наущением. В Евангелии сказано: «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас». Слова Иисуса, должно быть, казались отцу Грандье чудовищным святотатством, призывом вступить в союз с Вельзевулом. Нимало не помышляя о том, чтобы «любить своих врагов», святой отец делал все, чтобы еще больше возбудить их ненависть к себе. У него был к этому истинный талант. В сказках у колыбели младенца нередко появляется добрая фея, наделяющая ребенка различными дарами. Однако часто оказывается, что дары эти способны приносить несчастья. Урбена Грандье добрая фея, наряду со многими прочими подарками, наделила самым блестящим и опасным из талантов — красноречием. Всякий выдающийся проповедник, удачливый адвокат или политик еще является и незаурядным актером; он обладает даром подчинять слушателей своей воле. Власть эта носит иррациональный характер, поэтому даже самый благонамеренный оратор приносит своими речами больше вреда, чем пользы. Магия слов и бархатный голос могут убедить слушателей в правоте дела, которое вовсе не является правым. Более того, если дело правое — то вовсе ни к чему прибегать к помощи уловок и словесных трюков, к которым сводится искусство красноречия. Даже если цель является благой, эти методы в данном случае следует признать недостойными. Оратор эксплуатирует свой дар, воздействуя на доверчивость человеческих душ. Используя свой талант, красноречивый Грандье сгущает полугипнотический туман, в котором живет

большинство людей — в то время как цель и задача истинной философии и истинной религии состоит в том, чтобы этот туман рассеять. Кроме того, всякая эффектная речь построена на сведении идеи до примитива. Примитивизация же невозможна без искажения фактов. Получается, что любой искусный оратор по самой природе — лжец. А самые искусные из ораторов, как правило, и не ставят перед собой задачу говорить истину; у них совсем другая цель — содействовать своим единомышленникам и вредить своим врагам. Именно таким оратором был и Урбен Грандье. Каждое воскресенье с амвона церкви Святого Петра он усердно изображал то Иеремию, то Демосфена, то Савонаролу, а иногда даже и Рабле, ибо искусством насмешки молодой человек владел ничуть не хуже, чем даром обличительства; в иронии и сарказме он был столь же силен, как в метании апокалипсических молний.

Человеческая душа не терпит вакуума. В наши дни спасением от повседневной скуки являются кино, радио, телевидение, театр. Нашим предкам в этом отношении выпала меньшая (а может быть, большая?) удача: чуть ли не единственным спасением от скуки для них были проповеди приходского священника, время от времени уступавшего свою кафедру странствующим капуцинам или иезуитам. Чтение проповедей — это целое искусство; как и в других сферах искусства плохих художников здесь гораздо больше, чем хороших. Прихожане церкви Святого Петра могли считать себя счастливыми — им повезло с артистом. Преподобный Грандье был настоящим виртуозом. Он блестяще импровизировал на любые темы — от христианских таинств до пикантных слухов и последних городских скандалов. Как мастерски обрушивал он хулу на головы своих врагов, как бесстрашно обличал власть имущих! Истомившаяся от скуки аудитория была в восторге. Гром аплодисментов еще больше разъярял тех, в кого метал свои молнии кюре.

Среди его жертв оказались монахи конкурирующих орденов, расплодившиеся в некогда протестантском городе после того, как открытая война между гугенотами и католиками закончилась. Грандье терпеть не мог монахов по той причине, что сам он принадлежал к светскому духовенству. Настоящий солдат предан знамени своего полка; выпускник хорошего университета верен своей *alma mater*; истинный коммунист или нацист соблюдает партийную дисциплину. Таким образом, верность некоей организации (назовем ее А) предполагает известную степень недоверия, неприязни, а то и ненависти к организациям В, С, D и так далее. Это относится и к организациям, которые по самой природе своей деятельности являются союзниками. История церкви изобилует примерами вражды и

ненависти, начиная с ненависти к еретикам и неверным вплоть до вражды между орденами, теологическими школами, епархиями и приходами.

Святой Франциск Сальский<sup>[12]</sup> писал в 1612 году: «Благом было бы, если бы благочестивые и разумные прелаты установили союз и согласие меж Сорбонной и отцами-иезуитами. Если бы епископы, ученые мужи Сорбонны и монашеские ордена во Франции объединили свои усилия, то с ересью было бы покончено в десять лет». В другом месте Франциск Сальский пишет: «Тот, кто проповедует любовь, искореняет ересь, даже если не произнес в ее адрес ни единого бранного слова». Церковь, разделенная внутренней враждой, не способна проповедовать любовь, а если проповедует ее, то лицемерно. В любом случае, ни о каком внутрицерковном единстве не могло быть и речи. В порядке вещей были теологические перебранки и агрессивный патриотизм различных церковных институций. К вражде между иезуитами и Сорбонной вскоре прибавилась война между янсенистами, с одной стороны, и последователями Франциска Сальского, с другой. А вскоре начнется затяжной конфликт между сторонниками квиетизма и «чистой любви». В конце концов раздоры внутри французской церкви были урегулированы, но не при помощи доброй воли или убеждения, а указами королевской власти. Вопрос с еретиками был решен посредством драгоннад<sup>[13]</sup>, а окончательным решением проблемы стала отмена Нантского эдикта. Со смутянами внутри католической церкви справиться помогли папские буллы и угрозы отлучения. Порядок был восстановлен, притом весьма непочтенным, отнюдь не духовным образом, не имевшим ничего общего ни с религией, ни с гуманностью.

Фракционность несет в себе изрядный антиобщественный заряд, однако может приносить немалую прибыль отдельным людям — гораздо большую, чем честолубие или стяжательство. Сводники и ростовщики не слишком-то гордятся своим ремеслом, однако фракционная борьба дает возможность участникам не только обрести выгоду, но и жить с высоко поднятой головой. Считается, что эти люди действуют во имя благой и даже священной цели; они имеют полное право восхищаться собой и ненавидеть противников, стремиться к власти и деньгам, упиваться жестокостью и агрессией, не испытывая при этом ни малейшего чувства вины — напротив, они наслаждаются сознанием своей добродетели. Преданность интересам узкой группы превращает любые пороки в героизм. «Члены партии» почитают себя не преступниками или грешниками, а альтруистами и идеалистами. В некотором смысле именно

такowymi они и являются. Проблема лишь в том, что их альтруизм — это замаскированный эгоизм, а идеал, ради которого они готовы идти на любые жертвы, иногда даже не жалея собственной жизни, — всего лишь выражение корпоративных интересов и групповых устремлений.

Когда Грандье обрушился на луденских монахов, можно ли сомневаться, что он был охвачен праведным гневом и Божьим рвением. Святой отец нисколько не сомневался, что Господь целиком и полностью на стороне светского духовенства и славных иезуитов. Кармелитам и капуцинам было самое место за стенами их монастырей; в крайнем случае они могли заниматься миссионерской деятельностью в каких-нибудь глухих деревнях. Однако как они посмели совать свой нос туда, где обитает буржуазия! Господь постановил, что за богатой и респектабельной паствой должно приглядывать светское духовенство — прибегая к помощи добрых отцов-иезуитов. Едва обосновавшись в новом приходе, молодой кюре объявил с амвона, что отныне все верующие могут исповедоваться только перед ним и ни в коем случае ни перед кем другим. Женщины, которые ходят к исповеди охотнее и чаще мужчин, с удовольствием повиновались. Теперь их священником был миловидный, опрятный молодой человек, обладавший манерами дворянина. Разве так выглядел какой-нибудь капуцин или кармелит? Монахи сразу же лишились изрядной доли своей паствы, а заодно и влияния в городе. Первый залп по соперникам Грандье сопровождал целой кампанией, направленной против главного источника кармелитских доходов — чудотворной иконы, известной под названием «Нотр-Дам-де-Рекувранс». Не так давно целый квартал Лудена был занят гостиницами и постоялыми дворами, где останавливались паломники, являвшиеся поклониться иконе, дабы она исцелила мужа, наследника или же принесла удачу. С недавних пор у Нотр-Дам-де-Рекувранс появилась опасная соперница в лице другой иконы, Нотр-Дам-дез-Ардильер, находившейся в одной из сомюрских церквей, всего в нескольких лигах от Лудена. На иконы, как на лекарства или дамские шляпки, тоже бывает мода. Любая из великих конфессий имеет собственную историю чудодейственных икон, неизвестно откуда появляющихся мощей и прочих реликвий, которые вдруг вытесняют прежние, издавна известные места поклонения; проходит время, и появляются новые фетиши, а за ними еще и еще. Почему вдруг икона Нотр-Дам-дез-Ардильер стала более популярна, чем Нотр-Дам-де-Рекувранс? Вероятно, причин было много, но самая очевидная из них заключается в том, что новой иконой ведали ораториане. Один из первых биографов Урбена Грандье, пастор Обен, пишет: «Все знают, что ораториане гораздо умнее и хитрее, чем кармелиты». Как

известно, ораториане относились к светскому духовенству. Вероятно, именно этим обстоятельством и объясняется неприязнь, с которой Грандье отнесся к местной иконе. Верность своей касте заставила его окончательно погубить репутацию злосчастней иконы. Нотр-Дам-де-Рекувранс, скорее всего, и так, без усилий Урбена, утратила бы былую славу, однако кармелиты придерживались иного мнения. Трудно требовать от людей, чтобы они объективно и реалистично относились к своим злоключениям. Куда проще и естественней свалить вину на какого-то конкретного человека. Когда все идет хорошо, люди обычно выбирают кого-то одного, приписывают все заслуги ему и поклоняются этому человеку как герою. Если же дела идут плохо, то обязательно находится какой-нибудь козел отпущения.

Но все это были враги мелкого калибра; вскоре Грандье обзавелся недоброжелателем посерьезней. В начале 1618 года состоялась религиозная конвенция, на которую собрались духовные лица со всей округи. Урбен Грандье жестоко оскорбил куссейского приора, настаивая на том, что будет шествовать в торжественной процессии впереди этого прелата. С формальной точки зрения, местный кюре был прав. Дело в том, что, являясь каноником церкви Святого Креста, он обладал приоритетом по отношению к куссейскому приору. Последнему не помогло даже то, что он обладал епископским званием. Все это так, однако существуют еще и такие вещи, как учтивость и предвидение. В особенности последнее: куссейский приор, он же епископ Люсонский, носил имя Арман-Жан дю Плесси де Ришелье.

В тот период (кстати говоря, именно по этой причине Грандье мог бы проявить вежливость и великодушие) Ришелье находился в опале. В 1617 году его покровитель, итальянский авантюрист Кончини, был убит в результате заговора, организованного Люинем и получившего одобрение юного короля. Ришелье лишился влияния и был с позором изгнан. Однако можно ли было рассчитывать, что эта ссылка продлится вечно? Отнюдь. И в самом деле, всего через год, после недолгой ссылки в Авиньон, незаменимый епископ Люсонский был возвращен в Париж. А в 1622 году он стал первым министром и кардиналом.

Из тщеславия и страсти к самоутверждению Грандье обидел человека, которому вскоре суждено было стать неограниченным правителем Франции. Позднее Урбен еще пожалеет о своей грубости. Пока же он упивался детским восторгом. Подумать только — простолюдин, скромный кюре, поставил на место фаворита самой королевы, аристократа, да еще и князя церкви! Урбен радовался, словно мальчишка, показавший язык

учителю и избегнувший заслуженного наказания.

Точно такое же удовольствие несколько лет спустя получит Ришелье, унизив принцев королевской крови. Старый дядя кардинала, увидев, как племянник шествует в процессии впереди герцога Савойского, скажет: «Подумать только! Я дожил до дня, когда внук адвоката Лапорта идет впереди внука Карла V!» Еще одна мальчишеская выходка, и опять безнаказанная.

Жизнь Урбена Грандье постепенно вошла в колею. Он выполнял свои пастырские обязанности, а в промежутках между службами потихоньку навещал хорошеньких вдовушек, с приятностью проводил вечера за беседами с учеными друзьями, развлекался ссорами с врагами, число которых все увеличивалось. Жизнь была чудо как хороша, радовала и разум, и сердце. Священнику до поры до времени все сходило с рук. Он воображал, что будет и дальше безнаказанно срывать цветы удовольствий, что для него нет ничего невозможного. На самом деле судьба уже вела счет его проказам, однако до поры до времени не призывала наглеца к ответу. Грандье не испытывал угрызений совести, но сердце его понемногу черствело и ожесточалось, а внутренний свет, то окошко души, откуда открывается вид на вечность, понемногу затемнялось. Согласно медицинской науке той поры, Грандье обладал сангвино-холерическим темпераментом, а стало быть, находился в ладу с миром, был доволен собой. Если так — значит, в мире все в порядке, а Господь милостиво взирает за происходящим с небес. Кюре был счастлив. Или же, если опять-таки воспользоваться медицинской терминологией, находился в маниакальной фазе развития.

Весной 1623 года долгая и славная жизнь Севола де Сен-Марта завершилась. Старец умер и был похоронен с должной pompой в церкви Сен-Пьер-дю-Марше. Шесть месяцев спустя на поминальной службе, где присутствовали все лучшие люди Лудена, Шательро, Шинона и Пуатье, Грандье произнес речь в память великого человека. Это была длинная, великолепная орация, произнесенная в манере «классического гуманизма» (еще не успевшей устареть, потому что стилистическая революция произойдет лишь через год, когда выйдет первое издание писем Бальзака<sup>[14]</sup>). Изысканные периоды речи были щедро пересыпаны цитатами из классики и Библии. Кюре сполна блеснул эрудицией, а его декламация напоминала громовые раскаты. Аудитории речь очень понравилась — она вполне отвечала вкусам 1623 года. Оратора вознаградили шумными аплодисментами. Абель де Сен-Марш так растрогался, что даже написал на латыни стихотворение, восславляющее красноречие отца Грандье. Не менее

лестные строки написал мэтр Тренкан, городской прокурор:

Ce n'est pas sans grande raison  
Qu'on a choisi ce personnage  
Pour entreprendre l'oraison  
Du plus grand homme de son age;  
1 U fallait veritablement  
Une eloquence sans faconde  
Pour louer celui dignement  
Qui n'eut point de second au monde<sup>[15]</sup>.

Бедный господин Тренкан! Его любовь к музам была искренней, но безответной. Музы, увы, не отвечали ему взаимностью. Но, если почтенный прокурор не умел писать стихи, то, по крайней мере, он умел о них рассуждать. С 1623 года гостиная прокурора становится центром интеллектуальной жизни городка. Нельзя сказать, чтобы интеллектуальная жизнь в Лудене так уж фонтанировала — во всяком случае теперь, после смерти Сен-Марта. Сам Тренкан был человеком начитанным, но большинство его друзей и родственников похвастаться этим не могли. Многие из них прежде не осмеливались переступить порог дома Сен-Марта, однако у прокурора они бывали запросто. Стоило таким гостям появиться в гостиной, как все ученые и изысканные разговоры немедленно прекращались. Иначе быть не могло в присутствии болтливых кумушек, нудных адвокатов и сельских помещиков, не интересовавшихся ничем, кроме собак и лошадей. Непременно присутствовали также аптекарь мэтр Адам и хирург мэтр Маннури: первый с необычайно длинным носом, второй — с круглой физиономией и изрядным брюхом. С важностью, достойной докторов Сорбонны, сии почтенные мужи рассуждали о благе клистирной трубки и кровопускания, о полезности мыла и лечении огнестрельных ранений. Еще у них было обыкновение, понизив голос до шепота, делиться профессиональными сведениями о протекании сифилитического недуга господина маркиза, о втором выкидыше супруги господина королевского адвоката, о бледной немочи господина судебного пристава и так далее. Над тупостью, невежественностью и надутостью этих индюков потешались все. Адам и Маннури были постоянной мишенью сарказма и острот, причем особенной безжалостностью отличался господин кюре, никогда не упускавший случая позабавиться за счет ближнего. Нечего удивляться, что в скором времени он обзавелся



двумя новыми врагами.

А между тем назревала вражда посерьезней. Прокурор Тренкан, вдовец средних лет, имел двух дочерей на выданье. Старшая из них, Филиппа, была так хороша собой, что зимой 1623 года священник стал уделять ей все более явные знаки внимания. Он смотрел, как грациозно перемещается она по залу, и сравнивал юную красавицу с аппетитной вдовушкой, которую он утешал по вторникам — бедняжка все никак не могла прийти в себя после смерти драгоценного муженька, местного виноторговца. Нинон была почти неграмотной, едва подписывала свое имя. Однако она еще не утратила привлекательности, ее пышное тело сохраняло свежесть и упругость. Вдовушка была истинным сокровищем: теплая, сдобная, склонная к чувственным удовольствиям, одновременно страстная и покладистая, рассудительная и безудержная в любовных изысканиях. Благодарение Господу, в ней совершенно не было ханжества, так что святому отцу не пришлось тратить время на утомительное платоническое ухаживание в духе бессмертного Петрарки. Уже при третьей встрече он осмелился процитировать Нинон строки из своего любимого стихотворения:

Souvenl j'ai menti Ics ebats  
Des nuits, t'ayant cntrc mes bras  
Foiastrc toutc nue;  
Mais telle jouissance, hélas!  
Encore m'est inconnue<sup>[16]</sup>.

Нинон выслушала безо всякого протеста, весело рассмеялась и бросила на кюре короткий, но совершенно недвусмысленный взгляд. Во время пятой встречи он уже мог позволить себе читать более смелые строки:

Adieu, ma petite maitresse,  
Adieu, ma gorgette et mon sein,  
Adieu, ma delicate main,  
Adieu, done, mon teton d'albatre,  
Adieu, ma uissette folatre,  
Adieu, mon oeil, adieu, mon coeur,  
Adieu, ma friande douceur!  
Mais avant que je me departe,

Avant que plus loin je m'ecarte,  
Que je tate encore ce flanc  
Et le rond de ce marbre blanc<sup>[17]</sup>.

«Прощай» — в смысле «до послезавтра», когда Нинон придет в церковь Святого Петра исповедоваться. Пастырь проявлял неукоснительную строгость в вопросе о еженедельных исповедях, причем не забывал накладывать на грешницу соответствующие епитимьи. От вторника до вторника Грандье сочинял проповедь — например, в ознаменование праздника Пресвятой Девы. Проповедь удалась на славу, стяжала не меньше лавров, чем знаменитая поминальная речь в честь господина де Сен-Марта. Сколько красноречия, сколько учености, сколько набожности проявил святой отец в своих речениях! Ему достались аплодисменты и поздравления. Лейтенант уголовной полиции клокотал от ярости, монахи зеленели от зависти. «Господин кюре, вы превзошли самого себя! Ваше преподобие, вы — несравненный талант!» Триумфатор начинал готовить следующую проповедь, а в награду ему доставались жаркие объятия, страстные поцелуи и ласки любвеобильной вдовушки. Пусть кармелиты болтают о духовном экстазе, небесных куцах и воссоединении душ! У Урбена была Нинон, и этого ему было вполне достаточно.

Однако, когда Урбен видел перед собой Филиппу, в его душе возникало сомнение: а достаточно ли ему славной Нинон? Вдовы, конечно, умеют утешить мужчину, так что отказываться от вторников не стоит, однако девственницы тоже имеют свои преимущества — бывалые женщины слишком много повидали на своем веку, к тому же они склонны к полноте. Филиппа же умиляла взгляд тонкими девчоночьими ручками, круглыми яблочками груди, трогательной шейкой. Как кружит голову соединение детской застенчивости с девичьей грацией! Как возбуждают и провоцируют внезапные переходы от дерзкого, почти безрассудного кокетства к смущению и испугу! Филиппа то вела себя, как Клеопатра, словно приглашая мужчину на роль Антония, то, вдруг испугавшись знаков внимания, превращалась из царицы Египетской в охваченного страхом ребенка. Но стоило ухажеру отступить, как немедленно возвращалась соблазнительная Сирена, заводившая свои головокружительные песнопения и манящая издали запретными плодами, равнодушным к которым мог остаться либо безумец, либо простака. Невинность и чистота — отличная тема для прочувствованной проповеди! Прихожанки будут рыдать, когда святой отец произнесет ее с амвона, переходя от

патетических завываний к нежному шепоту и обратно. Даже мужчины будут растроганы. Рассуждения о чистоте новорожденной лилии, невинности ягнят и младенцев действуют на кого угодно. Монахи снова позеленеют от зависти. Но истинная чистота и невинность бывает лишь в проповедях и на небесах. Белоснежные лилии имеют обыкновение увядать; невинные ягнята обречены сначала (если они женского пола) стать жертвой похотливого самца, а затем — мясника; что же касается младенцев, то, как всем известно, в аду проклятые души расхаживают по мостовой, сплошь выложенной из некрещеных детей человеческих. Со времен Великого Падения абсолютная невинность, по сути дела, неотличима от полного идиотизма. Любая юная девушка несет в себе росток будущей распутной вдовушки, а, вследствие Первородного Греха, всякая невинность, даже самая наичистейшая, обречена. Каким наслаждением не только для чувств, но и для вдумчивого рассудка, является вспомоществование этому процессу — разве не увлекательно наблюдать, как девственная почка распухнет пышным и сочным цветком? Если это и чувственность, то вполне нравственного, можно сказать, даже метафизического свойства.

К тому же Филиппа не просто девственна и юна. Она еще и происходит из добропорядочного семейства, воспитана в благочестии и во всех отношениях безупречна. Миловидна, но прекрасно знает катехизис; играет на лютне, однако регулярно посещает церковь; обладает манерами знатной дамы, но любит читать и даже немного знает по латыни. Любой охотник почтет за честь заполучить такой трофей. В глазах окружающих престиж удальца многократно возрастет.

Согласно свидетельству Бюсси-Рабутена, относящемуся к чуть более позднему времени, в аристократическом мире «успех у женщин приносил мужчине не меньше славы, чем боевые доблести». Покорение знаменитой красавицы было почти столь же славным делом, как завоевание провинции. Такие вельможи, как Марсийяк, Немюр и шевалье де Граммон, прославившиеся будуарными победами, пользовались не меньшей славой, чем великие полководцы вроде шведского короля Густава-Адольфа или самого Валленштейна. На жаргоне той эпохи кавалер «пускался в любовное приключение» — причем с осознанием того, что целью этого предприятия является повышение собственного авторитета и престижа. Секс может использоваться либо для самоутверждения, либо для того, чтобы преодолеть границы своего «я»: то есть, или для того, чтобы укрепить свое эго и общественное положение, прибегнув к помощи «приключений» и «завоеваний», или же, наоборот, для того, чтобы слиться в экстазе чувственности и страсти с другим человеческим существом

(обычно такое происходит при счастливом браке, в котором супруги добровольно соединяют свою жизнь). Имея дело с крестьянками и городскими вдовушками, обладавшими изрядным чувственным аппетитом и не обремененными предрассудками, кюре мог сколько угодно сливаться в чувственном экстазе. Однако Филиппа Тренкан давала ему возможность испытать и иной аспект сексуального переживания — утвердить свое «я», а затем, на следующем этапе, возможно, достичь и иной, более высокой стадии, когда две любящие души сольются в одну.

Чудесный сон! Но его осуществлению мешало одно досадное препятствие. Отцом девушки был Луи Тренкан, лучший друг священника, самый надежный из союзников в борьбе с монахами, лейтенантом полиции и всеми прочими недоброжелателями. Тренкан доверял Урбену — причем до такой степени, что заставил своих дочерей отказаться от старого духовника и вверил их попечению Грандье. Не будет ли господин кюре настолько добр, чтобы прочесть девицам курс лекций о дочерней почтительности и девичьей скромности? Как считает господин кюре — не слишком ли скромная партия для Филиппы Гийом Ружье? Может быть, лучше женить его на Франсуазе? И, само собой, Филиппа не должна забывать свою латынь. Не согласится ли святой отец время от времени давать ей уроки?

Ну как возможно предать такое доверие? И все же часто бывает, что сама недопустимость деяния с нравственной точки зрения побуждает человека совершить подобный поступок. На всех уровнях нашего бытия, от телесного и чувственного до нравственного и интеллектуального, любая тенденция и любое движение порождают свою противоположность. Когда мы смотрим на красный цвет, у нас усиливается восприятие зеленых оттенков спектра, а иногда мы даже видим, что красный предмет как бы окружен зеленым ореолом. Если мы хотим совершить движение, у нас действует группа мышц, и в то же время автоматически включается противоположная группа. Тот же принцип срабатывает и на высших уровнях сознания. На всякое «да» найдется свое «нет». В честном сомнении веры куда больше, чем в самом незыблемом кредо. Еще Батлер заметил (а мы на протяжении нашей истории не раз убедимся в правоте этого суждения), что в искренней вере содержится куда больше сомнения, чем в любых марксистских молитвенниках или филиппиках Брэдлоу<sup>[18]</sup>. В нравственном воспитании главную трудность представляют собой логические выводы. Если всякое «да» автоматически влечет за собой симметричное «нет», возможно ли вести себя правильным образом, мысленно не представляя в тот же самый момент, как выглядит

«неправильное» поведение? Существуют методы, позволяющие избежать подобной экстраполяции, но недостаточная эффективность подобных приемов общеизвестна — на свете сколько угодно упрямых и «трудновоспитуемых» подростков, «антиобщественных» юнцов и подрывных элементов вполне зрелого возраста. Даже уравновешенные, владеющие собой люди подчас испытывают парадоксальное искушение совершить именно то, чего делать ни в коем случае нельзя. Это искушение совершить зло, причем безо всякой цели и пользы, представляет собой своего рода «бескорыстный» бунт против здравого смысла и приличий. Обычно нормальные люди справляются с подобным порывом, но не все и не всегда. Сплошь и рядом какой-нибудь разумный, порядочный человек вдруг, повинуясь внезапному позыву, совершает что-нибудь такое, от чего сам же приходит в ужас. Кажется, что поступок совершен под воздействием какой-то силы, чуждой человеку и враждебной его обычному естеству. На самом же деле виной всему совершенно нейтральный психологический механизм, который (как это вообще часто происходит с механизмами) «разлагивается», выходит из-под контроля и превращается из послушного инструмента в диктатора.

Филиппа была очень хороша собой, а как известно, чем сильнее запрет, тем жарче огонь в крови. Прибавим к «жару в крови» подрывное действие нравственного табу.

Итак, прокурор Тренкан — лучший друг кюре. Сама идея предательства столь незыблемой доверчивости своей чудовищностью должна была вызвать у Грандье искушение. Вместо того, чтобы противиться этому искушению, священник стал искать доводы, которые позволили бы уступить. Он говорил себе, что отец столь соблазнительной девицы не должен быть настолько слеп. Это самая настоящая глупость. Хуже, чем глупость — преступление, которое заслуживает должного наказания. Уроки латыни, надо же такое придумать! Снова повторяется история Элоизы и Абеляра, причем роль обманутого дяди Фулберта взял на себя прокурор. Он сам пригласил в дом соблазнителя. Не хватает, увы, только одного: наставник Элоизы имел право в случае необходимости использовать розгу. Впрочем, если попросить об этом, то полоумный Тренкан, возможно, и разрешит...

Шло время. Вторники по-прежнему были посвящены вдовушке, но почти все прочие дни недели Грандье проводил в доме прокурора. Франсуазу уже выдали замуж, но Филиппа все еще пребывала под отчим кровом и делала немалые успехи в изучении латыни.

Omne adeo genus in terris hominumque ferarumque  
et genus aequoreum, pecudes pictaeque volucres,  
in furias, ignemque ruunt; amor omnibus idem.<sup>[19]</sup>

И овощам, оказывается, тоже знакомы нежные чувства:  
Mutant ad mutua palmae  
foedera, populeo suspiral populus iclu,  
et platani piatanis, ainoque assibilat ainus<sup>[20]</sup>.

Филиппа старательно переводила для своего наставника самые чувственные из стихов и самые скабрёзные эпизоды из мифологии. Проявляя завидную сдержанность (чему, впрочем, способствовали регулярные встречи с вдовушкой), кюре не позволял себе ни малейших посягательств на честь своей ученицы. Он не делал ничего такого, что могло быть воспринято как признание в любви или нескромное предложение. Грандье был неизменно очарователен, развлекал питомицу интересными разговорами, и два-три раза в неделю непременно говорил ей, что она — самая умная из всех женщин. Лишь изредка он взглядывал на нее так, что Филиппа потупляла взор и краснела. Казалось, Урбен тратит время впустую, но по-своему это было занятно. К счастью, под боком всегда была Нинон. Еще удачнее было то, что девица не могла читать потаенные мысли своего наставника.

Они сидели в одной и той же комнате, но каждый оставался внутри собственной вселенной. Филиппа уже перестала быть ребенком, но еще не превратилась в женщину; она обитала в розовом мире фантазий, расположенном между невинностью и зрелостью. Истинным своим обиталищем девушка считала не Луден, населенный грубиянами, занудами и ханжами, а некий воображаемый рай, весь озаренный светом любви и чувственных переживаний. И в этом рае был свой бог: темноглазый, с подкрученными усами, с белыми, тщательно ухоженными руками. Эти руки распаляли воображение Филиппы, вгоняли ее в краску. А сколько ума, сколько знания было в этом человеке! Сущий архангел — мудрый, прекрасный и добрый. К тому же он говорил, что и она умна, хвалил ее прилежание, а более всего душу будоражили его взгляды. Возможно ли, чтобы и он тоже?.. Нет-нет, сама мысль об этом представлялась кощунственной, греховной. Но как же дать ему знать о своих чувствах?

Девушка попробовала сосредоточиться на латинской фразе.

Тифе senex miles, turpe senilis amor<sup>[21]</sup>.

Филиппу охватило смутное, но необоримое томление. Внезапно она представила неизъяснимые наслаждения, почему-то самым непосредственным образом связанные с этим проникающим в душу взором, с белыми, но мужественными руками. Страница с текстом поплыла перед глазами, Филиппа сбилась и пробормотала: «Грязный старый вояка». Наставник слегка шлепнул ее линейкой по руке и строго сказал, что, будь она не девицей, а мальчиком, он наказал бы ее за подобную ошибку куда более строгим образом, и выразительно помахал линейкой. Гораздо более строгим, добавил он с намеком. Филиппа взглянула на него и быстро отвернулась. Ее щеки залились краской.

Франсуаза, уже успевшая свыкнуться с безмятежным существованием замужней женщины, рассказывала сестре о матримониальных радостях. Филиппа слушала с интересом, но в глубине души была уверена, что с ней все произойдет совсем по-другому. Мечты теснились чередой, обретая все новые и новые формы. Вот она живет со священником в качестве его экономки. Нет, его назначили епископом Пуатевенским, и он велел построить подземный ход между епископским дворцом и ее домом. Или еще лучше: ей откуда-то досталось в наследство сто тысяч ливров, он покинул лоно церкви, и они живут, как муж и жена, проводя время то при королевском дворе, то в деревенском поместье.

Но рано или поздно реальность вступала в свои права, и Филиппе приходилось вспоминать о том, что она — дочь прокурора, а господин кюре, даже если и любит ее (впрочем, в этом не было никакой уверенности), никогда не сможет признаться ей в своем чувстве. Да если и признается — как порядочная девушка, она должна будет заткнуть уши. И все же сколько счастья доставляло ей, сидя за книгой или за вышивкой, воображать невообразимое. А каким счастьем было услышать его шаги, его голос! Восхитительная пытка, небесная мука — сидеть с ним рядом в отцовской библиотеке, переводить Овидия и нарочно делать ошибки, чтобы послушать, как он угрожает ее выпороть. Слушать этот звучный, красивый голос, рассказывающий ей о кардинале Ришелье, о мятежных протестантах, о войне в Германии, о воззрениях иезуитов на Божью благодать, о его собственных видах на будущее. Ах, если бы это продолжалось вечно! Но мечтать об этом было все равно, что мечтать о вечно длящемся летнем закате или о никогда не кончающейся золотой осени — только из-за того, что мадригал так прекрасен, а предвечерний свет окутывает все вокруг сказочным сиянием. В глубине души Филиппа

знала, что обманывает себя, но не желала прислушиваться к голосу рассудка, делала вид, что живет в раю, где ход времени остановился и никогда больше не возобновится. Счастливые недели тянулись одна за другой. Разрыв между вымыслом и реальностью перестал существовать. Повседневность и грезы слились воедино. Постепенно воображаемый мир стал казаться ей единственно настоящим. И счастье это было совершенно безгреховным, потому что на самом деле ничего не происходило. Состояние девушки можно было назвать райским, лишенным раскаяния, страха или угрызений совести. Чем безудержнее предавалась она мечтам, тем труднее становилось сохранять их в тайне. И однажды Филиппа не выдержала — заговорила о своей любви на исповеди. Разумеется, очень осторожно, без каких-либо намеков на то, что предметом обожания является сам исповедник — во всяком случае, так ей казалось.

Подобные исповеди следовали одна за другой. Священник слушал внимательно, время от времени задавал вопросы, из которых явствовало, что ему и в голову не приходит, как дела обстоят на самом деле. Осмелев от своей невинной хитрости, Филиппа рассказывала ему все больше и больше, вплоть до самых интимных деталей. Теперь она была по-настоящему счастлива, эти признания доставляли ей истинное наслаждение, повторявшееся вновь и вновь. Но однажды настал день, когда она оговорила и вместо «он» сказала «вы», а когда попыталась исправиться, то совсем запуталась и смутилась. В ответ на расспросы залилась слезами — и повинилась.

Ну наконец-то, сказал себе Грандье. Дело сделано!

Дальше все было просто. Несколько взвешенных слов, точно рассчитанных жестов, нежные увещевания, понемножку от Христа и от Петрарки, потом перейти от Петрарки к любви земной, а от земной — к животной. Спускаться вниз легче, чем подниматься вверх, а казуистикой святой отец владел виртуозно. В любом случае отпущение грехов девице было полностью гарантировано.

И все же прошло несколько месяцев, прежде чем желаемое совершилось. По правде говоря, Грандье был несколько разочарован. Чем, спрашивается, ему была плоха вдова?

Для Филиппы же экстаз и духовный подъем сменились пугающей реальностью плотской страсти, которая перемежалась нравственными терзаниями, молитвами, клятвами, которые она была не в силах выполнить, и, наконец, отчаянием. Уступив домогательствам исповедника, она не получила того, о чем мечтала. Выяснилось, что ее архангел — безумец, охваченный животной страстью. Поначалу Филиппа воображала себя



овечкой, идущей на заклание, добровольной мученицей любви, но вскоре выяснилось, что в ее избраннике очень мало от созданного воображением идеала. Она влюбилась в красноречивого проповедника, остроумного и учтивого гуманиста. Но влюбленность и любовь, увы, не одно и то же. Влюбленность — абстракция, любовь — реальность. Полюбив, Филиппа отдалась этому чувству всей душой и всем телом. Теперь для нее не существовало ничего, кроме любви. Совсем ничего.

Так-таки и ничего? Ухмыльнувшись, коварная судьба поймала девушку в заранее расставленный капкан. Филиппа чувствовала себя беспомощной, распятая на кресте физиологии и общественной морали — падшая, обещенная, забеременевшая вне брака. Произошло то, о чем она никогда не думала, и поделаться с этим ничего было нельзя. Полная луна недолго озаряла небосвод своим волшебным сиянием, потом свет начал меркнуть и в конце концов угас, подобно последнему лучу надежды. Оставалось только одно — умереть в объятиях любимого, а если это невозможно, то хотя бы на время отрешиться от ужаса происходящего.

Встревоженный таким неистовством, таким самозабвением, кюре попытался перевести страсть влюбленной девицы в менее трагическую тональность. Ласки и объятия он сопровождал обильными цитатами из игривых классических произведений. *Quantum, quable latus, quam juvenile femur!*<sup>[22]</sup> В перерывах между любовными утехами Урбен рассказывал Филиппе непристойные истории из «Галантных дам» Брантома, а по временам нашептывал на ушко сведения, почерпнутые из трактата Санчеса о супружеских отношениях. Однако лицо Филиппы оставалось неподвижным. Казалось, оно высечено из мрамора на гробнице — закрытое, скорбное, лишенное признаков жизни. Когда же девушка открывала глаза, возникало ощущение, что она смотрит на него из другого мира, где нет ничего, кроме страданий и отчаяния. Этот взор вселял в Урбена беспокойство, однако в ответ на расспросы Филиппа лишь сжимала в пальцах его густые черные кудри и притягивала любовника в уста, к шее, к груди.

Но однажды, в самый разгар забавной истории о короле Франциске, поившем молоденьких девушек из особых кубков (изнутри на кубках были изображены совокупляющиеся пары, и с каждым глотком картинка открывалась все больше), Филиппа вдруг прервала рассказ, не дослушав. Она объявила, что ожидает ребенка, и тут же разразилась истерическими рыданиями.

Убрав руку с ее груди, Грандье немедленно изменил тон с фривольного на церковный и, разом превратившись из любовника в строгого пастыря,

напомнил грешнице, что всякий должен нести свой крест с христианским смирением. Выяснилось, что его преподобию пора идти с визитом к бедной мадам де Бру, страдающей раком матки. Несчастливая нуждается в духовном утешении.

После этого уроки латыни закончились, потому что у господина кюре больше не было на них времени. Отныне Филиппа видела его лишь в исповедальне. Когда же она пыталась обратиться к нему не как к духовнику, а как к любимому мужчине (бедняжка верила, что и он все еще ее любит), ничего не получалось: перед Филиппой был только строгий пастырь, совершавший таинство причастия, дававший отпущение грехов и налагавший епитимью. Как красноречиво убеждал он ее покаяться, довериться Божьему милосердию! Если же Филиппа заводила речь о былой любви, духовник впадал в священный гнев, отказываясь выслушивать подобные мерзости. Девушка в отчаянии спрашивала, что ей теперь делать, и Грандье отвечал, что надо вести себя по-христиански — то есть не просто смиренно снести унижительное испытание, уготованное ей Господом, но и радоваться этой муке, стремиться к ней всей душой. О своем собственном вкладе в случившееся, Урбен говорить не желал. В конце концов, всякий грешник сам несет ответственность за свои проступки. Нельзя оправдывать собственную греховность, сваливая вину на другого. В исповедальню приходят не для того, чтобы взывать к совести духовника, а за тем, чтобы просить Господа об отпущении грехов. Выслушав подобные наставления, Филиппа уходила из церкви потрясенная, заливающаяся слезами.

Вид ее страданий не возбуждал в Урбене ни жалости, ни угрызений совести, лишь портил настроение. Осада была утомительной и долгой, падение крепости особого удовольствия победителю не доставило, а последующий триумф получился не столь уж сладостным. И вот теперь своей непрощенной плодовитостью девица ставила под угрозу честь и репутацию достойного человека. Рождение маленького ублюдка — только этого не хватало! Девушка ему больше не нравилась; более того, теперь она вызывала у него отвращение. Ее уже трудно было назвать красивой. Из-за беременности и переживаний она стала похожа на побитую собаку или на ребенка, измученного глистами. Внешняя непривлекательность Филиппы лишь укрепляла Урбена во мнении, что он ничем ей не обязан, а вот она нанесла ему существенный вред, а теперь еще осыпает оскорблениями. Со спокойной совестью он принял решение, которое в любом случае было неизбежным: все отрицать, от всего отказываться. Не только говорить, что ничего подобного не было, но и наедине с самим собой придерживаться той же позиции. Да, ничего не было. Ему никогда в голову не приходила

чудовищная мысль вступить в интимные отношения с Филиппой Тренкан.  
Надо же до такого додуматься!

Le coer le mieux donnc tient toujours a demi,  
Chacun s'aime un peu mieux toujours que son ami<sup>[23]</sup>.

## Глава вторая

Шли недели. Филиппа все реже выходила из дому, в конце концов перестала даже посещать церковь. Говорила домашним, что больна, и проводила все время у себя в комнате. Ее подруга Марта Ле Пеллетье, девушка из хорошей семьи, но бедная и рано осиротевшая, поселилась с ней вместе в качестве сиделки и наперсницы. Месье Тренкан все еще ни о чем не подозревал и выходил из себя, когда кто-нибудь пытался сказать дурное слово о приходском священнике. С отеческой тревогой прокурор рассуждал об опасностях меланхолии и ужасах чахотки. Семейный врач доктор Пантон вел себя достойно и помалкивал. Луденцы же перемигивались, перешептывались, а некоторые предавались праведному негодованию. При встрече с кюре враги роняли ядовитые намеки, друзья укоризненно качали головой, а весельчаки раблезианского склада толкали его в бок и шутливо поздравляли. Всем им Грандье отвечал, что понятия не имеет, о чем они толкуют. Людям, не предубежденным против священника, такое достойное, сдержанное поведение казалось неопровержимым свидетельством невинности. Невозможно было вообразить, что столь безупречный человек способен на этакое непотребство. В домах почтенных горожан, таких, как господин де Серизе или мадам де Бру, святого отца по-прежнему принимали как дорогого гостя. Двери этих салонов остались открытыми для него и тогда, когда прокурор наконец отказал обидчику от дома. Ибо настал день, когда мэтр Тренкан узнал, какого рода недугом страдает его дочь. Не выдержав допроса, она во всем призналась. И Тренкан из преданнейшего друга святого отца моментально превратился в самого непримиримого и опасного из его врагов.

Грандье выковал еще одно звено цепи, тянувшей его к гибели.

Но вот родился ребенок. Несмотря на закрытые ставни, плотные шторы и занавески, соседи не могли не слышать криков роженицы, извещавших о том, что в доме прокурора произошло «радостное» событие. Через какой-нибудь час об этом знал уже весь город, а наутро кто-то приколотил к двери суда «Оду в честь ублюдочной внучки прокурора». Подозревали, что здесь не обошлось без протестантов, ибо господин Тренкан был истинным сыном католической церкви и не упускал случая прищемить хвост еретикам.

Верная Марта Ле Пеллетье, проявив чудеса самопожертвования (тем более впечатляющие, если учесть неприглядность всей этой истории),

публично объявила себя матерью ребенка. Мол, это она согрешила, пыталась скрыть свой грех, да не вышло. Филиппа же — лишь благодетельница, давшая подруге кров и защиту. Разумеется, никто этому не поверил, но душевная щедрость была оценена по достоинству. Когда девочке исполнилась неделя. Марта передала ее на попечение молодой крестьянке, согласившейся принять младенца в свою семью. Сделано это было с намеренной демонстративностью, на глазах у всей общины. Но протестантов этот жест не убедил, и сплетни не прекратились. Тогда, желая положить конец хуле, прокурор разработал изощренный юридический план. По его указанию Марту арестовали прямо на улице и доставили в магистратуру. Там в присутствии свидетелей девушка дала клятву и подписала документ, официально признав новорожденную своей дочерью и взяв на себя ответственность за ее дальнейшее содержание. Марта подписала эту бумагу, потому что всей душой любила свою подругу. Одна копия документа осталась в архиве, вторую господин Тренкан торжественно взял с собой. Ложь получила статус официально подтвержденной истины. Для умов, привыкших воспринимать лишь букву закона, официально установленная истина и есть самая настоящая из истин. Однако не все горожане были таковы, и вскоре прокурор обнаружил, что тема вовсе не закрыта. Даже после того, как официальный документ был зачитан вслух, после того, как свидетели посмотрели на подпись, пощупали казенную печать, ничего не изменилось. Друзья прокурора вежливо улыбались и заводили разговор о чем-нибудь другом, а враги открыто потешались и осыпали беднягу оскорблениями. Злоба протестантов была столь велика, что один из их пасторов даже посмел заявить, что лжесвидетельство — грех еще более тяжкий, чем прелюбодеяние, а виновник сокрытия и подделки истины больше заслуживает адского огня, нежели развратники, послужившие причиной скандала.

Между эпохой Уильяма Шекспира и доктора Сэмюэла Гарта миновал длинный век, наполненный самыми разнообразными событиями. Изменилась система правления, экономика, структура общества, произошли великие открытия в физике и математике, были созданы выдающиеся философские работы и гениальные произведения искусства — одним словом, в мире произошли революционные перемены. Но что за эти сто лет ничуть не переменилось — так это аптека. Ромео описывает лавку аптекаря следующим образом:

В аптеке черепаха, крокодил

И чучела иных морских уродов.  
Кругом на полках нищенский набор  
Горшечных черепков, пустых коробок,  
Веревочных обрывков, трав, семян  
И отсыревших розовых лепешек.  
Плачевный хлам, которому с трудом  
Придать старались видимость товара.<sup>[24]</sup>

Гарт же в поэме «Аптека» рисует картину, ничуть не изменившуюся  
век спустя;

Лежал там мумий просмоленный прах,  
И панцири заморских черепах;  
Акуля пасть, вся зубьями полна.  
Ухмылкою пугала из окна.  
А наверху, головкою к головке,  
Сухие маки висли на веревке;  
Под ними злобой темной исходил  
Чешуйчатый громадный крокодил;  
В одном углу — сурьма и нашатырь,  
В другом — сушеный мочевой пузырь.

Этот храм науки, одновременно являющийся лабораторией  
волшебника и ярмарочным балаганом, наиболее выразительным образом  
символизировал причудливое сочетание несочетаемых вещей и понятий,  
столь характерное для семнадцатого века. Век Декарта и Ньютона был  
одновременно веком Фладда<sup>[25]</sup> и сэра Кенелма Дигби<sup>[26]</sup>; век логарифмов и  
аналитической геометрии с доверием относился к Порошку Любви, теории  
Магических Знаков и прочей ерунде. Роберт Бойл<sup>[27]</sup>, автор «Скептического  
химика» и один из основателей Королевского общества, составил целый  
том рецептов, пригодных для употребления в домашних условиях.  
Например, если при полной луне набрать желудей, растереть их и смешать  
с мараскином, то этим снадобьем отлично вылечивается эпилепсия. Лучшее  
средство от апоплексического удара — мастика (сиречь смола, извлеченная  
из кустарника, произрастающего на острове Хиос), соединенная с  
животным маслом посредством дистилляции в медной реторте; достаточно  
ввести две или три капли этого чудесного снадобья через гусиное перо в  
ноздрю пациента, «а короткое время спустя и в другую», и здоровье  
восстановится. Человечеством уже овладел дух научных изысканий, но

колдун и ведьма еще отнюдь не канули в прошлое.

Аптека господина Адама на рю де Маршан была среднего уровня, не жалкая, не грандиозная, а самая что ни на есть обычная, провинциальная. Мумий и носорожьих рогов в ней не было, но зато имелись вест-индские черепахи, зародыш кита и восьмифутовое чучело крокодила. Снадобья же имелись в великом разнообразии и избытке. На полках лежали всевозможные травы из арсенала галенистской<sup>[28]</sup> терапии, а также новомодные химикаты, к употреблению которых призывали последователи Валентина и Парацельса. Ревень и алоэ имелись во всех видах; не переводилась и каломель или, как предпочитал называть ее сам аптекарь, *Draco mitigatus* — «укрошенный дракон». Сторонникам растительных пилюль для печени аптека могла предложить настой колоцинта; приверженцы же более современных методов лечения тоже не остались бы в обиде — к их услугам были рвотный камень и сурьма. Если же вам не повезло, и вы влюбились в недобрую нимфу или лесного духа, мэтр Адам мог предложить вам самый широкий ассортимент спасительных снадобий от *Arbor vitae* и *Hydrargyrum cum Creta* до сарсапариллы и экстракта знаменитого Голубого Бальзама. Прибавьте к этому сушеных гадюк, конские копыта и человеческие кости, и вы поймете, что луденскому аптекарю не приходилось краснеть перед собратьями по ремеслу. Конечно, если заказчику требовалось что-нибудь особенное — например, растертые сапфиры или жемчужины — их полагалось оплачивать заранее и привозить издалека.

Отныне аптека господина Адама стала штаб-квартирой заговорщиков, единственной целью которых было погубить Урбена Грандье. Заправилами в этом сообществе являлись прокурор, его племянник каноник Миньон, лейтенант полиции со своим тестем Месменом де Силли, хирург Маннури, а также сам мэтр Адам, служивший неиссякаемым источником информации, ибо по роду деятельности должен был обслуживать весь город — готовя пилюли, выдирая зубы и ставя клистир.

Так, от мадам Шовен, жены нотариуса, он выяснил (под большим секретом, когда лечил маленького Теофиля Шовена от глистов), что кюре ссудил восемьсот ливров под залог некоей недвижимости. Это означало, что мерзавец начал богатеть.

Затем последовали плохие новости. Родственница младшего лакея господина Д'Арманьяка, лечившаяся от женских болезней и закупавшая сушеных червей в изрядных количествах, сообщила аптекарю, что Грандье приглашен в губернаторский замок на обед. Тут прокурор насупился, а лейтенант полиции выругался и повесил голову. Д'Арманьяк был не просто

губернатор, он числился среди фаворитов его величества. Просто ужасно, что такой достойный человек держит среди своих друзей негодяя Грандые.

После долгой, невеселой паузы каноник Миньон объявил, что есть одна-единственная надежда — на хороший скандал. Нужно подстроить так, чтобы застукать греховодника на месте преступления. Что там у него с вдовой виноторговца?

С печальным видом аптекарь поведал, что с этой стороны сведения самые неутешительные. Вдова умеет держать рот на замке, ее служанка неподкупна, а когда минувшей ночью аптекарь пробовал подглядывать через щель в ставнях, кто-то высунулся с верхнего этажа и вылил ему на голову содержимое ночного горшка...

Шло время. Священник вел себя все так же нагло и самоуверенно, предаваясь своим обычным удовольствиям. Вскоре до аптекаря дошел очень странный слух. Поговаривали, что кюре все чаще проводит время в компании известной ханжи и святоши мадемуазель де Бру.

Мадлен была второй из трех дочерей господина Рене де Бру, человека благородного происхождения и немалого богатства; к тому же он был связан родственными узами с лучшими семействами провинции. Две сестры Мадлен благополучно вышли замуж: одна за врача, вторая за помещика. Сама же Мадлен к тридцати годам была не замужем и свободна как ветер. Женихов хватало, но всем им мадемуазель отказывала, предпочитая оставаться дома, дабы приглядывать за престарелыми родителями и коротать вечера в благочестивых раздумьях. Это была спокойная, тихая, можно даже сказать, загадочная женщина, из тех, кто скрывает эмоциональность под маской сдержанности. Она пользовалась уважением у людей старшего поколения, однако среди ровесников друзей у нее было немного. Большинство считали ее скучной ханжой, ибо Мадлен не принимала участия в обычных забавах молодежи. Слишком уж она была набожна. Само по себе это еще не страшно, но нельзя, чтобы религия застила белый свет. Что это за манера — без конца таскаться к причастию, исповедоваться каждый день, часами простаивать на коленях перед образом Богородицы. Нет, это уж чересчур. И ровесники старались держаться от мадемуазель де Бру подальше. Именно этого она и добивалась.

Потом умер ее отец, а вскоре тяжело заболела мать. Во время ее долгого и мучительного недуга кюре частенько навещался к болящей, хотя у него хватало забот с ненасытной вдовушкой и дочкой прокурора. Но не забывал он и утешать страждущую. Посему на смертном одре мадам де Бру вверила дочь его пастырской заботе. Священник пообещал свято



блюсти материальные и духовные интересы сироты — так же ревностно, как если бы речь шла о его собственном состоянии и его собственной душе. Впоследствии он сдержал свое обещание, хоть и на свой лад.

В первое время после смерти матери Мадлен собиралась разорвать все земные связи и уйти в монастырь. Но духовный наставник решительно воспротивился этому плану. Грандье говорил, что в миру она может принести куда больше пользы. Если же станет урсулинкой или кармелиткой, то зароет свой талант в землю. Ее место здесь, в Лудене. Ее призвание — давать живой пример мудрости и благонравия всем неразумным девицам, помышляющим лишь о суетных удовольствиях. Кюре говорил красноречиво, в его словах звучала Божья правда. Глаза Грандье горели огнем, лицо озарялось светом и вдохновением. По мнению Мадлен, он был похож на апостола, а то и на ангела. Все, что говорил священник, было абсолютно верным и несомненным.

И мадемуазель де Бру осталась жить в родительском доме, который теперь стал пустым и темным. Почти все время она проводила в обществе своей единственной подруги Франсуазы Грандье, сестры приходского священника. Что же удивительного, если по временам Урбен присоединялся к ним и наблюдал, как они штопают одежду бедняков или же вышивают покрывала для святых и Богоматери. Стоило ему появиться, и мир словно озарялся светом, а лицо Мадлен розовело от счастья.

Но на сей раз Грандье угодил в свою собственную ловушку. Он прибег к обычной стратегии профессионального соблазнителя: изображая холодность, разжечь в душе жертвы огонь сладострастия, довести его до высшей точки, а затем воспользоваться плодами своего коварства. Кампания протекала вполне успешно, но потом что-то нарушилось — или, наоборот, исправилось. Дело в том, что Грандье впервые в жизни влюбился. Оказалось, что его влекут не просто чувственные удовольствия, не тщеславие от победы над очередной невинной жертвой, а искреннее чувство к женщине как личности. Развратник сам не заметил, как превратился в однолюба. Это был важный шаг к нравственному росту — но шаг, увы, неприемлемый для священника римско-католической церкви. Брак для духовного лица означал бесчисленные сложности и тяготы — этические, теологические, церковные и общественные. Тогда-то Грандье и написал свой маленький трактат о celibate, о котором мы уже упоминали раньше. Мало кому нравится считать себя безнравственным еретиком; но еще менее нам нравится подавлять свои инстинкты, особенно если мы чувствуем, что в инстинктах этих нет ничего дурного, что они влекут нас к насыщенной и счастливой жизни. Из этого источника истекают

любопытнейшие произведения литературы, рационализирующие и оправдывающие импульс или инстинкт при помощи философских терминов, в зависимости от времени и географических условий приспособлявая неортодоксальные поступки к нравам эпохи. Трактат Урбена Грандье являл собой весьма характерный образец этого трогательного жанра. Кюре любил Мадлен де Бру и знал, что ничего дурного в этом чувстве нет. Однако в соответствии с правилами организации, к которой он принадлежал, даже самая благая плотская любовь воспринималась как зло. Поэтому он должен был найти аргументы, доказывающие, что эти правила вовсе не так уж буквальны, или же, что сам он, давая обет безбрачия, вовсе не собирался их придерживаться. Для умного человека нет ничего проще, чем найти доводы, подтверждающие правоту его намерений. Наверняка самому Грандье логика его трактата казалась безупречной. Еще более примечательно то, что столь же безупречным ход мыслей духовника показался мадемуазель де Бру. Религиозная до фанатизма, добродетельная не просто из убеждения, но по самому своему характеру, она воспринимала церковные законы как свод категорических императивов и, верно, скорее умерла бы, чем погрешила против целомудрия. Но она была влюблена — впервые в жизни, со всей страстью, свойственной скрытным, глубоко чувствующим натурам. У сердца есть свои резоны, и когда Грандье стал доказывать, что обет безбрачия вовсе не так уж абсолютен и что духовное лицо в принципе может жениться, девушка ему поверила. Ведь если она соединится с любимым не в прелюбодеянии, а в освященном церковью браке, то тогда она сможет на полных правах любить его — собственно говоря, это даже станет ее прямым долгом. Логика любви неоспорима: этические и теологические доводы Урбена Грандье показались Мадлен абсолютно верными. И вот однажды ночью в пустой гулкой церкви отец Грандье выполнил свое обещание, данное умирающей мадам Бру: целиком и полностью взял на себя заботу о сироте, вверенной его попечению. В качестве священника он спросил сам себя, согласен ли взять эту женщину в жены; потом, уже в качестве жениха, ответил утвердительно и сам надел кольцо на ее палец. Вновь вернувшись к роли пастыря, он произнес положенное напутствие, тут же опустился на колени, дабы принять его. Это была поистине фантастическая церемония, противоречившая закону и традиции, церкви и государству, но брачующиеся не сомневались в ее легитимности. Они по-настоящему любили друг друга, и это давало им уверенность, что в глазах Господа их брак вполне законен<sup>[29]</sup>.

Возможно, в глазах Господа так оно и было, но только не в глазах

людей. С точки зрения добрых луденцев, Мадлен просто стала очередной наложницей приходского священника. Маленькая святоша, что держалась недотрогой, на самом деле оказалась обычной шлюхой — бесстыднейшим образом уступила домогательствам этого мерзкого Приапа в рясе, этого козла в камилавке.

Собрание врагов священника, встречавшихся каждый день под сенью аптекарева крокодила, преисполнилось негодования. Самые яростные филиппики в адрес кюре раздавались именно здесь. Эти люди ненавидели Грандье, но, поскольку он устраивал свои делишки с невероятной ловкостью, не знали, как к нему подступиться, поэтому им приходилось ограничиваться руганью и угрозами. Раз ничего нельзя было сделать, по крайней мере, отводили душу. Причем хула не ограничивалась пределами аптеки. Дошло до того, что родственники мадемуазель де Бру решили положить «клевете» конец. Неизвестно, что думали они о предосудительной связи Мадлен с ее духовником, однако, подобно прокурору Тренкану, эти люди свято верили, что юридически установленная истина — самая лучшая из истин. *Magna est veritas legitima, et praevalerebit*<sup>[30]</sup>. Основываясь на этой максиме, они убедили Мадлен подать в суд на мэтра Адама за клевету. Дело было рассмотрено в парижском парламенте, и аптекаря признали виновным. Местный помещик, враждебно относившийся к роду де Бру и ненавидевший Грандье, подал от имени аптекаря апелляцию. Состоялось второе разбирательство, на котором решение нижней инстанции было подтверждено. Бедного Адама приговорили к штрафу в 640 ливров, возложили на него судебные издержки за оба процесса, и еще он должен был в присутствии городских магистратов, Мадлен де Бру и ее родственников коленопреклоненно и с непокрытой головой признать «громким и четким голосом, что он злонамеренно и необоснованно возводил нелепые и позорные хулы на вышеуказанную девицу, за что теперь просит прощения у Господа, короля, правосудия и вышеозначенной мадемуазель де Бру, публично объявляя ее девой добродетели и чести». Именно так все и произошло. Юридическая истина одержала триумфальную победу. Прокурор и лейтенант полиции, будучи членами юридического сословия, не могли не признать поражения. Очевидно, при следующей атаке на Грандье его любовницу придется оставить в покое. В конце концов, по матери она происходит из рода Шове, ее двоюродные — род де Серизе, ее свойственники — Табары, Дрё и Женбо. Когда у женщины такие влиятельные связи, нечего сомневаться, что любой суд признает ее «девой добродетели и чести». А беднягу аптекаря, конечно, жалко — штраф и судебные издержки довели его до разорения.

Увы, неисповедимы пути Провидения. Каждый должен нести свой крест, как справедливо заметил апостол.

В обществе врагов Урбена Грандье появилось два новых члена. Первым из них был видный юрист, королевский адвокат Пьер Мено. Много лет подряд он предлагал Мадлен выйти за него замуж. Отказы не обескураживали адвоката, он не терял надежды, что рано или поздно ему достанутся и сама мадемуазель, и ее приданое, и завидные связи. Можно себе представить, как неистовствовал почтенный мэтр, когда узнал, что Мадлен предпочла ему священника. Тренкан с сочувствием выслушал жалобы обиженного и, в качестве утешения, предложил ему союз. Предложение было принято с пылом, и отныне Мено сделался одним из самых активных участников заговора. Еще одним ценным приобретением для союзников стал приятель Мено, сельский дворянин по имени Жак де Тибо. Прежде он служил солдатом, а теперь являлся неофициальным представителем кардинала Ришелье, проводя в провинции политическую линию своего покровителя. Жаку Тибо кюре сразу не понравился. Жалкий попик, выходец из незнатной среды, а отрастил себе кавалерийские усы, держится будто вельможа, да еще тычет всем в нос своей латынью, словно доктор Сорбонны! И еще посмел увести невесту из-под носа у королевского адвоката! Нет, такого спускать было нельзя.

Первым делом Тибо взялся за одного из самых могущественных покровителей и друзей священника — маркиза дю Белле. Обличитель так громогласно обвинял Грандье во всех мыслимых и немыслимых грехах, что маркиз дрогнул, образумился и отныне объявил своего бывшего наперсника персоной нон-грата. Грандье был глубоко обижен и не на шутку встревожен. Доброжелатели не преминули сообщить ему, какую роль в маркизовом предательстве сыграл Тибо, поэтому при первой же встрече кюре (наряженный в полное священническое облачение, он как раз собирался войти в церковь Святого Креста) обратился к своему врагу с горькими словами упрека. Вместо ответа Тибо размахнулся тростью и ударил Грандье по голове. Началась новая фаза луденской битвы.

Первым в наступление перешел Грандье. Поклявшись отомстить обидчику, он следующим же утром отправился в Париж. Насилие над духовной особой являлось святотатством, причем не словесным, а действенным. По такому поводу можно было обратиться и в парламент, и к генеральному прокурору, и к канцлеру, и к самому королю.

Не прошло и часа, а мэтр Адам уже знал об отъезде кюре, равно как и о цели этой отлучки. Бросив пестик, которым он растирал снадобья, аптекарь побежал к прокурору, а тот, в свою очередь, немедленно созвал

всех членов коалиции. После продолжительной дискуссии был разработан план ответного удара. Пусть священник жалуется в Париже королю, а они тем временем отправятся в Пуатье и пожалуются епископу. Документ был составлен по всей юридической форме. В нем кюре обвинялся в распутстве и соращении многих замужних женщин и юных девушек, в невежестве, в безверии, в пренебрежении молитвой, а также в прелюбодеянии, совершенном в священных пределах храма. Придать этим обвинениям весомость оказалось проще простого. Мэтр Адам отправился на рынок и завербовал двух субъектов, которые согласились за небольшое вознаграждение подписать любой документ. Один из них, по имени Бугро, умел подписываться, а второй, его звали Шербонно, поставил крест. Когда дело было сделано, «свидетели» получили вознаграждение и с ликованием отправились в кабак. Наутро прокурор и лейтенант полиции оседлали лошадей и не спеша отправились в Пуатье. Там они предстали перед юридическим советником епископа, так называемым «блюстителем пристойности». К восторгу доносчиков выяснилось, что в епархии луденский кюре на дурном счету. Сюда доходили слухи о его любовных приключениях. К неосмотрительности и нескромности добавлялся грех еще более серьезный — заносчивость. Например, совсем недавно наглец посмел от собственного имени, не обращаясь в епархию, выдать разрешение на брак, а плату положил в собственный карман. Господа из Лудена пожаловали кстати — давно пора было дать укорот этому дерзкому питомцу иезуитов.

Заручившись письмом от «блюстителя пристойности», Тренкан и Эрве направились к его преосвященству, чья резиденция находилась в великолепном замке Диссэ, в четырех лигах от города.

Анри-Луи Шастенье де ла Рошпозе считался среди князей церкви белой вороной. Он стал прелатом по праву знатного рождения, однако в то же время был мужем высокоученым, автором глубокомысленных толкований Священного Писания. Его отец, Луи де ла Рошпозе, числил среди близких друзей самого Йозефа Скалигера<sup>[31]</sup>.

Юный аристократ, он же будущий пуатевенский епископ, стал учеником этого выдающегося ученого, которого Марк Петтисон назвал «величайшим из умов, когда либо устремлявшихся к знанию». Надо отдать епископу должное: несмотря на протестантизм своего учителя и яростные нападки иезуитов на автора «*De emendatione temporum*», он не отступил от своего наставника. Правда, ко всем прочим еретикам господин де ла Рошпозе относился непримиримо. Он ненавидел гугенотов, которых в его диоцезе расплодилось великое множество, и делал все что мог, дабы

испортить им жизнь. Впрочем, скверный характер обычно беспристрастен, как дождь, с равной щедростью орошающий и сады праведников, и сады грешников. Когда епископу досаждали единоверцы, он обходился с ними столь же круто, сколь с протестантами. Например, в 1614 году принц Конде писал регентше Марии Медичи, что двести семей по приказу священника выселены из города и гарнизону приказано стрелять по ним из аркебуз, если они приблизятся к воротам. В чем же состояло преступление этих несчастных? В том, что они присягнули на верность королевскому губернатору, которого терпеть не мог господин де ла Рошпозе. Принц просил ее величество покарать «этого попа за неслыханную наглость». Никакой кары, конечно, не последовало, и славный пастырь продолжал править в Пуатье, уже в сане епископа, до 1651 года, когда, дожив до преклонных лет, преставился от апоплексического удара.

Вздорный аристократ и мелкий тиран, но в то же время и ученый книгочей, для которого мир, расположенный за пределами его кабинета, был всего лишь источником раздражения, препятствовавшего истинно важным занятиям, — таков был человек, на аудиенцию к которому пришли враги отца Грандье. Через полчаса решение было принято. Приходской священник слишком зарвался, нужно преподать ему урок. Секретарю было велено распорядиться относительно ареста Грандье и доставки его в епископскую тюрьму города Пуатье. Соответствующий приказ был составлен, подписан и скреплен печатью, после чего передан Тренкану и лейтенанту полиции, дабы они воспользовались сим эдиктом по своему усмотрению.

В этот момент в Париже Грандье представил свою жалобу Парламенту, а затем, благодаря Д'Арманьяку, удостоился личной аудиенции у его величества. Глубоко растроганный горестной повестью об оскорблении, нанесенном духовному лицу, Людовик XIII распорядился немедленно восстановить справедливость, и уже через несколько дней Тибо получил вызов на парламентский суд. Он неукоснительно повиновался, однако прихватил с собой епископский приказ. Судьи разобрали дело. Все обстоятельства вроде бы были в пользу священника, но тут Тибо эффектно предъявил распоряжение епископа судьям. Те прочли документ и немедленно отложили рассмотрение дела на неопределенный срок. Пусть Грандье сначала уладит отношения с церковным начальством. Таким образом, враги священника на сей раз одержали верх.

Тем временем в Лудене началось официальное расследование неблагоприятных поступков святого отца. Поначалу расследованием руководил неподвзятый лейтенант гражданских дел Луи Шове, но, поняв,

что дело нечисто, устранился. Тогда за расследование взялся городской прокурор, которого заподозрить в беспристрастности было невозможно. Тут-то обвинения посыпались одно за другим. Преподобный Месшен, один из викариев церкви Святого Петра, сообщил, что собственными глазами видел, как кюре предается страсти прямо на полу храма (вообще-то слишком жестком и холодном для подобных упражнений). Еще один священник, преподобный Мартен Бульо, спрятавшись за колонной, наблюдал, как Грандье разговаривал с мадам де Дрё, покойной тещей судебного пристава господина де Серизе. Только и всего. Однако Тренкан внес в показания Бульо небольшую поправку. Первоначально в них значилось, что кюре «вел с вышеозначенной дамой какую-то беседу». Теперь же, в исправленном виде, свидетельское показание стало выглядеть так: «беседуя с вышеозначенной дамой, взял ее за локоть». Пожалуй, не хватало только показаний тех свидетелей, чьи слова произвели бы наибольшее впечатление на судей — легкомысленных служанок, неверных жен, веселых вдовушек, а также Филиппы Тренкан и Мадлен де Бру.

По совету губернатора Д'Арманьяка, обещавшего обратиться с письмом к епископу и к «блюстителю пристойности», Грандье принял решение добровольно явиться на суд к господину де ла Рошпозе. Тайно вернувшись из Парижа, он провел дома всего одну ночь, а на рассвете снова сел в седло. Но уже к завтраку аптекарь знал о случившемся. Час спустя Тибо, прибывший в Луден двумя днями ранее, уже скакал галопом по дороге, ведущей в Пуатье. Не теряя времени, он сразу же отправился в епископский дворец и сообщил властям, что Грандье находится в городе и хочет избежать унижительного ареста, добровольно сдавшись. Этого нельзя допустить ни в коем случае. «Блюститель пристойности» был того же мнения. Когда Грандье шел пешком к епископскому дворцу, его арестовал сержант полиции и, невзирая на протесты, доставил в церковную тюрьму — впрочем, без признаков сопротивления.

Епископская тюрьма располагалась в одной из башен дворца его преосвященства. Кюре был вверен попечению главного тюремщика Люкаса Гулье, который запер арестанта в сырой и темной камере. Произошло это 15 ноября 1629 года. Со дня драки с Тибо миновало меньше месяца.

Невзирая на холод, заключенному не позволили послать за теплой одеждой, а несколько дней спустя, когда явилась его мать, ей не разрешили встретиться с сыном. Две недели Грандье промучился в заточении, а затем написал господину де ла Рошпозе жалостное письмо. «Ваше преосвященство, я всегда знал и наущал других, что истинный путь к просветлению дает страдание, но у меня доселе не было возможности

убедиться в справедливости этой истины — до тех пор, пока по Вашей безграничной милости Вы, озабоченный спасением моей заблудшей души, не соизволили поместить меня в сию темницу, где за пятнадцать дней невыносимых страданий я приблизился к Господу более, чем за все сорок лет предшествующего благоденствия», — так начиналась эта эпистола. Далее следовал витиеватый литературный пассаж, полный метафор и библейских аллюзий. В частности, там говорилось, что Господь «в безграничной Своей мудрости соединил в едином облике человека и льва, а иначе говоря — Вашу умеренность с ожесточением моих недругов, которые, желая погубить меня, подобно Иосифу, сами того не ведая, помогли мне приблизиться к Царству Божию. Вследствие этого ненависть и вражда, терзавшие грешника, превратились в христианскую любовь, а жажда мести сменилась еще более неистовым желанием воздать добром за зло». После цветистого отступления о Лазаре кюре умолял епископа помиловать его и выпустить из заточения, ибо цель сего сурового наказания безусловно уже достигнута.

Пышные и трескучие фразы редко бывают откровенными и прочувствованными, мы все это знаем. Но литература — не то же самое, что жизнь. Искусством руководят другие правила и законы. Послание Грандье, которое сегодня кажется таким нелепым, в семнадцатом веке казалось вполне естественным и наполненным искренним чувством. У нас нет оснований сомневаться в том, что испытания приблизили Грандье к Богу. К сожалению, священник слишком плохо знал собственную натуру, иначе догадался бы, что возвращение к благоденствию неминуемо искоренит все благие плоды просветления, и произойдет это не за пятнадцать дней, а за пятнадцать минут.

Впрочем, петиция на епископа не подействовала. Как и письма, полученные его преосвященством от господина Д'Арманьяка и архиепископа Бордоского, доброго друга луденского губернатора. Наоборот, господин де ла Рошпозе распалился еще больше. Мало того, что гнусный попик обзавелся столь влиятельными друзьями, но как смеют эти неучи требовать от великого ученого (по сравнению с которым архиепископ Бордоский — полнейший осел и тупица), чтобы он, представитель рода де ла Рошпозе, руководствовался какими-то там правилами. Он как-нибудь без их помощи разберется, что нужно делать с нерадивыми клириками! И епископ повелел, чтобы с арестантом обращались еще суровей.

В эти черные дни заключенного навещали только иезуиты. Он был их учеником, и они не бросили его в беде. Помимо утешений добрые отцы приносили с собой теплые вещи и весточки из внешнего мира. Из писем



Грандье узнал, что Д'Арманьяку удалось привлечь на свою сторону генерального прокурора, и тот велел Тренкану завести дело на Тибо, после чего сей последний явился к губернатору, готовый на компромисс. Однако «церковные мужи» отсоветовали Д'Арманьяку вступать с противником в соглашение, ибо таковое повредило бы репутации кюре.

От таких сведений Грандье вновь окреп духом и написал еще одно послание епископу — ответа не последовало. Грандье написал и третье, после чего Тибо сам явился в тюрьму, предложив уладить дело миром. Тщетно. В начале декабря свидетели, обвинявшие Грандье, выступили в суде города Пуатье. Даже судьи, предубежденные против обвиняемого, отнеслись к этим показаниям с недоверием. Викарий церкви Святого Петра Жерве Месшен и тот, другой, который подглядывал из-за колонны, выглядели в суде столь же бледно, как Бугро и Шербонно. Вынести обвинительный приговор на основании подобных показаний было невозможно. Но господин де ла Рошпозе не обращал внимания на такие пустяки, как обоснованность обвинений или судебная процедура. 3 января 1630 года его преосвященство объявил приговор. Священник Грандье был приговорен сидеть на хлебе и воде каждую пятницу в течение трех месяцев, в течение пяти лет ему запрещалось проводить церковные службы как в городе Лудене, так и во всей епархии. Такой вердикт означал полный финансовый крах и ставил крест на всей будущей карьере. Но зато Грандье оказался на свободе. Теперь он снова мог греться у очага, вкусно питаться (кроме пятниц), разговаривать с родственниками и друзьями, а также посещать (с бесконечными предосторожностями!) женщину, которую он считал своей женой. Кроме того, у него появилась возможность, минуя епископа, обратиться в вышестоящую инстанцию — к архиепископу Бордоскому. В Пуатье кюре отправил почтительнейшее, но весьма твердое письмо, в котором предупредил о своем намерении. Разгневанный сверх всякой меры, господин де ла Рошпозе ничего не мог поделать. Канонический закон — и кто только придумал такую гадость? — предоставлял даже самым жалким из клириков определенные права.

Для Тренкана и прочих участников заговора новость об апелляции не предвещала ничего хорошего. Архиепископ дружил с Д'Арманьяком и терпеть не мог пуатевенского епископа. Не было почти никаких сомнений, что просьба будет удовлетворена. А это означало бы, что кюре снова утвердится в городе. Дабы воспрепятствовать этому, враги Грандье тоже подали апелляцию, но не в высшую церковную инстанцию, а в парижский парламент. Епископ и его «блюститель» представляли не светский, а духовный суд; в их власти было налагать покаяние, в самых крайних

случаях отлучать от церкви. Церковный суд не мог приговорить ни к повешению, ни к отсечению конечностей, ни к клеймению, ни к каторжным работам на галерах. Все эти кары входили в юрисдикцию обычного суда. Однако если Грандые признан виновным по церковному суду, то, стало быть, он виновен и перед земной властью. Так или иначе, апелляция была подана, процесс назначили на следующий август.

Тут уже забеспокоился Грандые. Слишком свежа была в памяти история Рене Софье, сельского священника, которого шесть лет назад отправили на костер за «духовное кровосмешительство и кощунственное непотребство». Д'Арманьяк, в чьей загородной усадьбе Грандые провел всю весну и лето, как мог, утешал друга. Софье — совсем другое дело: во-первых, его поймали на месте преступления, а во-вторых, у него не было покровителей. В данном же случае обвинение голословно, а генеральный прокурор заранее пообещал если не прямую поддержку, то, во всяком случае, благоволение. Все обойдется.

Так и вышло. Судьи первым делом приняли решение, которого больше всего опасались враги: назначили новый процесс, вести который должен был лейтенант полиции города Пуатье. Это означало, что судьи будут беспристрастны и свидетелям придется выдержать нешуточный допрос. Перспектива выглядела настолько тревожной, что один из свидетелей, Шербонно, предпочел тихо исчезнуть, а второй, Бугро, не только отрекся от своих обвинений, но еще и признался, что ему за них заплатили. Из викариев старший, Мартен Бульо, уже давно забрал назад свои показания, а теперь, всего за несколько дней до нового разбирательства, викарий помоложе, Жерве Месшен, пришел к брату Грандые и, охваченный страхом и раскаянием, продиктовал заявление, из которого следовало, что все слухи о бесчестии кюре, его распутстве с девицами и дамами в пределах храма, его полуночных оргиях и прочем — совершенно безосновательны, а показания, данные Месшеном ранее, были сделаны под давлением судебных инстанций. Совсем уж скверно получилось, когда один из каноников церкви Святого Креста признался, что прокурор Тренкан втайне приходил к нему и пытался сначала подкупом, а потом и угрозами понудить его к даче показаний против коллеги.

В общем, когда началось судебное разбирательство, выяснилось, что против обвиняемого никаких доказательств нет, зато против обвинителей свидетельств накопилось более чем достаточно. Луденский прокурор был полностью дискредитирован и оказался перед тягостной дилеммой. Если бы он рассказал правду о позоре своей дочери, Грандые, несомненно, был бы осужден, а неблагоприятное поведение мэтра Тренкана в глазах

окружающих до некоторой степени объяснилось бы. Но это означало бы предать Филиппу бесчестью, а самому стать объектом презрительной жалости. И прокурор промолчал. Филиппа была спасена от срама, но и Грандье, ненавистный Грандье, полностью восстановил свою репутацию — сам же Тренкан оказался запятнан и как дворянин, и как юрист, и как общественное лицо.

Итак, Грандье мог больше не опасаться костра за «духовный инцест», но в силе еще оставалось церковное осуждение, ибо мсье де ла Рошпозе ни в какую не желал снимать назначенную кару. Стало быть, следовало ждать решения вышестоящей инстанции. Архиепископство Бордоское в ту эпоху было семейной вотчиной рода Эскубло де Сурдис. Мать нынешнего прелата Изабо Бабу де ла Бурдазьер приходилась родной теткой самой Габриэль д'Эстре, любимой фаворитке Генриха IV. Поэтому карьера Франсуа де Сурдиса сложилась на редкость удачно. Уже в 23 года он получил кардинальскую шапку, а еще через год, в 1599 году — должность архиепископа Бордоского. В 1600 году молодой кардинал совершил поездку в Рим, где удостоился не слишком лестного прозвища И Cardinale Sordido, arcivescovo di Bordello<sup>[32]</sup>. Вернувшись, прелат всецело отдался двум главным своим увлечениям — строительству церквей и яростным ссорам (обычно из-за пустяков) с провинциальным парламентом, причем один раз даже отлучил сей орган от церкви с колокольным звоном и анафемой. Умер он в 1628 году, после почти тридцати лет пастырского служения, и уступил место младшему брату, Анри де Сурдису.

Тальман писал о новом архиепископе следующее: «Его мать мадам де Сурдис сказала ему на смертном одре, что истинный его отец — канцлер де Шиверни, а потому она просит Анри удовлетвориться диоцезом Мальезе и еще несколькими синекурами, в придачу к которым он получит большой алмаз, но взамен должен отказаться от претензий на часть наследства покойного господина де Сурдиса. Анри ответил: „Матушка, я всегда отказывался верить слухам, что вы — не истинный образец добродетели, теперь же вынужден убедиться в обратном“. После чего подал в суд на своих братьев и сестер и выиграл процесс, заполучив пятьдесят тысяч золотых»<sup>[33]</sup>.

Получив Мальезейскую епархию (еще одно семейное владение, прежде принадлежавшее одному из дядьев), Анри де Сурдис вел жизнь веселую и беспечную, вполне типичную для молодого придворного той поры. Избавленный от обязанностей, налагаемых браком, он вовсе не считал необходимым отказывать себе в удовольствиях плоти. Причем

проявлял в своих галантных приключениях такую расточительность, что подруга семьи мадемуазель дю Тилле с истинно галльской практичностью дала совет Иоанне де Сурдис, молодой супруге одного из епископских братьев, *faire l'amour avec M.l'evêque de Maillzais, votre beau-frère*<sup>[34]</sup>. «Господи Иисусе, сударыня! Что вы такое говорите», — вскричала мадам де Сурдис. «Как что? — удивилась собеседница. — Зачем же допускать, чтобы деньги уходили из семьи? То же самое сделала ваша свекровь, когда ее деверь был епископом Мальезейским».

В перерывах между любовными эскападами молодой епископ отправлялся на войну. Сначала занимал должность генерал-квартирмейстера и интенданта артиллерии, а потом стал генерал-адмиралом и командовал флотом. Собственно говоря, именно ему принадлежит заслуга создания французских военно-морских сил.

Переместившись в Бордо, Анри де Сурдис отдал дань традиции, оставшейся после старшего брата, — немедленно поссорился с губернатором Д'Эперноном по столь существенным поводам, как вопрос об артиллерийском салютовании архиепископу и приоритетном праве на покупку рыбы из свежего улова. Конфликт нарастал, и дошло до того, что люди губернатора однажды завернули оглобли архиепископскому выезду. Чтобы отомстить за это оскорбление, его высокопреосвященство немедленно отлучил гвардейцев Д'Эпернона от церкви и запретил священникам служить мессу в часовне губернатора. Не удовлетворившись этим, де Сурдис приказал во всех церквях города Бордо произносить молитвы за возвращение герцога Д'Эпернона в лоно истинной церкви. Разъяренный губернатор в ответ издал приказ, согласно которому в пределах архиепископского дворца запрещались любые собрания с участием более чем трех персон. Узнав об этом возмутительном акте, прелат выбежал на улицу и стал взывать к народу, требуя защиты от произвола. На шум и крик из своей резиденции вышел губернатор и, распалившись, ударил князя церкви тростью. Де Сурдис тут же, на месте, предал обидчика анафеме.

При разбирательстве кардинал Ришелье принял сторону де Сурдиса. Герцог был сослан в свои поместья, и поле битвы осталось за архиепископом. Правда, в дальнейшем его тоже постигла опала. Тальман пишет: «Находясь в ссылке, он слегка увлекся теологией».

Человек такого склада, конечно же, должен был отнестись с пониманием к проблемам Урбена Грандье. Сам равнодушный к плотским утехам, он не стал осуждать приходского священника за маленькие радости. С сочувствием отнесся он и к воинственности кюре, ибо ценил

бойцовский дух как в себе, так и в подчиненных. Кроме того, у Грандье был отлично подвешен язык, он не разглагольствовал на божественные темы, а был поистине бесценным кладезем интересных и забавных историй — одним словом, приятнейшим из собеседников. Д'Арманьяк писал своему наперснику после поездки к архиепископу весной 1631 года: «Он очень к Вам расположен». Практический результат не заставил себя ждать. Архиепископ потребовал, чтобы дело Грандье было пересмотрено, причем не в Пуатье, а в Бордо.

Тем временем в стране происходила великая национальная революция, затеянная кардиналом Ришелье. Реформы постепенно набирали силу, и вскоре выяснилось, что ни один человек в стране не может оставаться в стороне от них. То же относилось и к участникам нашей провинциальной драмы. Дабы сломить силу протестантов и феодальных магнатов, Ришелье убедил короля и королевский совет предать разрушению все крепости и замки. Огромное количество твердынь уже было снесено с лица земли, рвы засыпаны, земляные валы превращены в аллеи. И вот настал черед луденского замка. Основанная еще римлянами, многократно перестраиваемая и достраиваемая на протяжении средних веков, эта крепость считалась сильнейшей во всей провинции Пуату. Крепкие стены с восемнадцатью башнями окружали холм, на котором стоял город, а внутри был еще один ров, вторая стена, а в ее кольце — мощный средневековый замок, совсем недавно, в 1626 году, укрепленный и перестроенный нынешним губернатором Жаном Д'Арманьяком. Работы по перестройке обошлись в немалую сумму; король лично обещал своему любимцу, занимавшему должность первого дворянина опочивальни, что, если внешние стены и будут разрушены, то губернаторскому замку, во всяком случае, ничего не грозит.

Однако у кардинала Ришелье было собственное мнение по этому вопросу, вовсе не совпадавшее с мнением его величества. Для первого министра Д'Арманьяк был всего лишь малозначительным королевским любимчиком, а Луден — потенциально опасным гугенотским логовом. Правда, эти гугеноты сохраняли спокойствие во время недавних восстаний своих единоверцев на юге под предводительством герцога де Рогана и в Ла-Рошели, где их поддержали англичане. Однако как знать, не взбунтуются ли они завтра? В любом случае еретики есть еретики. Нет-нет, крепость должна быть разрушена до основания, а заодно город должен лишиться всех своих древних привилегий, ибо, поддавшись протестантской заразе, он оказался их недостоин. Кардинал намеревался передать эти привилегии своему собственному городу, расположенному неподалеку и быстро

строившемуся возле родового гнезда Ришелье. Тем же именем был назван и сам город.

Общественное мнение Лудена было настроено против разрушения твердыни. В те времена гражданский мир был еще внове. Оставшись без защиты крепостных стен, горожане — как протестанты, так и католики — боялись, что (по словам Д'Арманьяка) «будут брошены на произвол солдатни и грабителей». Вовсю распространялись слухи о тайных намерениях первого министра. Если все это осуществится, бедный Луден низвергнется до положения деревни, к тому же наполовину брошенной и разрушенной. Дружа с губернатором, Грандье, разумеется, был на стороне большинства. Зато его личные враги, почти без исключения, принадлежали к кардинальской партии. На будущее Лудена им было наплевать, но зато они рассчитывали на милости Ришелье. Поэтому все эти люди ратовали за снос стен и чем могли вредили Д'Арманьяку. В тот самый момент, когда казалось, что Грандье одержал окончательную и бесповоротную победу над недоброжелателями, над ним нависла угроза, по сравнению с которой все прочие его неприятности могли показаться смехотворными.

Общественное положение кюре в этот период было довольно странным. Епископ запретил ему проводить службы, однако не лишил прихода, так что в церкви Святого Петра пока священнодействовал его брат, первый викарий. Друзья не бросили Грандье в беде, но враги обращались с ним как с отверженным, изгоем, которому путь в респектабельное общество закрыт. В то же время этот «изгой» по сути дела являлся королевским губернатором. Дело в том, что Д'Арманьяк большую часть времени проводил при дворе, дабы не терять расположения его величества. Во время отсутствия губернатора городом управляли госпожа Д'Арманьяк и вице-губернатор, причем обоим было строго-настроено наказано по всем мало-мальски важным делам советоваться с кюре. Опозоренный и отстраненный от должности священник фактически являлся губернаторским наместником и главным советником правящего в городе семейства.

Летом 1631 года мэтр Тренкан оставил прокурорскую должность. Его коллеги и горожане были глубоко возмущены разоблачениями, сделанными на втором процессе Грандье. Человек, который ради личной мести оказался способен на то, чтобы запугивать свидетелей, фальсифицировать письменные показания и лгать под присягой, не заслуживал этой почтенной должности. Под давлением сверху и снизу Тренкан не устоял. Он имел право продать свою должность, однако предпочел передать ее некоему Луи Муссо — но с одним условием. Молодой юрист получал прокурорскую

мантию лишь после женитьбы на Филиппе Тренкан. Для Генриха IV Париж оказался дороже обедни. Так же рассудил мэтр Муссо: хорошая должность значит больше, чем обесчещенная невеста и насмешки протестантов. После скромной свадьбы Филиппа начала отбывать назначенный срок — сорок лет заключения в темнице несчастливого брака.

В ноябре следующего года Грандье был вызван в аббатство Сен-Жуэн-де-Марн, одну из любимых резиденций блистательного архиепископа Бордоского. Там он узнал, что его апелляция возымела силу. Запрет на богослужение отменен, так что отныне он сможет в полной мере выполнять свои обязанности приходского священника. Господин де Сурдис поздравил симпатичного кюре и дал ему дружеский совет, самого разумного свойства. Реабилитация, сказал он, не утихомирит врагов Грандье, а скорее, наоборот, разъярит их еще больше. Поскольку число недоброжелателей славного кюре велико, и люди это могущественные, то не мудрее ли будет переехать из Лудена в другой приход, дабы начать там новую жизнь? Грандье обещал поразмыслить над этим предложением, но было ясно, что переезжать он не будет. Его приход — Луден, там он и останется, а враги пускай хоть лопнут от злости. Они хотят, чтобы он уехал? Так нет же, он останется, чтобы портить им жизнь. Он всегда любил потасовки; ему, как и Мартину Лютеру, нравилось испытывать гнев.

Были у кюре и иные, менее абстрактные причины для того, чтобы остаться. В Лудене жила его Мадлен, которой было бы крайне трудно покинуть родной город. Кроме того, верный друг Жан Д'Арманьяк сейчас нуждался в помощи священника, как прежде Грандье нуждался в помощи губернатора. Бросить Луден в разгар битвы за замок было бы равносильно предательству.

По дороге из Сен-Жуэна Грандье остановился в одной из деревень и попросил у местного священника разрешения срезать ветку красивого лаврового дерева, произраставшего в церковном саду. Старый кюре охотно разрешил. Лавровый лист придает аромат и печеной утке, и жареному окороку, сказал старый священник. А лавровые листья, добавил Грандье, — лучшее знамя победы. И, осененный лавром, он торжественно проехал верхом по луденским улицам. И вечером, после почти двух лет вынужденного молчания, звонкий голос кюре вновь раздался под сводами собора Святого Петра. А под аптекаревым крокодилем тем временем собрались враги, чтобы погоревать над поражением и разработать дальнейший план кампании.

Следующая стадия войны началась раньше, чем кто-либо мог предполагать. Через пару дней после триумфального возвращения Грандье

из Сен-Жуэна в город прибыл важный гость, поселившийся в гостинице «Лебедь и крест». Этого господина звали Жан де Мартен барон де Лобардемон, председательствующий апелляционного суда провинции Гиень, член Государственного совета, а ныне — специальный посланец его величества, уполномоченный надзирать за разрушением луденской крепости. Неплохая карьера для человека, которому едва перевалило за сорок. Весь жизненный путь господина де Лобардемона явственнейшим образом подтверждал, что ползание — куда более эффективный способ продвижения, чем ходьба в полный рост; кроме того, именно ползающие умеют ядовитее всего кусаться. Лобардемон так и поступал: пресмыкался перед сильными и кусал слабых. И вот настала пора пожинать плоды своей мудрости — барон стал одним из доверенных лиц его высокопреосвященства.

Лет через двести сказали бы, что этот господин как две капли воды похож на Урию Гипа из «Дэвида Копперфильда»: длинное, вихляющееся тело, беспрестанное потирание влажных от пота ладоней, многословные заверения в смирении и благих намерениях — все совпадало с описанием диккенсовского героя. Прибавьте к этому тщательно скрываемую злобность, безжалостность и безошибочное чутье на счастливый случай.

Лобардемон приехал в Луден уже во второй раз. В прошлом году он представлял короля на обряде крещения одного из детей губернатора. Поэтому Д'Арманьяк наивно полагал, что барон — его верный друг. На самом же деле у Лобардемона друзей не было, а верность он хранил лишь тем, кто обладал властью. Д'Арманьяк же, с его точки зрения, к таковым не принадлежал. Подумаешь — фаворит короля, всецело находившегося под пятой у своего первого министра. Да, его величество пообещал Д'Арманьяку, что замок не будет разрушен, но его высокопреосвященство рассудил иначе, а стало быть, замок обречен. Можно не сомневаться, что рано или поздно (а скорее всего рано) король откажется от своего обещания. И тогда подтвердится, что его любимчик — пустое место, ничтожество с громким титулом.

Перед отъездом Лобардемон нанес губернатору визит, поклялся в вечной дружбе и искреннем расположении. Живя в Лудене, он оказывал почтительнейшие знаки внимания мадам Д'Арманьяк, учтивейшим образом вел себя с приходским священником, однако тайно встречался с Тренканом, Эрве, Месменом де Силли и прочими кардиналистами. У Грандье служба разведки была налажена неплохо — не хуже, чем у аптекаря, поэтому кюре очень скоро узнал об этих тайных встречах и написал губернатору письмо, призывая соблюдать осторожность при общении с Лобардемоном, а в



особенности с его господином — кардиналом Ришелье. Д'Арманьяк торжествующе ответил, что им получено личное послание короля, где недвусмысленно сказано: замок останется в целости и сохранности. Значит, вопрос решен раз и навсегда.

Письмо пришло в середине декабря 1631 года. Лобардемон почтительно положил его в карман, от комментариев воздержался. Тем временем полным ходом шло разрушение внешних стен и башен. Когда в январе барон на время оставил город, рабочие уже подбирались к замку. Грандье спросил инженера, каковы полученные тем инструкции. Снести все до последнего камня — таков был ответ. Тогда кюре, действуя по собственной инициативе, приказал гарнизону выставить караулы вокруг замка.

В феврале вернулся Лобардемон и, узнав, что его тайная игра раскрыта, стал рассыпаться в извинениях перед мадам Д'Арманьяк — мол, забыл оставить инженеру соответствующие инструкции, по чистой случайности увез королевское письмо с собой. Замок на время был спасен, но надолго ли и какой ценой?

Личный секретарь его величества Мишель Люкас, одновременно являвшийся тайным агентом кардинала, получил указание подорвать репутацию Д'Арманьяка в глазах короля. Что же до дерзкого священника — расквитаться с ним никогда не поздно.

В начале лета 1632 года Д'Арманьяк и Грандье одержали последнюю свою победу — увы, самоубийственную. Они подкупили курьера, доставлявшего письма от местных кардиналистов Мишелю Люкасу, и получили в свое распоряжение секретную переписку. Помимо злобной клеветы в адрес губернатора, в письмах содержались ясные доказательства того, что кардиналистская партия замыслила погубить родной город. Д'Арманьяк приехал из своего загородного поместья и, повелев бить в набат, собрал горожан. Похищенные письма были прочитаны на городской площади, и луденцы впали в такую ярость, что Эрве, Тренкан и все прочие заговорщики попрытались.

Но триумф губернатора был недолгим. Несколько дней спустя, уже находясь при дворе, он узнал, что кардинал не на шутку разозлен его демаршем. Верный друг Д'Арманьяка, государственный секретарь Ла Врильер, отвел луденского губернатора в сторону и дал ему добрый совет: выбрать одно из двух — или замок, или королевскую службу. Его высокопреосвященство не потерпит подобного афронта. Каковы бы ни были намерения его величества в настоящий момент, замок все равно обречен. И Д'Арманьяк смирился, перестал противиться неизбежному. Год

спустя королевский уполномоченный получил письмо от его величества: «Господин де Лобардемон, нам стало известно о Вашем прилежании... Отправляем Вам сие письмо, дабы выразить удовлетворение Вашими трудами и напомнить о том, что замок также должен быть снесен полностью и до самого основания». Как и следовало ожидать, кардинал своего добился.

Тем временем отцу Грандье приходилось вести войну на два фронта — не только за губернаторские интересы, но и за свои собственные. Через несколько дней после того, как он был восстановлен во всех правах священства, враги обратились к епископу Пуатевенскому с просьбой позволить желающим принимать причастие не только из «запятнанных» рук приходского кюре, но и у других священнослужителей. Господин де ла Рошпозе с удовольствием удовлетворил эту просьбу. Тем самым он поставит на место наглеца, посмеявшего оспаривать его вердикт, а заодно утрет нос архиепископу, слишком много о себе вообразившему. Из-за этого вердикта произошли новые скандалы. Летом 1632 года Луи Муссо и его жена Филиппа явились в церковь Святого Петра крестить своего перворожденного младенца. Вместо того чтобы поручить это дело одному из викариев, Грандье как ни в чем не бывало пожелал провести обряд сам. Муссо сослался на решение епископа, кюре ответил, что вердикт незаконен, и, после яростной стычки с мужем своей бывшей любовницы, подал на обидчика в суд.

Не успел начаться новый процесс, как возродился старый. Грандье и думать забыл про христианские чувства, проснувшиеся в его душе во время тюремного заточения. Все красивые фразы про ненависть, обратившуюся любовью, про месть, увядшую перед благожелательностью по отношению к врагам, — остались пустым звуком. Тибо нанес священнослужителю оскорбление действием, и за это он должен заплатить. Д'Арманьяк не раз советовал своему другу уладить дело вне суда, но кюре отказался от всех компенсаций, предложенных обидчиком, и теперь, с полным восстановлением своего статуса, возобновил иск. У Тибо тоже имелись в судах свои друзья, поэтому, когда Грандье довел дело до судебного финала, трофеи оказались невелики. Из-за несчастных двадцати четырех ливров (а именно во столько был оценен моральный ущерб) Урбен лишился последней надежды на примирение или хотя бы на прекращение прямой вражды со своими недоброжелателями.

## Глава третья

Пока Урбен Грандье вел нескончаемую войну, где триумфы сменялись поражениями, а поражения недолговечными триумфами, более молодой его современник тоже вел собственную войну, но за награду, несравненно более высокую. Обучаясь в Бордоском коллеже, Жан-Жозеф Сурен, должно быть, не раз видел среди студентов теологии или послушников-иезуитов видного собой молодого человека по имени Грандье; наверняка учителя не раз ставили Сурену в пример усердие и выдающиеся способности этого юноши, подававшего большие надежды. Однако в 1617 году Грандье уехал из Бордо, и с тех пор Сурен его больше не видел. Когда, поздней осенью 1634 года, Жан-Жозеф приехал в Луден, Урбена Грандье в живых уже не было, палач развеял его прах на все четыре стороны.

Грандье и Сурен были почти ровесниками. Они учились в одной и той же школе, у одних и тех же преподавателей, внимали тем же самым гуманистическим и религиозным наукам. Оба стали священниками, но один — мирским, а второй — членом Ордена иезуитов. И все же можно подумать, что они существовали в совершенно разных вселенных. Грандье был вполне обычным чувственным человеком, разве что с некоторым перебором по части чувственности. Его вселенная — об этом свидетельствует вся жизнь Урбена — была заключена в рамки «бренного мира», в том смысле, какой вкладывается в эти слова в Евангелии и Послании апостолов. «Горе миру от соблазнов!» «Ныне суд миру сему». «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек».

«Мир» — это опыт человеческого бытия, и формируется он личностью каждого. «Мир» — это материальная, неполная жизнь, подчиненная диктату человеческого эго. Это натура, лишенная естественности из-за чрезмерности человеческих вожделений и фобий. Это конечная величина, отторгнутая от Вечности. Множественность, изолированная от непреходящего Основания. Течение времени как череда злоключений. Система голословных категорий, подменяющая бесконечное многообразие мистических и прекрасных частных, именуемое реальностью. Ложная идея, ставшая фетишем. Вселенная, сведенная к практической пользе. «Миру» противостоит «иной мир», в котором сокрыто Царство Божие.

Именно к этому Царству Жан-Жозеф стремился всей душой с самого начала своей сознательной жизни. Его семья была не только богата и именита, но еще и набожна. В этой вере практичность сочеталась с самопожертвованием. Перед смертью отец Жана-Жозефа завещал изрядную долю своего состояния Обществу Иисуса, а мадам Сурен после кончины мужа исполнила свою давнюю мечту — стала монахиней-кармелиткой. Надо полагать, что родители воспитывали мальчика в строгости и страхе. Пятьдесят лет спустя, оглядываясь на свое детство, Сурен смог припомнить всего лишь один период безоблачного счастья, очень короткий. В ту пору ему было восемь лет, в округе неистовствовала чума, и мальчика отправили в безопасное место, в отдаленную деревню. Дело было летом, деревня находилась в живописном месте, воспитательница получила указание не обременять мальчика занятиями, дать ему возможность порадоваться жизни. Часто приезжали родственники, привозили всякие чудесные подарки. «Я проводил дни в играх и беготне, ни перед кем не испытывая страха» (сколь многое означает эта фраза!). «После же карантина меня отправили учиться, и начались тяжкие времена. Изучение науки Господа Бога нашего сделалось для меня столь трудным делом, что лишь четыре-пять лет назад впервые за всю жизнь испытал я облегчение, а до того мои страдания все нарастали и временами достигали таких высот, что, казалось, уж и природа человеческая не в состоянии этого вынести».

Итак, Жан-Жозеф стал учеником иезуитов. Они научили его всему, что он знал, и поэтому, когда пришло время выбирать поприще, юноша, не раздумывая, стал членом Ордена. Однако, помимо наук, латыни и схоластической теологии, он научился еще кое-чему, несравненно более важному. В течение пяти лет, как раз в ту пору, когда Сурен учился в коллеже, настоятельницей кармелитского монастыря в Бордо была испанская монахиня, которую звали сестра Изабелла от Ангелов. Сестра Изабелла была соратницей и ученицей Святой Терезы; в зрелом возрасте, вместе с несколькими другими монахинями, она была направлена во Францию, дабы распространить учение Святой Терезы, ее духовность и мистическую доктрину. Всякой благочестивой душе, готовой внимать святому слову, сестра Изабелла излагала суть этих воззрений. Чаше всего к ней приходил прилежный школяр лет двенадцати. Это был Жан-Жозеф, все свободное время он проводил, внимая словам настоятельницы. Как замороженный, слушал он голос, рассказывавший на неважном французском о любви к Господу, о благе союза с Ним, о смирении и самоуничтожении, об очищении сердца, об опустошении суетного рассудка.

Мальчик чувствовал, как его сердце наполняется решимостью сражаться с «миром» и плотью, с земными владыками и земной мощью — лишь тогда он будет достоин того, чтобы вверить себя Богу. Без колебаний Жан-Жозеф избрал путь духовной борьбы. Вскоре после тринадцатилетия ему было знамение, верный знак милости Божьей и предвестие грядущей победы. Однажды, когда мальчик молился в кармелитской церкви, он вдруг увидел луч света, и это загадочное явление стало для него видением Бога со всеми присущими Ему атрибутами.

Воспоминание об этом озарении, о неземном восторге, наполнившем душу подростка, осталось с Суреном до конца его дней. Это мистическое чувство избавило его, сформированного той же общественной и воспитательной средой, что Грандье или Бушар, от «похоти плоти, похоти очей и гордости житейской». Нельзя сказать, чтобы гордость и похоть совершенно были ему незнакомы. Напротив, Жан-Жозеф в полной мере ощущал их соблазнительность. Он был хрупким, нервным юношей из тех, в ком чувственные инстинкты развиты особенно интенсивно. К тому же он обладал незаурядным литературным даром и в зрелую пору своей жизни испытал искушение всецело отдаться своему дару и стать профессиональным литератором, которого более всего занимают не проблемы веры, а проблемы эстетики. Желание поддаться самой респектабельной из «похотей очей» усиливалось за счет естественного славолубия и жажды признания. Сурену пришлось бы по душе большая слава; конечно, он всячески отрекся бы от этого, однако похвала критиков и обожание читателей, несомненно, пришлись бы ему по вкусу. Но благородный ум столь же нестойк перед искушениями интеллектуальной жизни, как ум низменный перед искушениями плотской жизни. Жан-Жозеф познал на своем опыте, сколь силен соблазн творческих занятий, и лишь воспоминание о чудесном видении помогло ему не впасть в суетность. Сурен прожил жизнь девственником, большинство своих литературных произведений собственноручно предал огню, а что касается славы, то предпочел ей не просто бесславие, а дурную репутацию. Проявляя поистине героическую выдержку, преодолевая многочисленные препятствия, которые будут описаны ниже, он мучительно стремился к христианскому совершенству. Однако прежде чем мы опишем историю этого странного подвижничества, нам придется сделать отступление, дабы понять, какими мотивами руководствуются мужчины и женщины, предпринимающие подобного рода странствия в неведомое.

## II

Размышления, наблюдения и исторические сведения о жизни и поступках людей прошлого и настоящего наглядно подтверждают, что стремление к преодолению границ своего «я» развито в человеке ничуть не менее, чем жажда самоутверждения. Сыны человеческие всегда желали острее ощутить свою «самость», но в то же время им хотелось (подчас неудержимо, неистово) испытать, каково это — быть не собой, а кем-то другим. Иными словами, они мечтали выбраться из своей оболочки, преодолеть границы маленькой вселенной, того островка, где обитает каждый из нас. Это стремление не идентично бегству от физических или нравственных мук. То есть, конечно, нередко бывает, что боль стимулирует поиск иного измерения, но вовсе не обязательно. Иначе никому из физически и психически здоровых людей, которые, если воспользоваться современным жаргоном, «отлично адаптировались к жизни», было бы неведомо это томление. Ведомо, еще как ведомо!

Даже среди тех, кто щедро наделен природой и фортуной, мы часто встречаем людей, в чьей душе укоренено отвращение к собственной персоне, страстное желание раз и навсегда избавиться от своего омерзительного «я», к неразрывной связи с которым их приговорила пресловутая «отличная адаптированность». И приговор этот может быть обжалован лишь апелляцией к Наивысшему Суду. Любой из тех, кого мир почитает счастливым, точно так же, как обездоленный и несчастный, может — постепенно или спонтанно — придти к «обнаженному знанию и ощущению своего существа» (так это состояние определил автор «Облака незнания»<sup>[35]</sup>). Это обостренное осознание самого себя вызывает в душе мучительную потребность разорвать плен собственного эго, о чем пишет в своих стихах Хопкинс<sup>[36]</sup>:

Я обожжен, отравлен, нездоров.  
Всё мука мне; любые из даров  
Всевышнего мне горьки и негодны.  
Я сам и есть горчайший этот яд,  
Душа и плоть огнем во мне горят.  
И проклятые ввек со мною сходны.  
Они себя собою судят тоже —  
Совсем, как я, но только строже, строже.

«Проклятые ввек», — это те, кто осужден на вечное проклятье: судить самих себя за свои поступки. Жить по Хопкинсу тоже означает судить себя, хоть, возможно, и не с такой абсолютной строгостью. Поэтому повседневная жизнь — это частичное проклятье. Обычно людское сознание приглушено, но по временам оно обостряется, и тогда человек вдруг осознает всю неприглядность своего чувственного бытия. Автор «Облака» пишет: «Всякому ведомо чувство горечи, но более всего тому, кто знает и чувствует, каков он есть на самом деле. Кто не познал этого, достоин жалости, ибо ему неизвестно, что такое подлинная горечь. Подлинная горечь очищает душу не только от греха, но и от боли как следствия греха; подлинная горечь наущает душу радости, которую приносит человеку избавление от своего существа».

Мы испытываем потребность в самотрансценденции, то есть отказе от своего «я», потому что в глубине души, невзирая на все невежество нашего сознания, мы все-таки знаем себя. Мы знаем (или, вернее, нечто внутри нас знает), что основа нашего индивидуального знания та же, что у всего сущего; что Атман (разум, избирающий временную точку зрения) неотделим от Брахмана (Разума в его вечной неизменности). Да, всё это мы знаем, даже если никогда не слышали о доктринах, описывающих изначальный Факт, или же слышали, но почитаем их полнейшей чушью. Знаем мы и практический результат, проистекающий из этих доктрин: конечная цель нашего существования — найти место в себе для Бога; потесниться, чтобы Изначальное поднялось из глубин нашего сознания; «умертвить» себя до такой степени, чтобы сказать: «Я распят вместе с Христом, и все же я жив; но живу не я, а Христос во мне». Когда это превосходит свои рамки, освобождается подлинное «Я» и постигает факт своей вечности, а также то, что всякая мелочь в нашем эмпирическом мире несет в себе частицу вечного и бесконечного. Это и есть истинное освобождение, озарение, прекрасное видение, благодаря которому все сущее воспринимается в свете истинном, а не подкрашенном жадностью и неприглядностью эго.

Изначальный Факт, заключающийся в том, что человек — частица Творения, является в то же время и фактом индивидуального сознания. Религия требует, чтобы этот аспект человеческого сознания был оттенен и объективирован Абсолютом, отделенным от всего, что имеет начало и конец. В тоже время изначальный Долг человека — сжиматься, дабы предоставить возможность Основе подняться в верхние слои нашего



сознания, — перевоплощается в долг обретения Спасения в рамках Веры. Из двух этих основополагающих императивов складываются догматы всех мировых религий, все теории, символы, обряды, законы и предписания. Те, кто следует правилам, кто почитает посредников-священнослужителей, исполняет обряды, верует в догматы и всей душой любит «внешнего» Бога, обретающегося где-то за пределами конечных величин, могут рассчитывать — если на то будет Божья воля — обрести Спасение. А вот достигнут ли они просветления, сопутствующего осознанию изначального Факта, зависит уже не от послушного исполнения религиозных установлений, а от чего-то иного. Помогая человеку отрешиться от своего «я» и устоявшихся представлений о вселенной, религия безусловно подготавливает почву для озарения. Но в то же время она способна и служить препятствием — когда поощряет и оправдывает такие эмоции, как страх, мелочность, праведное негодование, корпоративный патриотизм и миссионерскую нетерпимость, когда она закликивается на определенных теологических догмах и словесных кружевах.

Изначальный Факт и изначальный Долг имеют свою более или менее сходную формулировку во всех основных конфессиях. В терминах христианской теологии принято говорить о соединении души с Господом, с триединой Троицей. Душа одновременно сливается с Отцом, Сыном и Святым Духом; этот союз является Источником и Основой всего сущего, причем Основа находит свое проявление в человеческом сознании, а Дух помогает соединить познаваемое с Непознаваемым.

Слияние с каким-то одним из Членов Троицы не ведет к просветлению. Соединение с одним лишь Отцом открывает путь к знанию Основы в ее вечной сущности, но не дает ключа к ее проявлению в земной жизни. Просветление и полное освобождение происходит не только в вечности, но и в сиюминутности. Согласно традиции Махаяны, для Бодхисатвы экстазм хинаянских шраваков<sup>[37]</sup>, заставляющий забыть о мире, есть не просветление, а препятствие к просветлению. На Западе критика квиетизма, вызванная церковными соображениями, привела к репрессиям и гонениям. На Востоке шраваков никто не преследовал, им просто объяснили, что они находятся на неверном пути. «Шраваки просветлены, но движутся не туда, — сказал Ма-цзы. — Обычный человек может сбиться с пути, но в то же время на свой лад найти просветление. Шраваки же не понимают, что Разум сам по себе не ведает стадий, причин и фантазий. Посредством строгой дисциплины шравака добивается поставленной цели и пребывает в Самадхи — сиречь Пустоте — многие годы. Хоть он и просветлен, но путь его неверен. С точки зрения

Бодхисатвы, пребывание в Самадхи пустоты подобно адским мукам. Шравака хоронит себя в пустоте и не знает, как выбраться из этого бездумного созерцания, ибо ему не дано заглянуть в природу Будды».

Знание одного только Отца исключает знание мира, как он есть — всей множественности явлений, знаменующих неповторяемость Бесконечности, наличие временного миропорядка внутри порядка непреходящего. Если же мир познан, то, значит, душа достигла слияния не только с Отцом, но с Сыном и Святым Духом.

Соединение с Сыном означает приверженность к любви и самоотречению. Соединение со Святым Духом — одновременно цель и средство отказа от своего «я» ради бескорыстной любви. Вместе два эти союза позволяют осознать благо слияния с Отцом. Если же кто-то озабочен союзом с одним лишь Сыном — то есть сосредоточен на человеческой ипостасей исторического Посредника, — вера может вырождаться в погоню за «благими деяниями», а внутренне — в пристрастие к болезненным видениям, фантазиям и истеричности чувств. Ни деяния, ни видения, ни эмоции сами по себе, адресованные кому-то одному, не достигают цели. Их ценность в деле просветления и освобождения условна и ограничена. Да, они способствуют бескорыстию (вернее, могут способствовать ему), а стало быть, иногда помогают человеку, совершающему благие дела, стремящемуся к видениям и способному на сильные чувства, осознать божественную Основу, которая, неведомо для него самого, всегда обреталась в его душе. Деяния, видения и эмоции должны увенчаться верой — причем не верой в некий набор теологических и исторических догм или спасение, а верой в незыблемый порядок вещей, в учение о Божественной и человеческой природе, в то, что человеку под силу испытать непознаваемое.

Непознаваемость присуща не только божественной Основе нашего существа, но и многим явлениям, находящимся между этой Основой и нашим повседневным сознанием. Например, те, кто экспериментирует с телепатией, не делают различия между успехом и неуспехом. Процесс угадывания мысли ни в коей мере не зависит от того, верно она будет угадана или нет. Остальное определит статистика: сколько процентов угадано верно, сколько неверно. То же самое происходит и при лабораторных опытах по экстрасенсорному видению.

Зарегистрировано множество случаев, когда телепатический сеанс и провидение будущего происходили одновременно, при этом экстрасенс был абсолютно уверен в точности полученной им информации. То же явление встречается и в истории религиозных озарений. Благодаря внезапному

интуитивному прозрению непознаваемое вдруг открывается перед провидцем, да так, что не оставляет у него ни малейших сомнений в истинности откровения. У людей, достигших высоких степеней самоотвержения, подобные прозрения иногда становятся привычными. Союз с Сыном, достигаемый посредством благих деяний, и союз со Святым Духом, достигаемый кротостью, открывают путь к сознательному и просветляющему союзу с Отцом. И тогда вещи и явления уже не воспринимаются через призму раздутого эго, но познаются такими, каковы они есть на самом деле — иными словами, так, как они соотносятся с божественной Основой всего сущего.

Исключительный союз с Духом столь же недостаточен для просветления и освобождения, как соединение только с Отцом в мироотрешенном экстазе или Сыном в благодеяниях и видениях. Те, кто увлекаются Святым Духом в ущерб прочим составляющим Троицы, склонны к оккультизму, психическим нарушениям и гиперчувствительности. К последним относятся люди, обладающие врожденной или приобретенной способностью чувствовать на подсознательном уровне, где рассудок утрачивает свою индивидуальность и сливается с медиумом, что находится в глубине психики. Там, в глубинах психики, происходит множество смутных, сумеречных явлений и процессов. Границы их размыты, часто эти сферы пересекаются или сливаются воедино. Среди них есть и аура иных разумов, и «психические факторы», более долговечные, чем физическая смерть организма, и образы, порожденные страданием, радостью, неповторимой индивидуальностью. Всё это гнездится где-то там, в недрах психики. Но некоторые из имеющих там сил нечеловеческого происхождения — могут добрыми, злыми или просто чуждыми нашей природе. Те, кто посвятил себя единению с одним лишь Святым Духом, обречены на поражение. Игнорируя Сына и благие деяния, они забывают о том, что цель земного существования — освобождение и просветляющее познание Отца, в коем и содержится истинная наша суть. Они не достигнут этой цели, да и с Духом им не соединиться — лишь с духами других обитателей мира, большинство из которых столь же далеки от просветления, а некоторые и вовсе невосприимчивы к свету.

Смутно, в глубине души, мы знаем, кто мы на самом деле. Этим и вызвана скорбь нашей души: мы не те, кем хотели бы быть. Отсюда же и неудержимое желание вырваться из темницы своего эго. Единственный возможный путь к освобождению лежит через самозабвение и кротость (то есть, через союз с Сыном и Святым Духом), благодаря чему достигим союз

с Отцом, в котором было, есть и будет наше истинное обиталище, знаем мы об этом или нет. Однако описать самотрансценденцию проще, чем достичь ее. Для тех, кого пугают трудности этого тернистого пути, существуют иные, менее пугающие альтернативы. Самотрансценденция не обязательно направлена вверх. В большинстве случаев это, наоборот, спуск вниз, на уровень, предшествующий индивидуальности, или же расширение в стороны, за рамки своего эго, которое при этом не возвышается, а просто меняет свою суть. Все мы постоянно пытаемся смягчить воздействие коллективного Падения в губительный эгоизм, предаваясь индивидуальному падению в безумие или скотское состояние. Есть и иные, более презентабельные варианты этой тенденции: занятие искусством, наукой, политикой, увлечение работой или каким-нибудь хобби. Нечего и говорить, что все это — жалкие суррогаты самотрансценденции, направленной вверх; это попытки найти земные, а то и животные замены Божьей Благодати. Все эти попытки в лучшем случае неудовлетворительны, а в худшем — катастрофичны.

### III

«Письма к провинциалу» Блеза Паскаля по праву считаются одним из самых выдающихся произведений мировой литературы. Какая точность мысли, какая элегантность стиля, какая глубина! И сколько тонкого сарказма, сколько полемического задора! Испытывая удовольствие от чтения, мы совершенно не помним о том, что в споре иезуитов с янсенистами сей литературный виртуоз отстаивал неправую точку зрения. То, что в конце концов верх одержали иезуиты, тоже, конечно, имело свои недостатки. Но если бы победили сторонники Паскаля, последствия были бы куда хуже. Подчинившись янсенистской доктрине обреченности почти всех представителей человеческого рода, а также янсенистской этике негибкого пуританизма, церковь легко могла бы стать инструментом неуправляемого зла и насилия. Но, к счастью, верх взяли иезуиты. В церковной догме крайности янсенистского августианизма были смягчены изрядной дозой полупелагианского <sup>[38]</sup> здравого смысла. (В иные исторические эпохи чрезмерный пыл пелагианцев — таких, как Гельвеции, Дж. Б. Уотсон <sup>[39]</sup> или, из последних времен, Лысенко, — приходилось урезонивать при помощи полуавгустианского здравого смысла).

В результате победы иезуитов на смену ригоризму пришла относительная снисходительность. Оправданием служило казуистическое утверждение, что многие из грехов, на первый взгляд кажущиеся смертными, на самом деле простительны. Так возникла теория пробабиллизма, использовавшая множество авторитетных мнений, дабы истолковывать любое сомнение в пользу грешника. С точки зрения непримиримого Паскаля, пробабиллизм был учением совершенно безнравственным. С нашей же точки зрения, такого рода либерализм обладает одним существенным достоинством: ставит крест на пугающей доктрине вечного проклятия. Что же это за вечные муки, если от них можно избавиться при помощи словесной эквилибристики, которая вряд ли подействовала бы даже на полицейского. Намерение иезуитских софистов и моралистов состояло в том, чтобы даже самых грешных людей, и тех сохранить в лоне церкви, тем самым усилив ее в целом и свой орган в частности. До некоторой степени иезуитам удалось добиться поставленной задачи. Но в то же время их успех дал начало расколу внутри католицизма и довел до абсурда одну из основополагающих догм ортодоксального христианства — доктрину вечной кары за одномоментное прегрешение.

После 1650 года быстрыми темпами начали развиваться деизм, «вольномудство» и атеизм. Причин тому было множество, в том числе и иезуитская казуистика, иезуитский пробабизм, а заодно и «Письма к провинциалу», в которых Паскаль с таким мастерством набрасывался на своих врагов.

В нашей драме иезуиты тоже сыграли свою роль, но совсем не такую, какая приписывается им в труде Паскаля. Иезуиты нашего повествования политикой не интересовались, с «бренным миром» и его обитателями почти не знали; аскетизм их быта превосходил все разумные пределы, своим друзьям и ученикам они проповедовали такую же аскезу и более всего стремились к Божьему совершенству. То были адепты школы иезуитского мистицизма, самым известным из которых считается отец Альварез, наставник святой Терезы. Один из генералов ордена осудил Альвареза за пристрастие к религиозной медитации, в то время как Игнатий Лойола призывал к проповеднической деятельности. Но один из последующих вождей ордена, Аквавива, реабилитировал Альвареза и тем самым определил официальную политику иезуитов в отношении медитативной молитвы. «Осуждения достойны те, кто преждевременно и безрассудно устремляется к высотам духовных созерцаний. Однако же не следует и ущемлять тех святых отцов, кто предается этому обыкновению, равно как не следует и воспрепятствовать созерцанию нашей братии. Ибо опыт и авторитет многих святых отцов подтвердил, что истинное и глубокое созерцание обладает большей силой, чем все другие моления — как для подавления гордыни, так и для возвышения вялых душ, побуждаемых к большему рвению в исполнении воли начальствующих, а также в спасении душ». В первой половине семнадцатого века те члены ордена, кто проявлял склонность к мистицизму, получали позволение, а иной раз и поощрение, предаваться медитативному созерцанию, хотя в целом орден продолжал делать ставку на активную деятельность. Позднее, после осуждения Молиноса<sup>[40]</sup> и ожесточенной дискуссии из-за квиетизма, большинство иезуитов стали относиться к созерцанию с изрядной подозрительностью. В последних двух томах своей «Литературной истории религиозного чувства во Франции» Бремон живописно излагает историю конфликта между «аскетическим» большинством иезуитов и сторонниками «созерцания». Поттье, ученый-иезуит, исследовавший историю Лальмана и его учеников, подверг труд Бремона сокрушительной критике. Он пишет, что созерцание никогда не подвергалось официальному осуждению в ордене и сторонники индивидуальной медитации даже в дни ожесточенного подавления квиетизма чувствовали себя в обществе Иисуса совершенно безмятежно.

Однако в 30-е годы семнадцатого века до квиетизма оставалось еще целых полвека, и дебаты вокруг созерцания пока не обрели накала борьбы с ересью. Верхушке ордена во главе с его генералом Вителлески проблема виделась чисто в практическом аспекте. Что лучше с точки зрения воспитания монахов — медитация или проповедь?

С 1628 года до вынужденной — по состоянию здоровья — отставки в 1632 году сторонник медитации великий Луи Лальман служил инструктором Руанского коллежа. Осенью 1629 года Жан-Жозеф Сурен был направлен в Руан и оставался там вместе с еще двенадцатью или пятнадцатью молодыми иезуитами, проходившими «второе послушничество» до конца осени 1630 года. Весь этот памятный семестр Сурен ежедневно внимал лекциям инструктора, посредством молитвы и поста готовя себя к христианскому самоусовершенствованию в соответствии с законами Игнатия Лойолы.

Основы учения Лальмана коротко изложены самим Суреном и, более пространно, его соучеником отцом Риголеком; впоследствии другой иезуит, отец Шампион, в самом конце семнадцатого столетия, обработал и издал эти записки под заглавием «Духовная доктрина отца Луи Лальмана».

Ничего революционно нового в доктрине Лальмана не было, да и откуда? Цель была все та же: интуитивное познание Господа как высшая задача всех, кто стремится к возвышающей самотрансценденции. Да и средства предлагались самые традиционные: почаще ходить к причастию, скрупулезно исполнять иезуитский обет послушания, умерщвлять плоть («природного человека»), почаще экзаменовать себя и постоянно находиться «на страже собственного сердца», ежедневно предаваться размышлениям о Страстях Господних, а тем, кто чувствует себя достаточно подготовленным, — предаваться пассивной молитве «простого взора», то есть постоянного ожидания Божественного Присутствия, которое может стать плодом религиозного созерцания.

Догмы все те же, осененные веками, но манера, в которой Лальман изложил ее, была оригинальной и очень личной. Учитель и его последователи придали доктрине особенную тональность, аромат, вкус.

Особый упор в учении Лальмана делается на очищение сердца и кротость во внимании Святому Духу. Иными словами, наставник учил, что сознательное единение с Отцом может быть достигнуто, лишь если благие деяния и думы открыли путь к Сыну, а одухотворенная пассивность проложила путь к Святому Духу.

Очищение сердца может быть достигнуто при помощи напряженного благочестия, частого причащения Святых Даров, постоянной

напряженности сознания, направленной на то, чтобы безжалостно расправляться с любым чувственным, самолюбивым или горделивым порывом. О благочестии и его связи с просветлением мы поговорим в одной из последующих глав. Здесь же речь пойдет об умерщвлении плоти и «природном человеке», которого следовало в себе истреблять. Пришествие Царствия Божия одновременно означало исшествие царствия человеческого. С этим никто не спорил. Однако единого мнения по поводу того, как изгнать «царство человеческое», у святых отцов не было. Можно ли с этой целью применять силу? Или же допустимо только убеждение? Лальман был ригористом, придерживавшимся пессимистично-августинианских взглядов на изменчивость человеческой природы. Однако, будучи истинным иезуитом, он проповедовал снисходительность к грешникам и суетным. Общий тон его теологической мысли весьма мрачен; и по отношению к себе, равно как и к своим последователям, Лальман никаких снисхождений не признает. Тем, кто стремится к самосовершенству, открыт только один путь — с предельной суровостью умерщвлять плоть. Шампион пишет в короткой биографии отца Лальмана: «Совершенно очевидно, что строгости, которым он подвергал свою плоть, превосходили его физические возможности и, по мнению ближайших его друзей, значительно сократили срок его жизни».

В этом смысле интересно ознакомиться с мнением современника Лальмана, Джона Донна, католика, перешедшего в лоно англиканской церкви, а также поэта, ставшего богословом и проповедником. Вот что он пишет о самонаказании: «Крест чужеземный — не мой крест, и достоинства иных людей — не мои достоинства; крест невольный, вызванный собственными моими прегрешениями, — не мой крест; не считаю я своими и обманные, не обязательные или легкие кресты. Если уж нести крест, то он должен быть только мой, уготованный Господом специально для меня и положенный на моем пути, усталом искушениями и невзгодами; не должен я сворачивать со своей дороги в поисках какого-то иного креста, ибо то будет не мой крест, не мне предназначенный; не следует мне гнаться за карой, либо же ждать, пока она меня постигнет; не следует бросаться навстречу моровой язве и избегать бегства от нее; не обязан я безропотно сносить ущерб и насилие. Я не должен морить себя ненадлежащим постом, истязать плоть свою кнутами и розгами. У меня есть свой крест, мой собственный и больше ничей, сотворенный для меня Господом. В нем и есть мое призвание, мои искушения и испытания».

Эта позиция была характерна не только для протестантизма. В разное время многие великие католические святые и теологи излагали ту же точку



зрения. Физические испытания, доведенные до последней крайности, в течение долгих веков широко практиковались в римской церкви. Причин тому было две: доктринальная и психофизиологическая. Для многих верующих самонаказание было средством избежать мук чистилища. Лучше уж подвергнуться страданию сейчас, чем пройти через куда более жестокие пытки в посмертном будущем. Были и другие мотивы, вследствие которых многие истязали свою плоть. Стремящимся к самотрансценденции голодание, лишение сна и физическая боль были нужны как стимулятор — таким способом можно было изменить состояние своей души, то есть переменить свою сущность. Если злоупотреблять этими физиологическими стимуляторами, это может привести к чрезмерной самоотрешенности, которая закончится болезнью или, как у Лальмана, преждевременной кончиной. Однако же, если пользоваться подобной методикой умеренно, физические испытания могут привести человека к чувственному и интеллектуальному совершенству. Известно, что чувство голода обостряет интеллектуальные способности. Недостаток сна размывает грань между сознанием и подсознанием. Боль — если она не слишком интенсивна — выполняет роль тонического шока, избавляющего организм от привычки и рутины. У людей набожных подобные самонаказания могут ускорить процесс восходящей самотрансценденции. Однако чаще происходит иное: человек не получает доступа к Божественной Основе Всего Сущего, но попадает в странный «психический» мир, находящийся где-то между этой Основой и верхними слоями сознания и подсознания. Попадающие в этот «психический» мир (путь физической аскезы очень часто ведет к оккультизму) нередко обретают особые способности, которые прежде назывались «чудесными» или «сверхъестественными». Часто происходило, что эти способности, а также особое психическое состояние, сопровождающее их, ошибочно воспринимались окружающими как духовное просветление. На самом деле, разумеется, этот тип трансценденции является не восходящим, а горизонтальным. Однако психические ощущения, возникающие в этом состоянии, обладают такой притягательной силой, что многие мужчины и женщины готовы идти на любые самоистязания, лишь бы достичь его. Лальман и его последователи отнюдь не считали, что «особенные дары» равнозначны единению с Господом; напротив, теолога этого направления не находили между двумя этими явлениями никакой связи. (Вскоре мы увидим, что многие из «особенных даров» в своих проявлениях неотличимы от воздействия «злых духов»). Но сознательная вера — не единственный детерминирующий фактор поведения; вполне возможно, что Лальман или Сурен испытывали

такую тягу к аскетизму, потому что он позволял им обрести «особенные дары»<sup>[41]</sup>. Свою одержимость теологи объясняли традиционной доктриной об изначальной греховности «природного человека», от которой следует избавляться любыми способами, вплоть до самых жестоких.

Лальман враждебно относился к природе и естественности во всех ее проявлениях. Для него падший мир был полон капканов и каверз. Любовь и интерес к созданиям Божьим, чрезмерное увлечение загадками жизни, разума и материи — все это, с точки зрения святого отца, опасным образом отвлекало душу от постижения человеческой сути, ибо она есть не природа, а Бог, и познание ее — познание Господа. Для иезуита задача христианского самоусовершенствования была особенно трудной. Дело в том, что этот орден не относился к числу монашеских медитативных общин, члены которых живут в уединении и все время проводят в молитвах. Общество Иисуса — орден активного действия, орден апостолов, озабоченных спасением душ и мирской битвой за Церковь. Идеальное представление об иезуите, каким оно виделось Лальману, сохранилось в записи его ученика, Сурена. Суть деятельности ордена состоит в следующем: он «соединяет явления, кажущиеся противоположными — ученость и смирение, юность и целомудрие, разноплеменность, абсолютную добродетель... В нашей жизни нужно соединять глубокую любовь к вещам небесным с постижением наук и прочими практическими занятиями. Тут очень легко впасть в одну из крайностей. Можно слишком возлюбить науки, пренебрегая молитвой и духовностью. Или же, стремясь исключительно к духовности, можно пренебречь возвращением таких природных талантов, как знание, красноречие и предусмотрительность. Превосходство иезуитского духа состоит в том, „что он благоговейно следует принципу соединения божественного и человеческого, явленного в Иисусе Христе; соединяет органы души и органы тела и обожествляет их... Но союз этот труден. Вот почему среди нас есть такие, кто, не осознавая совершенства нашего духа, устремляется к природным и человеческим дарам, тем самым отворачиваясь от сверхъестественного и божественного“. Иезуит, который не живет в согласии с духом Общества, превращается в того самого иезуита, образ которого сохранила нам история — честолобивого и суетного интригана. „Человек, который не сумеет всецело предаться своей внутренней жизни, неминуемо впадает в эти пороки; голодающая, нищая душа должна ведь припасть к чему-то, если хочет утолить свой голод“»<sup>[42]</sup>. Для Лальмана совершенная жизнь одновременно активна и медитативна,

соединена с конечным и бесконечным, с временем и вневременностью. Таков высший идеал, доступный человеку — высший, но в то же время достижимый, более всего соответствующий человеческой и божьей природе. Однако, обсуждая методику достижения этого идеала, Лальман и его ученики проявили узость ума и ригоризм. «Натура», которую они хотели соединить с Божественностью — это не вся человеческая природа, а лишь малая ее часть: жажда знаний, предприимчивость, проповеднический дар, организационный талант. Что же касается природы в целом, то в конспекте Сурена о ней ничего не сказано, а Риголек, излагающий учение Лальмана более подробно, касается этой темы лишь вскользь. А ведь Христос говорил своим ученикам, чтобы они любовались лилиями (повеление почти в духе даосской традиции), причем не как символом чего-то человеческого, а как самостоятельными созданиями, живущими по своим собственным законам, которые совпадают с Божьим Порядком. В Соломоновых притчах лентяю ставится в пример предусмотрительный муравей. Однако Христу лилии дороги тем, что в них нет предусмотрительности; они «не трудятся и не прядут», но «и Соломон во всей славе своей не одевался, как всякая из них». О том же писал Уолт Уитмен в стихотворении «Животные»:

Они не ноют из-за своего бытия,  
Не маются бессонницей в ночи, стелая о своих грехах,  
Не изводят меня болтовней о долге перед Богом,  
Средь них нет недовольных или таких, кто сходит с ума от жажды  
стяжательства,  
Они не опускаются на колени, ни друг перед другом, ни перед  
тем, кто жил тысячи лет назад,  
На всей земле нет ни одного, кто был бы респектабелен или  
предприимчив.

Лилии Христа бесконечно далеки от цветов, которыми святой Франциск Сальский начинает главу об очищении души. Он говорит Филотее, что сии цветы — добрые желания сердца. В «Введении» множество упоминаний о природе — такой, какой ее видели Плиний и авторы бестиариев; природе, символизирующей человека, и не просто человека, а книгочея и моралиста. Лилии же символизируют благодать совсем иного рода — в них нет никакой добродетели. В том-то их и прелесть; именно поэтому для нас, людей, они столь радостны и освежающи, причем не на уровне морали, а в каком-то ином, гораздо более

глубинном смысле. Третий Учитель Дзэн говорит о «великом пути»:

Люди сами делают Великий Путь трудным,  
Не отказываясь от своих предпочтений;  
Где нет отвращения, там нет и стяжательства,  
И там пролегает Путь.

Как всегда и бывает в реальной жизни, мы со всех сторон окружены парадоксами и антиномиями, мы должны отдавать предпочтение добру, а не злу, но в то же время, если искренне желаем слияния с божественной Основой Всего Сущего — мы обязаны делать этот выбор без сожаления и корыстолюбия, не навязывая вселенной наших представлений о пользе или нравственности.

Учение Лальмана и Сурена характерны для своей эпохи и страны; оно совершенно игнорирует внечеловеческую природу или же воспринимает ее как символ человеческого устройства, предназначенный служить людям. Французская литература семнадцатого столетия поразительно бедна в своем интересе (если исключить практицизм и символизм) к птицам, цветам, животным, пейзажам. Во всем «Тартюфе», например, природа упоминается всего один раз — в одной-единственной строчке, и той на редкость непоэтичной:

«Нынче сельскую местность не назовешь больно-то цветущей».

Очень точно подмечено. Что касается литературы той поры, то французская деревня и в самом деле до наступления Великого Века представлялась авторам совершенно непривлекательной. Полевые лилии, разумеется, были на месте, но поэты не обращали на них внимания. Конечно, не обошлось без исключений, но весьма немногочисленных: Теофиль де Вио, Тристан Л'Эрмит и позднее Лафонтен, время от времени писавший о зверях не как об аллегорических людях в шерсти или перьях, а как о существах иного порядка, по-своему самоценных и достойных не только Божьей, но и человеческой любви. В «Послании мадам де ла Саблье» есть чудесный пассаж, посвященный модным философским веяниям:

Животные подобны автоматам;  
Нет мысли в них, нет выбора поступков,  
Зов тела в них — и чувства и душа...  
Когда же зверь внезапно возбудится,

Невежи говорят: он загрустил,  
Возрадовался, страждет иль влюбился,  
Но все это химеры, и насчет  
Звериных чувств не стоит обольщаться.

Такова суть мрачной картезианской доктрины — кстати говоря, не так уж далеко отстоящей от традиционного католического воззрения на животных: те, мол, лишены души, а поэтому могут быть использованы человеком как ему заблагорассудится. Сразу же вслед за этим следуют строки, в которых приводятся примеры разумности оленя, куропатки, бобра. Это стихотворение — один из лучших образцов созерцательной поэзии.

Но, повторяю, таких исключений немного. Современники Лафонтена почти совершенно не обращали внимания на мир природы. Герои трагедий Корнеля обитают в тесном, строго структурированном обществе. Октав Надаль писал: «Мир Корнеля — это Город». Персонажи Расина — героини и маловыразительные герои — живут в еще более сжатой вселенной, совершенно лишенной воздуха и окон. Все эти драмы представляют собой сплошной пафос, где нет ни кислорода, ни фона, ни пространства. Как далеко отстоят они от «Короля Лира», «Как вам это понравится», «Сна в летнюю ночь» или «Макбета». В любой комедии или трагедии Шекспира буквально через каждые двадцать строчек встречается напоминание о том, что за миром людей — всеми этими шутами, злодеями, героями, кокотками и рыдающими королевами — находится постоянно присутствующий мир Земли и Вселенной, мир одушевленный и неодушевленный, лишенный рассудка, но в то же время представляющий собой некую ипостась сознания. Поэзия, изолирующая человека от природы, отражает его суть не в полной мере. Точно так же духовность, стремящаяся познать Бога лишь внутри человеческой души и в отрыве от природы и вселенной, неспособна постичь всю полноту Божественного Существа. Выдающийся философ современности Габриэль Марсель пишет: «Мое глубочайшее, непоколебимейшее убеждение — и если оно еретично, то тем хуже для ортодоксии — состоит в том, что, невзирая на мнение каких угодно мыслителей и ученых, воля Божья состоит не в том, чтобы мы любили Его вопреки Творению, а, напротив, чтобы мы прославляли Его через Творение, причем Творение должно стать для нас отправным пунктом. Вот почему я так не люблю многие религиозные книги». В этом отношении одна из наименее неприятных религиозных книг семнадцатого века — «Века

благочестивых рассуждений» Трээрна. Этот английский поэт и теолог вовсе не считал, что Господь плохо относится к Своему творению. Напротив, он утверждал, что Бога нужно славить через все сотворенное Им, нужно уметь видеть вечность в крупице песка, в цветке. Человек, который, по выражению Трээрна, «обретает Мир» путем беспристрастного созерцания, тем самым обретает и Господа, а все остальное прикладывается само собой. «Разве не чудесно удовлетворить все свои желания и стремления, избавиться от подозрительности и неверности, укрепиться мужеством и радостью? И все это достижимо, если человек обретает Мир. Ибо перед человеком предстает Господь во всей Своей мудрости, силе, доброте и славе».

Лальман говорит о соединении в идеальной жизни элементов, на первый взгляд являющихся несоединимыми: естественного и сверхъестественного. Но, как мы видим, «естественность» в его устах это не природа во всей ее полноте, а лишь малая ее часть. Трээрн тоже пишет о соединении несоединимого, однако воспринимает природу целиком, включая все мельчайшие ее детали. Лилии и вороны для него существуют сами по себе, вне связи с человеком, то есть «в Боге». Есть песок, и есть цветок, произрастающий из песка. Посмотри на эти явления с любовью и увидишь, что в них есть и вечность, и бесконечность. Такое же видение божественности в обыденных предметах было свойственно и Сурену. В немногословных записях он утверждает, что иногда ему удавалось увидеть все величие Господа в дереве или животном. Странно, но Жан-Жозеф нигде подробно не излагает эту концепцию присутствия Абсолюта во всякой малости. Даже адресатам своих духовных писем он никогда не советовал внимать словам Христа о лилиях, которые способны помочь душе в постижении Бога. Остается лишь предполагать, что для Сурена идея греховности природы (усвоенная им от учителя) была более убедительна, чем его собственный опыт. Догмы, преподанные ему в Воскресной школе, затемнили ясный и очевидный факт. Третий Учитель Дзэн пишет: «Если хочешь увидеть перед собой Это, то не мешай себе, составляя об Этом предварительные суждения, как позитивные, так и негативные». Но «составлять суждения» — профессиональная обязанность теологов, а Сурен и его учитель были в первую очередь богословами, а уже затем ищущими просветления.

В доктрине Лальмана об очищении сердца присутствует компонент, предписывающий кротость во следовании Святому Духу. Один из Семи Даров Духа — разум, а порок, противоположный разуму, — «невосприимчивость к духовным вещам». Такая невосприимчивость —

обычное состояние человека бездуховного, который не способен увидеть внутренний свет и услышать голос вдохновения. Подавляя себялюбие, призывая Свидетеля, который будет следить за образом мысли, и «часового, следящего за движениями сердца», человек постепенно наущается воспринимать послания, поступающие к нему из глубинных недр сознания: интуитивное знание, побуждение к действию, символические сны и фантазии. Сердце, находящееся под постоянным контролем, способно воспринимать благодать и в конце концов «становится вотчиной Святого Духа». На этом пути возможны и отклонения, причем совершенно не божественной природы. Ведь не все вдохновения и откровения от Бога, не все они даже могут быть названы нравственными. Как распознать, в каком из них голос Святого Духа, а в каком — безумия, а то и преступности? Бейль рассказывает о молодом благочестивом анабаптисте, услышавшем голос, который повелел ему умертвить собственного брата, отрезав ему голову. Брат, хорошо знавший Библию, не противился. Он признал божественную природу этого откровения, ибо читал о подобном в Священном Писании. В присутствии большого количества единоверцев он, подобно второму Исааку, добровольно пошел на заклание и был обезглавлен. Кьеркегор тактично называет подобные случаи «телеологическим затмением нравственности». В реальной жизни, в отличие от Ветхого Завета, такого происходить не может. Мы должны все время быть начеку, не поддаваясь наущению безумия. Лальман очень хорошо понимал, что «голоса» часто идут не от Господа, и всячески предостерегал верующих против заблуждения. Тем из коллег, кто говорил, что доктрина покорности Святому Духу слишком уж похожа на кальвинистскую доктрину внутреннего духа, Лальман отвечал: во-первых, хорошо известно, что никакое благое деяние не может быть совершено без наущения Святого Духа, каковое является человеку в виде откровения; а во-вторых, откровение признается и католической верой, и традициями церкви, и самим послушанием церковным авторитетам. Если же откровение понуждает человека пойти против веры и против церкви, стало быть, оно не божественное.

Это весьма эффективный критерий, позволяющий защититься от внутреннего безумия. Есть и другой способ, применяемый квакерами. Когда человек испытывает непреодолимое побуждение совершить некий необычный или рискованный поступок, он должен посоветоваться с «уважаемыми друзьями», которые скажут, должен ли он следовать этому голосу. То же предлагает и Лальман. Он говорит, что Святой Дух «понуждает нас внимать совету мудрых и учитывать мнение ближних».

Никакое благое деяние не может быть совершено без откровения, идущего от Святого Духа. В этом, как утверждает Лальман, состоит один из догматов католической веры. Тем же, кто «жаловался, что не получает никаких указаний от Святого Духа», Лальман отвечал, что истинно верующему откровения являются все время, даже если он не воспринимает их как таковые. Люди безусловно поймут божественность откровений, если будут жить так, как подобает. Но вместо этого «они предпочитают обитать вне своего истинного дома, никогда не заглядывая вглубь своей души и не проверяя свою совесть — хоть к этому и побуждают их данные обеты; а если и заглядывают, то самым поверхностным образом, учитывая лишь те свои недостатки, которые ведомы окружающим, и вовсе не стремясь разобраться в истинных побуждениях своих страстей и привычек, не исследуя наклонности души и порывы сердца». Что же удивляться, если таким людям не слышен голос Святого Духа. «Как могут они услышать его? Ведь они не знают даже своих собственных грехов и своих собственных поступков. Но, стоит им создать необходимые условия, и знание само явится к ним».

Все это объясняет, почему большинство так называемых «благих деяний» не просто неэффективны, но в большинстве случаев и вредоносны. Как известно, дорога в ад выстлана благими намерениями — потому что большинство людей, не видя сияния собственной души, не способны на беспримесно благое намерение. Вот почему, утверждает Лальман, действию всегда должно предшествовать размышление. «Чем больше углублены мы в себя, тем более способны мы к деяниям; чем меньше смотрим мы внутрь себя, тем менее готовы мы к добру». И в другом месте: «Человек ревностно занимается благими делами, но чист ли мотив его благочестия? Или, может быть, он получает удовлетворение самолюбия, а может быть, ему просто лень молиться или учиться, неумоготу сидеть в четырех стенах, мириться с затворничеством и сосредоточенностью?» У священника может быть обширная паства, но слова и дела пастыря дадут благие плоды «лишь в той степени, в какой он далек от своекорыстия и близок к Богу». Очень часто то, что на первый взгляд кажется добром, на самом деле таковым не является. Душу спасают святые, а не деловитые. «Деяния не должны стать препятствием для слияния с Господом, а, наоборот, призваны еще теснее и любовнее привязывать нас к Нему». Ибо «точно так же, как существуют такие состояния души, которые из-за чрезмерной своей интенсивности, могут повлечь за собой смерть телесную, так и в религиозной жизни излишняя деятельность, не смиримая молитвой и созерцанием, неминуемо ведет к смерти духовной». Вот почему многие



проживают свою жизнь бесплодно, хотя, казалось бы, совершили так много доблестных и похвальных дел. Талант, лишенный бескорыстия и устремленности в себя, также бесплоден; любое усердие, любое трудолюбие в этом случае не производит никаких духовных ценностей. «Человек молитвой может за год достичь больше, чем другие за всю свою жизнь». Да, делами можно изменить внешние обстоятельства, но тот, кто хочет изменить поведение людей (а именно оно и создает эти внешние обстоятельства), должен начать с очищения собственной души, с подготовки ее к вдохновению. Действенный человек может быть красноречив, как Демосфен и деятелен, как император Траян, но «человек внутренний произведет больше воздействия на сердца и умы одним-единственным словом, если только в нем — дух Божий».

Что же это значит — «быть одержимым и направляемым Святым Духом»? Это состояние непрекращающейся вдохновенности очень точно описано младшей современницей Сурена Армель Николя, которую в ее родной Бретани любовно называют *la bonne Armelle*<sup>[43]</sup>. Она была простой служанкой, всю жизнь готовившей еду, мывшей полы, присматривавшей за детьми и не сумевшей даже описать свою жизнь — но при этом она была настоящей святой, постоянно предававшейся медитации. К счастью, нашлась способная и грамотная монахиня, записавшая рассказы и признания Армель Николя почти дословно. «Армель считала, что не способна ни на какое действие, а пригодна лишь на то, чтобы страдать и смиренно подчиняться воле Божьей; она признавала, что обладает телом, но тело это, по глубокому ее убеждению, двигалось не само по себе, а лишь по повелению Духа Божия. Господь повелел ее душе потесниться, чтобы Он вошел туда... Когда Армель говорила о своем теле или разуме, она не употребляла выражений „мое тело“ или „мой разум“, ибо местоимения „я“ и „мой“ для нее не существовали; она говорила, что все сущее принадлежит Господу. Помню, как однажды она сказала: „Когда Он взял меня на службу, я уволила всех, кто мне мешал“. Метафоры Армель отражали особенности ее ремесла, а под „теми, кто ей мешал“ она имела в виду дурные привычки и себялюбие. Разум девушки не постигал, какую работу ведет Господь в ее душе. Казалось, разум не смеет войти за дверцу, ведущую в глубь души, и лишь Бог волен свободно проникать туда, а разум смиренно ожидает у порога, как лакей. Иногда Армель видела ангелов, стоявших там же, у этой потайной дверцы, где обитает Всевышний. Они как бы охраняли вход». Так продолжалось довольно долго, но потом Господь допустил сознание Армель в тайники души, и там Армель увидела божественные совершенства, о существовании которых прежде и не

подозревала. Свет, лившийся изнутри, был так силен, что зрение его не выдерживало, и какое-то время Армель испытывала телесные муки. Но постепенно она притерпелась и отныне внимала свету безо всякого вреда для себя.

Рассказ Армель, интересный и сам по себе, приобретает еще большее значение, если сопоставить его с другими подобными свидетельствами. Чистое Эго, или Атман, имеет ту же природу, что Божественная основа всего сущего. Внутри души находится тайник, куда «может войти лишь Господь», потому что между Божественной основой и сознанием пролегает зона деперсонифицированной субстанции, нашего подсознания, где обитают преступные инстинкты и Первородный Грех. Подсознание одинаково близко и к безумию, и к Богу. Мы рождаемся через первородный грех, но есть в нас и исходная добродетель — западная теология называет ее «благодатью», или «искрой Божьей». Это частица сознания, сохранившая первоначальную невинность и чистоту. Ее называют «синтерезис». Психологи-фрейдисты обращают гораздо больше внимания на первородный грех, а не на изначальную добродетель. Исследуя крыс и жуков, эти книгочеи отказываются видеть внутренний свет. Юнг и его последователи куда более близки к реальности. Они преодолели пределы личного подсознательного, начали исследовать разум человека — до тех границ, где он начинает деперсонифицироваться. Юнгианская психология преодолела имманентную маниакальность, но не дошла до имманентного Бога.

Лальмана и его последователей не заботили доказательства реальности мистического опыта. Они знали достоверно, из первых рук, что опыт этот реален, что подтверждалось и авторитетнейшими авторами от Дионисия Ареопагита с его «мистической теологией» до недавних свидетельств святой Терезы и святого Жана де ла Крау. Лальман ничуть не сомневался в божественности цели, достичь которую можно посредством очищения сердца и смирения перед Святым Духом. В прошлом верные слуги Господа прошли этот путь и оставили письменные свидетельства, а подлинность свидетельств подтверждается отцами церкви. В конце концов и сами теологи-иезуиты на себе испытали крошечную муку страстей, а затем познали и всеобъемлющий покой, превосходящий человеческое понимание.

## Глава четвертая

Обычному человеку, не чувствующему в своей душе призвания к божественному служению, жизнь в монастыре семнадцатого века показалась бы смертельно скучной. Монотонность дней, похожих один на другой, лишь в малой степени смягчалась мелкими происшествиями, сплетнями, беседами с нечастыми посетителями или же, в часы досуга, каким-нибудь рукоделием. Отец Сурен в своих «Письмах» рассказывает о соломенном плетении, каким увлекались многие из его знакомых монахинь. Главным шедевром стала миниатюрная соломенная карета, запряженная шестью соломенными же лошадьми. Это был подарок, предназначавшийся для туалетного столика некоей аристократической патронессы. Отец де ла Коломбьер рассказывает о монахинях-визитандинках, что, невзирая на высокие нравственные устремления этого ордена и на истинное благочестие некоторых из его питомиц, в монастырских стенах было множество монашек, которые соблюдали правила, ходили на мессу и в исповедальню, причащались Святых Даров, но делали все это исключительно по привычке, повинаясь звону монастырского колокола — а также потому, что так уж было заведено. Сердца сих монахинь никоим образом не участвовали в поступках. Женщины были увлечены собственными маленькими заботами и планами, а к делам Божьим проявляли полнейшее равнодушие. «Вся теплота чувств расходуется ими на родственников и друзей, Господу же остается лишь вялое, неискреннее внимание, которое никоим образом не способно Его устроить... Общины, призванные стать очагами, где души пылают бескрайней любовью к Всевышнему, прозябают в серости и скуке. И дай Бог, чтобы не стало еще хуже».

Жану Расину монастырь Пор-Рояль<sup>[44]</sup> показался таким замечательным потому, что «в его гостиных царила тишина, монахини неохотно вступали в разговоры, не интересовались мирскими делами и даже не сплетничали о соседях». Судя по перечислению этих выдающихся и, очевидно, редких достоинств, можно предположить, как выглядели другие женские монастыри.

Монастырь урсулинок, основанный в Лудене в 1626 году, был не хуже и не лучше, чем прочие женские обители. Из семнадцати монахинь большинство составляли молодые дворянки, принявшие монашеский обет не из благочестия и стремления к христианскому совершенству, а просто

потому, что у их семей не имелось достаточно денег для приданого. Монахини не отличались ни какой-то особенной скандальностью поведения, ни благочестием. Соблюдали устав, не нарушали правил, однако религиозного рвения и благочестия не проявляли.

Жилось им в Лудене нелегко. Они поселились в городе, половину населения которого составляли протестанты; к тому же у урсулинок совершенно не было денег. Они смогли снять лишь угрюмое старое здание, которое слыло «нехорошим», и потому никто другой селиться там не желал. Поговаривали, что там водятся привидения. Мебели в доме не было, и первое время урсулинок спали на полу. Они рассчитывали жить за счет уроков, однако поначалу пришлось обходиться без учениц, и все эти высокородные де Сазийи, д'Эскубло, де Барбезье, де ла Мотты, де Бельсьель, де Данпьер и прочие были вынуждены выполнять черную работу, а постились не только по пятницам, но еще и по понедельникам, вторникам, средам и четвергам. В конце концов от голодной смерти их спас снобизм. Луденские буржуа выяснили, что за очень небольшую плату можно пристроить своих дочек в школу, где их будут учить хорошему французскому и светским манерам троюродная сестра кардинала Ришелье, близкая родственница кардинала де Сурдиса, младшая дочь маркиза или племянница епископа Пуатевенского. После сего открытия недостатка в пансионерках и приходящих ученицах у урсулинок уже не было.

С ученицами пришло и процветание. Теперь грязную работу выполняли служанки, а в монастырской трапезной появились говядина и баранина. Соломенные матрасы сменились деревянными кроватями.

В 1627 году настоятельница монастыря была переведена в другую обитель, а новой аббатисой стала мать Иоанна от Ангелов. В миру ее звали Иоанна де Бельсьель. Она была дочерью Луи де Бельсьеля барона де Козе и Шарлотты Гумер д'Эшилле, происходившей из рода почти столь же древнего и знатного, как род господина барона. Иоанна родилась в 1602 году, стало быть, в ту пору ей было двадцать пять лет. Природа одарила ее миловидным лицом, однако же фигура Иоанны, мягко говоря, оставляла желать лучшего: мало того, что девушка была очень маленького роста, но из-за костного туберкулеза одно ее плечо заметно поднималось над другим. Иоанна получила такое же скудное образование, как большинство барышень ее эпохи. Зато она обладала острым умом и сильным характером — впрочем, таким скверным, что доставляла немало неприятностей и окружающим, и себе самой. Из-за физического недостатка девушка постоянно чувствовала, что она непривлекательна. Ощущение своего уродства, болезненное сознание обделенности, делавшей ее объектом

отвращения или жалости, вызывало в Иоанне озлобление и обиду. Она твердо знала, что никто ее не полюбит, но и сама была неспособна кого-либо полюбить. Живя словно в панцире, она делала вылазки лишь для того, чтобы напасть на своих врагов, а врагами, с ее точки зрения, были все люди. Вылазки выражались в насмешках и взрывах странного, истерического хохота. Сурен писал о ней: «Я заметил, что мать-настоятельница обладала некоей особенной веселостью нрава, постоянно побуждавшей ее к смеху и шуткам, и живший в ней демон Валаам прилагал все усилия к тому, чтобы поддерживать в ней сие злое расположение духа. Характер этой женщины являлся противоположностью той серьезности, коя потребна в сношениях с Господом; некая злая радость жила в душе Иоанны, мешая ее сердцу слиться с Богом. Одного-единственного часа этой зловещей веселости было достаточно, чтобы разрушить все, с таким трудом созданное мною благодаря многодневным усилиям. Всеми силами пытался я возбудить в ее душе желание избавиться от этого лютого врага».

Есть смех, который ничуть не противоречит духу-Господа: смех скромный и самокритичный, смех добродушный и снисходительный, наконец, смех мужественный, являющийся ответом на отчаяние и несправедливость, царящие в этом абсурдном мире. Но смех Иоанны был совсем иным — язвительным, циничным; он всегда был направлен против кого-то другого, никогда против нее самой. Сарказм горбунии был местью судьбе, жестоко обошедшейся с этой несчастной; нужно было поставить окружающих на место, а место это, разумеется, находилось где-то внизу, ибо Иоанна почитала себя выше всех. Всеми силами стремясь к превосходству, хотя бы временному, она добивалась его при помощи шуток и глумления, причем нередко позволяла себе насмешничать над материями, почитавшимися в ту эпоху священными и неприкосновенными.

Люди такого склада всегда доставляют окружающим массу неприятностей. Отчаявшись сладить со столь неприятным ребенком, родители отправили дочку к престарелой тетушке, бывшей настоятельницей одного из ближних монастырей. Там Иоанна провела два или три года, после чего была с позором выдворена — монашки не смогли с ней справиться. Шло время, и тоскливая жизнь в отцовском замке стала казаться девушке невыносимой. Монастырь и то был лучше. Поэтому она ушла в урсулинскую обитель, прошла период послушничества и приняла монашеский обет. Как можно догадаться, хорошей монахини из нее не получилось. Однако ее семья была богатой и влиятельной, поэтому настоятельнице приходилось мириться со строптивой подопечной. А потом, чудодейственным образом Иоанна вдруг взяла и переменилась. С

тех самых пор, как урсулилки перебрались в Луден, она вела себя на диво кротко и послушно. Та, кто еще недавно навлекала нарекания леностью, дерзостью и непокорством, вдруг сделалась трудолюбивой, благочестивой и смиренной. Пожилая настоятельница, потрясенная такой невероятной переменой, назвала сестру Иоанну самой лучшей кандидатурой на свой пост, когда он освободится.

Пятнадцать лет спустя Иоанна так описывала эту историю. «Я позаботилась о том, чтобы начальствующие постоянно видели меня перед собой, а поскольку монашек в обители было немного, мать-настоятельница вскоре уже не могла без меня обходиться. В монастыре были сестры куда более способные, чем я, однако они не брали на себя труда, подобно мне, оказывать аббатисе тысячу мелких услуг. Я знала, как приспособиться к ее настроению, как угодить ей, и вскоре она уже ставила меня в пример всем. Она искренне уверовала в мою доброту и благочестие. Я так возгордилась собой, что принялась выполнять послушания с еще большим пылом. Никто лучше меня не владел искусством лицемерия. Аббатиса полюбила меня всей душой и предоставила мне множество привилегий, которыми я охотно пользовалась. Будучи женщиной святой и добродетельной, мать-настоятельница полагала, что и я стремлюсь к христианскому совершенству. Она часто приглашала меня беседовать с учеными монахами, и я исполняла ее волю. К тому же это помогало убить время».

Общение с учеными монахами, как и положено, происходило через решетку, разделявшую монастырскую гостиную на две части. Перед уходом монахи непременно просовывали через решетку какую-нибудь новую книгу на религиозную тему. Это мог быть трактат Блозиуса, или житие святой Терезы Авильской, написанное ею самой, или «Исповедь» Святого Августина, или труд дель Рио о природе ангелов. Иоанна читала все эти книги, обсуждала их содержание с аббатисой и святыми отцами. Со временем она почувствовала, что эти дискуссии начинают всерьез увлекать ее. Эти благочестивые беседы в гостинной, чтение мистических книг перестали быть средством «убивать время», а обрели особый смысл. Книги и разговоры с многоумными кармелитами нужны были Иоанне «не для стремления к духовной жизни, а лишь для того, чтобы блеснуть своими способностями и набраться учености, которая поможет ей заткнуть за пояс любых других монахинь». Неутолимое самолюбие горбуни нашло новую цель, куда более увлекательную, чем прежняя. Иоанна по-прежнему иногда впадала в сарказм и цинизм, но куда реже, чем раньше. Почти все время она была погружена в изучение мистической теологии и духовности. Окрыленная обретенными знаниями, она посматривала на других монашек

сверху вниз, испытывая восхитительное чувство презрения и жалости. Да, эти несчастные дуры были благочестивы, из всех сил стремились к добродетели, но что это за добродетель! Невежество и тупость — не более того. Что могут они знать о Божьей благодати, о тайнах духовности, об озарениях и вдохновениях, об искушениях и умерщвлении чувств? Ответ напрашивался сам собой: сестры были бесконечно далеки от просветленного знания, а сестра Иоанна, маленькая уродина с кривыми плечами, постигла всю эту премудрость в совершенстве.

Мадам Бовари окончила свою жизнь так трагически, потому что воображала себя не тем человеком, каким была на самом деле. Жюль де Готье считал, что героиня Флобера олицетворяет собой весьма распространенный тип людей, и даже изобрел специальный термин «боваризм». На эту тему де Готье написал целую книгу, причем весьма увлекательную. Боваризм не всегда приводит к трагедии. Напротив, воображая, будто мы являемся не тем, каковы мы есть на самом деле, мы можем многому научиться, развить свое воображение. Одна из самых известных христианских книг «Подражание Христу» красноречиво подтверждает этот факт. Если человек действует так, как ему диктует воображение, он может стать гораздо лучше, чем есть — при том условии, что воображение ведет его в правильном направлении. Если человек думает, что он лучше, чем он есть на самом деле, то таковым со временем он и становится. Он перестает быть самим собой и постепенно приближается к своему идеалу.

Бывает, конечно, что этот идеал предосудителен, и, двигаясь к нему, человек становится не лучше, а хуже. Но боваристический механизм действует одинаково, вне зависимости от того, куда движется человек — вверх или вниз. Существует боваризм, целиком укорененный в пороке. Например, когда добропорядочный, воспитанный юноша хочет во что бы то ни стало изобразить из себя гуляку и повесу, для чего пьянствует и развратничает. Существует и иерархический боваризм — например, когда какой-нибудь сноб воображает себя аристократом и из всех сил старается вести себя подобающим образом. Есть и политический боваризм, побуждающий людей изображать из себя Ленина или Муссолини. Культурный и эстетический боваризм порождает «Смешных жеманниц» и приверженцев моды на современное искусство: еще вчера собирал картинки с обложек иллюстрированных журналов, а сегодня, глядишь, уже поклонник Пикассо. Не обошлась без боваризма и религия. В лучшем случае, это истинно благочестивый человек, всеми силами пытающийся подражать деяниям Христа; в худшем — лицемер, изображающий из себя

святого, для того чтобы достичь своих отнюдь не святых целей. Где-то посередине между Тартюфом и Святым Жаном де ла Круа находится самая распространенная, гибридная разновидность религиозных боваристов. Эти комедианты от духовности равно далеки как от святости, так и от порочности. Ими движет чисто человеческое желание попользоваться благами обоих миров. Они стремятся к спасению души, но не хотят платить за это слишком большую цену; надеются на воздаяние, однако заменяют истинное благочестие имитацией. Вера, якобы поддерживающая их, на самом деле является иллюзией. Эти люди и сами готовы поверить, что, если они будут через каждое слово повторять «Господи, Господи», то им сами собой откроются врата Царства Небесного.

Религиозный боваризм был бы невозможен без постоянного повторения слов «Господи, Господи» или без какой-то иной, более сложной теологической доктрины. В этом смысле перо гораздо мощнее меча. Слова способны заменять деяния; человек может существовать в абсолютно вербальной вселенной, совершенно избавленный от конкретного жизненного опыта. Гораздо легче изменить свой словарь, чем внешние обстоятельства, в которых укоренены наши привычки. Религиозный боварист, не намеренный искренне следовать путем Христа, обходится тем, что жонглирует словами. Но поменять свой лексикон — не то же самое, что изменить свою суть. Слово, буква может убить, но оживить, дать новую жизнь оно не в силах. На это способен только дух, высшая субстанция, сокрытая под мишурой слов. Фразы, впервые произнесенные от души искренне и рассказывающие о некоем важном экзистенциальном событии, со временем выцветают, затасканные святошами, и превращаются в обычный жаргон, этакий благочестивый сленг, при помощи которого ханжа скрывает истинную порочность своей натуры, а безобидный болтун обманывает себя и окружающих. Например, Тартюф в совершенстве владеет языком Божьих слуг:

От всех привязанностей он меня избавил,  
Умрут пусть дети, мать, жена иль брат —  
Ни капельки покой мой не смутится.

В этих словах слышится искаженное эхо Евангелия; это пародия на игнацианскую и салезианскую доктрины благочестивой безмятежности. Когда же лицемер разоблачен, как искусно, как эмоционально кается он и бьет себя в грудь! Ведь все святые угодники уверяли, что они — худшие из



грешников. Тартюф немедленно берет это на вооружение:

О да, мой брат, я жалок и презренен,  
Злосчастный грешник, мерзкий и ничтожный,  
Таких злодеев свет еще не видел!

Так же повествует о себе святая Екатерина Сиенская — да и сестра Иоанна от Ангелов в своей «Автобиографии» бичует себя с неменьшим рвением.

Даже заигрывая с Эльмирой, Тартюф использует лексику благочестия. «Святая сладость ваших глаз» — говорит он, используя те самые выражения, в которых христианские мистики писали о Христе. Возмущенный Оргон, наконец, узнав всю правду, восклицает:

Все кончено, людей благочестивых  
Отныне на порог я не пущу!  
Теперь я буду с ними сущий дьявол!

Его благоразумный брат произносит небольшую семантическую лекцию и говорит, что не все «благочестивые люди» плохи, просто нужно уметь различать среди них мерзавцев и болтунов. Каждого человека следует оценивать по его истинным достоинствам.

В семнадцатом веке несколько авторитетных теологов — например, кардинал Бона или отец-иезуит Гильоре — опубликовали пространные трактаты о том, как отличать фальшивую духовность от истинной, пустые слова от праведной жизни, лживую претензию от «божьей благодати». Они предлагали такие методы проверки, что сестре Иоанне вряд ли удалось бы выдержать этот экзамен. К сожалению, ее наставники были слишком к ней снисходительны и толковали любое сомнение в ее пользу. Очень возможно, что ее психика была не в порядке, но это не мешало ей быть превосходной актрисой. К сожалению, фокусы сестры Иоанны воспринимались окружающими всерьез — за исключением одного-единственного случая, когда она попыталась рассказать правду. Но об этом позднее.

Наставники и судьи имели собственные причины на то, чтобы поверить в игру аббатисы, и мотивы эти выглядели не слишком приглядно. Вопрос в том, насколько серьезно относилась к себе сама Иоанна? Удалось ли ей одурачить своих монахинь? Мы можем об этом только гадать.

Любой лицедей от духовности, даже самый увлеченный, время от времени чувствует, что заигрался, что над Богом так насмешничать нельзя. Да и люди не настолько тупы, чтобы долго оставаться во власти обмана.

Сестра Иоанна поняла это еще на ранней стадии своего затянувшегося спектакля, в котором она исполняла роль святой Терезы. «Бог, — писала Иоанна, — слишком часто предавал меня в руки тех, кто доставлял мне много страданий». Сквозь эти туманные слова легко себе представить следующие картины: вот некая сестра Икс, только что выслушавшая от настоятельницы вдохновенную лекцию о Браке Небесном, скептически пожимает плечами; вот сестра Игрек язвительно улыбается, глядя, как Иоанна экстатически закатывает глаза в церкви, изображая из себя Пресвятую Деву. Всем нам кажется, что мы самые хитрые и умные на свете, однако же окружающие довольно легко разгадывают нашу игру. Этот факт способен кого угодно вывести из равновесия.

К счастью (или к несчастью) для сестры Иоанны, предшествующая настоятельница урсулинского монастыря не отличалась проницательностью и не относилась к числу тех, кто «доставил Иоанне столько страданий». Благочестивые беседы с молодой монахиней, ее образцовое поведение и послушание произвели на добрую игуменью столь глубокое впечатление, что перед тем, как покинуть монастырь, аббатиса попросила церковное начальство сделать ее преемницей сестру Иоанну. Просьба была удовлетворена, и вот в двадцать пять лет Иоанна стала безраздельной владычицей маленького царства, все семнадцать подданных которого обязаны были повиноваться ей и внимать ее наставлениям.

Одержав долгожданную победу, которой предшествовала долгая и утомительная подготовка, Иоанна решила устроить себе праздник. Она по-прежнему читала мистические книги и вела ученые разговоры о христианском совершенстве, но в перерывах между этими благочестивыми занятиями всю предавалась доступным ей радостям жизни. Почти все время она проводила в гостиной, болтая о том о сем с друзьями и знакомыми, приносившими новости и сплетни из суетного мира. Годы спустя Иоанна будет каяться: «Как бы я хотела смыть все те грехи, коими я покрывала себя во время тех суетных разговоров; поистине безрассудство — пускать молодых монахинь в гостиные их монастырей, чтобы они вели с посторонними — хоть бы и через решетку — пустые разговоры. Впрочем, даже самая благочестивая беседа, когда в ней участвовала мать-настоятельница, странным образом непременно сворачивала в сторону. Допустим, начиналось с разговора о благочестии святого Иосифа, о молитвенном созерцании и святой безмятежности, о служении Господу и

прочих высоконравственных материях, а потом вдруг ни с того ни с сего беседа меняла направление, и речь вновь заходила о похождениях ужасного и интригующего Урбена Грандье.

— О, этот бесстыдник с улицы Золотого Льва... А вы слышали про ту молодую недотрогу, которая служила эконожкой у господина Эрве, пока он не женился?... А про дочь сапожника, которая теперь устроилась служанкой к ее величеству королеве-матери и рассказывает ему обо всем, что происходит при дворе?... А знаете, какие епитимьи он накладывает... Ужас, просто ужас!.. Да, преподобная матушка, прямо за алтарем, в каких-нибудь пятнадцати шагах от Святого Причастия!.. Бедняжка Тренкан, ее он соблазнил прямо под носом у прокурора, в домашней библиотеке! А теперь еще мадемуазель де Бру. Да-да, та самая, ханжа и святоша. Так держалась за свою девственность, говорила, что никогда не выйдет замуж. Набожная, все молилась, а когда умерла ее мать, хотела стать кармелиткой. А вместо этого...»

Настоятельница слушала все эти сплетни и думала, что у нее никакого «вместо этого» нет и быть не может. В девятнадцать лет она стала послушницей, а вслед за тем и монахиней. Когда умерли ее сестры и два брата, родители умоляли Иоанну вернуться в отчий дом, выйти замуж, родить им внуков. Но она отказалась. Почему? Ведь она ненавидела тоскливую монастырскую жизнь, однако все же осталась в обители — хоть в ту пору еще и не дала монашеского обета. Какое чувство было сильнее — любовь к Господу или ненависть к матери? Чего Иоанна хотела больше — досадить барону де Козе или угодить Иисусу?

О госпоже де Бру Жана думала с завистью. Подумать только — ни вздорного отца, ни надоедливой матери, полным-полно собственных денег! Сама себе хозяйка, поступай, как заблагорассудится. Вот и Урбена Грандье заполучила.

От зависти один шаг до ненависти и презрения.

Лицемерка, строящая из себя непорочную девственницу! Эта бледная физиономия, тихий голос, четки, молитвы, карманное Евангелие в красном бархатном переплете. А сама тем временем прятала за густыми ресницами огненный, похотливый взгляд. Чем она лучше всех прочих шлюх отца Грандье? Точь-в-точь такая же, как дочь сапожника или малютка Тренкан. И ведь не сказать, чтобы она была такой уж юной. Старая дева тридцати пяти лет, тощая, смотреть не на что. А Иоанна еще так молода, хороша собой — сестра Клэр де Сазийи говорила, что лицо у матери-настоятельницы — как у ангела, взирающего на землю с облаков. И какие глаза! Все восхищаются ее глазами — даже ненавистная мать, даже злющая

тетка-аббатиса. Заманить бы священника к себе в гостиную! Там Иоанна могла бы бросить на него через решетку такой обжигающий, страстный взгляд, что святой отец узрел бы ее душу во всей наготе. Вот именно — наготе. Там, где есть решетка, отпадает нужда в скромности. Решетка заменяет скромность. Можно забыть о сдержанности и приличиях. Та, что заточена за железными прутьями, в стыде не нуждается.

Однако возможности проявить бесстыдство, увы, не предоставлялось. Приходскому священнику незачем было появляться в монастыре. У урсулинок был свой собственный наставник, а среди пансионерок родственниц или знакомых у кюре не было. Занятый своими священническими обязанностями, а также бесконечными судебными исками, Грандье не мог тратить время на пустые слова, на рассуждения о христианском совершенстве. Что же касается чувственности, то многочисленные любовницы вполне удовлетворяли все его телесные потребности. Шли месяцы, годы, а аббатиса все не могла устроить так, чтобы кюре мог заглянуть в ее глаза. Грандье оставался для нее всего лишь звуком, именем без человека — но таким именем, от которого веяло страстью и силой. Фантазии, сумрачные видения, а более всего любопытство разжигали воображение монахини.

Плохая репутация — это эквивалент запаха, который издают животные во время брачного периода. Впрочем, не только запаха, но еще и криков, и даже, в случае некоторых насекомых, инфракрасного излучения. Когда женщина слывет распутной, она как бы подает всем мужчинам невидимый сигнал: ее можно домогаться. Точно таким же соблазном веет от прославленных соблазнителей, известных разбивателей сердец. Перед ними трудно устоять даже самым почтенным дамам. В глазах затворниц урсулинского монастыря Грандье представал фигурой поистине легендарной. Он был полу-Юпитер, полу-Сатир — безгранично похотливый, а потому необычайно интересный и привлекательный. Позднее, во время процесса над Грандье, некая замужняя дама, принадлежавшая к одной из лучших луденских фамилий, рассказала, как однажды, после причастия, священник посмотрел на нее в упор, и она «ощутила неистовую страсть к нему, испытав дрожь во всех своих членах». Другая свидетельница показала, что однажды, встретив кюре на улице, была охвачена «необычайно сильным чувством страсти». Третья просто посмотрела, как он входит в церковь, и «затрепетала от чувств, готовая немедленно отдаться ему прямо там же, на месте». Надо отметить, что все эти свидетельницы славились добродетелью и безупречной репутацией. Каждая была замужем, у каждой росли дети. Бедная Иоанна не имела ни

мужа, ни детей, ни каких-либо занятий. Что же удивительного, если она заочно влюбилась в это восхитительное чудовище, отца Грандые! «Мать-настоятельница была не в себе и разговаривала все время только о Грандые, к которому были устремлены все ее помыслы», — читаем мы в свидетельских показаниях. Иоанна думала о священнике постоянно. Ее созерцательные медитации, которые должны были быть обращены к Господу, вместо этого концентрировались на Урбене Грандые. Повторяя это имя, Иоанна воображала себе непристойные, пьянящие картины. Она стремилась к Грандые, как мотылек, летящий на огонь, как школьница, влюбляющаяся в эстрадного певца, как скусающая домохозяйка, сходящая с ума по Рудольфу Валентино. Стоит ли удивляться, что психика Иоанны не выдержала. В 1629 году она слегла с «недугом живота», вызванным чисто психосоматическими причинами. Доктор Рожье и хирург Маннури писали, что «она ослабела до крайней степени и едва могла ходить».

Не будем забывать, что во время описываемых событий урсулинский пансион продолжал работать, обучая молоденьких девушек и девочек чтению, письму, катехизису и хорошим манерам. Можно себе представить, какая атмосфера царила в этой монастырской школе, директриса которой была охвачена сексуальной истерией, мало-помалу распространявшейся и на прочих учительниц. В документах не сохранилось никаких свидетельств на этот счет. Нам известно лишь, что со временем возмущенные родители стали забирать дочерей из пансиона, уже не доверяя «добрым сестрам». Поначалу же казалось, что в обители ничего особенного не происходит.

В пятый год игуменства Иоанны в монастыре произошел ряд событий, на первый взгляд совершенно незначительных, но повлекших за собой драматические последствия.

Сначала умер наставник урсулинок каноник Муссо. Это был весьма достойный пастырь, приложивший немало усилий для процветания обители, но он был уже очень стар и в последние годы почти впал в детство. Состояние душ духовных дочерей было ему неведомо, а монахини, в свою очередь, каноника ни во что не ставили.

Когда Муссо умер, игуменья изо всех сил пыталась изобразить скорбь, но сердце ее трепетало от счастья. Наконец-то, наконец-то!

Как только старика похоронили, настоятельница немедленно отправила письмо приходскому священнику. Начиналось оно с описания тяжелой утраты, постигшей монахинь, а далее Иоанна переходила непосредственно к делу: ей самой и ее подопечным нужен новый духовный наставник, такой же мудрый и благочестивый, как усопший каноник. В конце письма настоятельница прямо приглашала кюре занять

освободившееся место. Надо сказать, что письмо составлено очень искусно — если не считать орфографических ошибок, ибо с правописанием мать Иоанна была не в ладах. Разве смог бы Грандье устоять перед этой искренней, благочестивой и в то же время лестной мольбой?

Но увы — Грандье ответил вежливым отказом. Он не достоин такой высокой чести, да к тому же у него хватает и прочих обязанностей.

Предвкушение счастья обернулось страшным разочарованием. Горе и уязвленная гордость смешались в душе аббатисы, породив холодную ярость и жгучую ненависть.

Найти выход гневу было непросто, ибо кюре обитал в мире, куда Иоанне доступа не было. Она не могла до него добраться, а он отказывался ступить на порог обители. Единственная возможность хотя бы косвенно прикоснуться к жизни священника возникла, когда Мадлен де Бру явилась в монастырь навестить свою племянницу, пансионерку монастырской школы. Войдя в гостиную, Мадлен увидела мать-аббатису, поджидавшую ее по ту сторону решетки. Мадемуазель де Бру вежливо поздоровалась, а в ответ на нее обрушился поток ожесточенной брани: «Шлюха, прелюбодейка, богохульница, совратительница!» Осыпаемая проклятиями, Мадлен в ужасе бросилась вон.

На этом возможности мести, казалось, были исчерпаны. Матери Иоанне теперь оставалось только одно: примкнуть к стану заклятых врагов Грандье. Без промедления настоятельница послала за человеком, который считался злейшим среди всего местного духовенства врагом приходского священника. Каноник Миньон, хромой от рождения, бездарный, уродливый, всегда завидовал красоте, уму и удачливости Урбена Грандье. К этой изначальной антипатии со временем добавились более весомые причины для ненависти: издевательские шутки Урбена, скандальная история с Филиппой Тренкан, приходившейся канонику кузиной, а в последнее время еще и судебное разбирательство между церковью Святого Креста и приходом Святого Петра. Не послушавшись совета коллег, Миньон затеял судебный процесс и проиграл его. Он все еще не оправился от обиды и унижения, когда получил внезапное приглашение от игуменьи урсулинской обители. После пространного разговора о благах духовной жизни беседа повернула на скандальное поведение приходского кюре, а закончилась предложением принять урсулинок под свою опеку. Миньон сразу же согласился стать исповедником монахинь, довольный тем, что в лагере врагов Грандье появилась новая союзница. Каноник еще не знал, как ее использовать, но, подобно дальновидному полководцу, решил укрепить свой резерв.

Ненависть, которой ныне пылала аббатиса к Грандье, странным образом не избавила ее от прежнего наваждения. И во сне, и наяву Иоанна грезила все о том же мужчине, только теперь он превратился из прекрасного принца в страшного и соблазнительного инкуба, который способен доводить своих жертв до греховного, но бесконечно сладостного экстаза. После смерти престарелого отца Муссо настоятельнице несколько раз снилось, как старик возвращается на землю из Чистилища, чтобы просить своих бывших духовных дочерей помолиться за него. Однако внезапно лицо покойника менялось, и «я уже видела перед собой не своего бывшего наставника, а Урбена Грандье, заводившего речь о любовной страсти и осыпавшего меня поцелуями и ласками, в равной степени непристойными и кощунственными, так как я не могла отдать ему то, чем более не распоряжалась, ибо я посвятила свое девство Жениху Небесному».

По утрам игуменя рассказывала о своих ночных видениях монахиням. Рассказы эти были настолько красноречивы и впечатляющи, что в скором времени еще две молодых монахини — сестра Клэр де Сазийи (кузина кардинала Ришелье) и еще одна Клэр, послушница, — тоже стали видеть соблазнительные видения, в которых им являлись сатиropодобные священники, нашептывавшие девицам на ухо всякие похабные словечки.

Событие, которому было суждено погубить Урбена Грандье, началось с глупого озорства. Несколько молодых монахинь, которым помогала часть воспитанниц, решила поуготать трусоватых пансионеров, а также благочестивых урсулинок старшего поколения. Шутка была задумана в духе страшных и смешных розыгрышей, обычно устраиваемых накануне Дня Всех Святых. Поскольку дом, в котором располагалась обитель, имел репутацию «нехорошего места», сама атмосфера монастыря отлично подходила для спектакля. Поэтому непосвященные пришли в ужас, когда вскоре после смерти старого каноника, в мрачных коридорах монастыря появилась фигура в белом саване. Теперь двери келий на ночь запирались на засов, однако призрак таинственным образом умудрялся проникать и внутрь-то ли проходя сквозь стены, то ли пользуясь помощью самих воспитанниц. С кого-то ночью сдернули простыню, кому-то по лицу провели ледяными пальцами. Из-за потолка доносились стоны и звяканье цепей. Девочки пищали от ужаса, почтенные монахини сотворяли крестное знамение и зывали к святому Иосифу. Увы, это не помогало. Призрак возвращался вновь и вновь, так что и школа, и монастырь были охвачены паникой.

Каноник Миньон был осведомлен о том, что происходит на самом

деле, потому что участницы проделок обо всем рассказывали ему во время исповедей. Слушая про призраки, про инкубов и прочие «сверхъестественные» явления, пастырь вдруг понял, что само Провидение пришло к нему на помощь. Все складывалось самым наилучшим образом. План составил сам собой. Духовник сурово корил озорниц, однако запрещал им признаваться в своих прегрешениях. Тем же, кто не знал о розыгрыше, Миньон толковал, что это не призрак, а сам дьявол является им по ночам. Матери-настоятельнице и сестрам, страдавшим от непристойных видений, каноник объяснил, что все это не сон, а вполне вещественные домогательства Сатаны.

Теперь настало время провести совещание в узком кругу о дальнейших действиях. Самые влиятельные враги Грандье собрались в загородной усадьбе господина Тренкана, расположенной в одной лиге от города. На военном совете Миньон рассказал о монастырских событиях и объяснил, какую из них можно извлечь пользу. Диспозицию разработали во всех деталях, с использованием тайного оружия, психологии и сверхъестественных сил. Заговорщики были окрылены. На сей раз гнусному Грандье отвертеться не удастся.

Согласно плану, Миньон отправился к кармелитам. Он сказал, что ему нужен специалист по изгнанию злых духов. Нет ли у святых отцов достойного кандидата? Аббат с превеликим удовольствием выделил не одного, а сразу троих: отца Эвсеба от Святого Михаила, Пьера-Тома от Святого Карла и отца Антуана от Благодати. Вчетвером они обсудили, как браться за дело. И приступили к своей непростой работе, да с таким успехом, что всего через несколько дней уже все монахини, за исключением двух или трех, совсем престарелых, начали принимать у себя по ночам дьявола, принявшего обличье приходского священника.

По городу поползли слухи о проклятье, постигшем монастырь. Вскоре все горожане заговорили о том, что святым сестрам нет житья от наглых бесов и что бесы эти одолевают их по наущению отца Грандье. Больше всех обрадовались протестанты. Еще бы — католический священник оказался слугой Сатаны, который замыслил совратить целый монастырь урсулинок! Отличный реванш за падение Ла-Рошели. Что до священника, то он в ответ на слухи лишь пожимал плечами. В конце концов, он в глаза не видывал ни самой настоятельницы, ни ее полоумных питомиц. Что бы ни говорили про него эти истерички, это всего лишь продукт их болезни — меланхолии, соединенной с бешенством матки. Лишенные мужского общества, бедняжки воображают себе сношения с инкубом. Когда канонику сообщали скептические замечания Урбена, он лишь улыбался и говорил: «Хорошо



смеется тот, кто смеется последним».

Труды по изгнанию демонов были столь тяжелы и малорезультативны, что после нескольких месяцев героической битвы с бесами пришлось вызвать подкрепление. Первым пригласили отца Пьера Ранжье, приходского кюре из Веньера. Этот пастырь пользовался в епархии огромным влиянием, а также всеобщей нелюбовью, потому что являлся тайным шпионом и секретным агентом епископа. Каноник специально пригласил Ранжье, чтобы к его затее в верхах отнеслись без скептицизма. Все будет официально, в строгом соответствии с правилами.

Затем к Ранжье присоединился еще один святой отец, совершенно иной породы. Господин Барре, кюре прихода Сан-Жак из соседнего города Шинона, принадлежал к числу тех христиан, кому дьявол представляется существом куда более реальным и интересным, чем Бог. Барре повсюду видел отпечатки раздвоенных копыт, во всех странных, необъяснимых или слишком радостных событиях сразу же узнавал почерк Сатаны. Больше всего святой отец любил скрестить мечи с нечестивым Велиаром или Вельзевулом, и потому почти все свои дни посвящал одному и тому же занятию: сначала выдумывал бесов, а потом с успехом их изгонял. Благодаря усилиям этого пастыря город Шенон был переполнен одержимыми девчонками, заколдованными коровами, жертвами сглаза, а также несчастными мужьями, которых колдуны и колдуньи покарали импотенцией. Во всяком случае, в этом приходе жизнь никак нельзя было назвать скучной. Кюре и Дьявол не давали прихожанам ни минуты покоя.

Приглашение каноника Миньона было воспринято отцом Барре с огромным энтузиазмом. Через несколько дней шинонский крестоносец прибыл во главе целой процессии, состоявшей из наиболее фанатичных членов его прихода. Каково же было отвращение достойного кюре, когда он узнал, что до сих пор изгнание бесов происходило за закрытыми дверями. Как можно скрывать священный труд от глаз христиан! Пусть публика смотрит и научается твердости в вере.

И ворота урсулинского монастыря распахнулись, чтобы впустить любопытствующих.

Уже с третьей попытки отцу Барре удалось вогнать мать-настоятельницу в нешуточные конвульсии. «Лишившись разума и приличия», сестра Иоанна каталась по полу. Зрители были в восторге, в особенности когда у монахини оголились ноги. Наконец после множества «неистовств», проклятий, завываний и зубовных скрежетаний, да таких, что два зуба треснули, «бес повиновался повелению святого отца и оставил свою жертву в покое». Аббатиса лежала на полу обессиленная, господин

Барре вытирал со лба пот. Теперь настал черед каноника Миньона, взявшегося за сестру Клэр де Сазийи. Потом отец Эвсеб занялся послушницей, а отец Ранжье — сестрой Габриэлой от Воскресения. Спектакль продолжался до самой ночи. Зрители расходились уже в темноте. Единодушное мнение сводилось к тому, что такого чудесного представления в Лудене не видали с гастролей бродячего цирка, когда в городок приехали акробаты, два карлика и дрессированные медведи. И, подумать только, в отличие от цирка святые отцы не брали за зрелище ни гроша. То есть, они, конечно, ходили с кружкой для подаяний, но кто мешает вместо серебряной монеты бросить медяк?

Два дня спустя, 8 октября 1632 года, Барре одержал свою первую победу: ему удалось изгнать из тела настоятельницы свирепого Асмодея, одного из семи бесов, поселившихся в несчастной. Устами одержимой Асмодей заявил, что поселился в нижней части ее чрева. Два часа отец Барре сражался с нечистой силой. Вновь и вновь под сводами обители гремели звучные латинские фразы: «Exorcise te, immundissime spiritus, omnis incursio adversarii, omne phantasma, omnis legio, in nomine Domini nostri Jesus Christi; eradicare et effugare ab hoc plasmate Dei» От зависти один шаг до ненависти и презрения<sup>[45]</sup>. Потом вдоволь попрыскав святой водой, наложить на страдалицу руки, прикрыть ее краем ризы, коснуться священных реликвий. И снова слова молитвы: «Adjure te, serpens antique, per Judicem vivorum et mortuorum, per factorem tuum, per factorem mundi, per eum qui habet potestatem mittendi te in gehennam, ut ab hoc famulo Dei, qui ad sinum Ecclesiae recurrit, cum metu et exercitu furoris tui festinus discedas»<sup>[46]</sup>.

Асмодей и не думал уходить, он хохотал, сыпал богохульственными шутками. Любой другой на месте отца Барре признал бы свое поражение. Но не таков был шинонский кюре. Он велел отнести аббатису в ее келью и послал за аптекарем. Мэтр Адам примчался, притащив с собой классический инструмент своего ремесла — огромный медный клистир, который сегодня мы видим только в комедиях Мольера, а в семнадцатом веке это приспособление было главным медицинским средством. В клистир закачали целую кварту святой воды. Мэтр Адам приблизился к постели, на которой лежала настоятельница. Почувствовав, что грядет его последний час, Асмодей устроил истерику, но тщетно. Монахиню схватили за руки за ноги, и аптекарь, проявив изрядную сноровку, ввел в ее тело чудодейственный аппарат. И две минуты спустя Асмодей удалился как миленький<sup>[47]</sup>. В своей автобиографии, написанной годы спустя, сестра Иоанна уверяет нас, что в первые месяцы своего недуга находилась в таком

смятении мыслей и чувств, что почти не отдавала себе отчета в происходящем. Может быть, это правда, а может быть, и нет. Существует множество событий, о которых нам искренне хотелось бы забыть. Мы всеми силами загоняем их поглубже, но некоторые забыть невозможно. Например, клистир мэтра Адама...

От чересчур раздутого эго до полного самоуничтожения не так уж далеко. Иоанна от Ангелов мечтала преодолеть свое «я», одолеваемая врожденным эгоизмом и ненормальными условиями окружающей среды. В поздние годы она предпримет попытку, причем на сей раз не притворную, а искреннюю, возвыситься до духовной жизни. Но в молодости единственным способом выйти за рамки своего «я» для нее была сексуальность. Поначалу монахиня намеренно будоражила свое воображение, рисуя себе картины разврата со скандально знаменитым отцом Грандье. Со временем это вошло у нее в привычку. Привычка, в свою очередь, превратила сексуальные фантазии в насущную потребность. Видения приобрели самостоятельную силу, уже не зависевшую от воли настоятельницы. Она перестала быть хозяйкой своих видений, превратилась в их рабыню. Рабство унижает человека, а осознание того, что ты больше не волен над своими мыслями и поступками, разрушает границы человеческого «я», но, увы, не возносит личность, а опускает ее. Сестра Иоанна мечтала о свободе и надеялась добиться ее путем эротических фантазий, но свобода, которую она завоевала, оказалась поистине ужасной. Пагубное наваждение засасывало ее все больше и больше.

И вот, после долгих месяцев этой внутренней борьбы она оказалась в полной власти предприимчивого отца Барре. Фантазии превратились в грубую реальность. Она была уже не человеком, а каким-то подопытным кроликом, которого выставляли напоказ перед жадной толпой. Вопреки воле, однако в полном соответствии с желаниями манипулятора, Иоанна то впадала в истерику, то устраивала припадки, и в конце концов, лишенная последних остатков скромности, была подвергнута публичному промыванию желудка. То, что сделали с ней отец Барре и его подручные, мало чем отличается от изнасилования в публичном туалете.

(В медицине семнадцатого и восемнадцатого веков клистир использовался столь же часто, как в наши дни инъекция. Роберт Бертон, астролог и астроном семнадцатого века, пишет: «Клистиры всегда в почете. Тринкавеллиус почитает их за первостатейное целебное средство, а Геркулес Саксонский отзывается о клистире с еще большим одобрением. Он говорит, что во многих случаях ипохондрическая меланхолия

излечивается с помощью промывания желудка». В другом месте Бертон пишет: «Нет никакого сомнения, что клистир, должным образом примененный, в большинстве недугов оказывается поистине незаменим». С раннего детства наши предки, если, конечно, они принадлежали к сословию, которое могло себе позволить вызов врача или аптекаря, были отлично знакомы с этой процедурой. Каждый получал гигантские дозы «кастильского мыла, разжиженного меда, а также всевозможных травяных настоев», вводившихся через задний проход. Жан-Жак Бушар (современник сестры Иоанны) описывая свои детские годы, вспоминает, как к его сестрам приходили поиграть их маленькие подружки. Выясняется, что в ту эпоху мальчики и девочки с увлечением играли «в доктора», вставляя друг другу клистирные трубки. Впечатления детства остаются с человеком на всю жизнь. Поэтому нечего удивляться, что медная труба аптекаря стала неотъемлемой частью эротических фантазий для многих людей. Через полтора века после подвигов отца Барре маркиз де Сад заставлял своих героев и героинь частенько прибегать к этому инструменту, дабы расширить пределы чувственного наслаждения. За поколение до маркиза художник Франсуа Буше создал одну из самых эротичных своих картин, получившую название «В ожидании клистира». От вульгарных непристойностей и грациозной порнографии всего один шаг до раблезианских шуток и анекдотов. Все мы помним Старуху из вольтеровского «Кандида» с ее скабрёзными шутками. На ум приходит и влюбленный Сганарель из мольеровского «Лекаря поневоле», который умоляет Жаклину не о поцелуе, но о «маленьком благовонном клистирчике». Такой же «клистирчик», только не благовонный, а священный, поставил своей подопечной отец Барре. Вне зависимости от сакрального значения, которое придавалось этой процедуре, все равно она, несомненно, стала для аббатисы и эротическим переживанием, и страшным унижением, и своего рода символом, впитавшим в себя целый ряд непростых коннотаций).

Личность сестры Иоанны от Ангелов, настоятельницы урсулинского монастыря, была растоптана и уничтожена. Пародируя святого Павла, она могла бы теперь сказать о себе: «Я живу, но се уже не я; се прах и тлен, одна лишь физиология». Во время процесса изгнания бесов монахини как бы переставали быть людьми, а превращались в полуодушевленный предмет, наделенный не разумом, а одной лишь чувственностью. Это было ужасно, но в то же время и восхитительно — не только насилие над личностью, но и откровение, экстатическое переживание, избавление от своего обрядшего «я».

Все это время сестра Иоанна вовсе не считала, что находится во власти демонов. Миньон и Барре уверяли настоятельницу, что в нее вселились бесы; во время сеансов дьяволоизгнания она и сама охотно в этом признавалась. Однако на самом деле ей не верилось, что целых семь демонов (ну, пусть шесть — после изгнания Асмодея) могли поселиться в ее тщедушном теле. Вот как сама Иоанна описывает свои ощущения:

«Я в ту пору не верила, что бесы могут поселиться в человеке, ежели он не заключил союза с Дьяволом и не дал добровольного согласия на это. Но здесь я заблуждалась, ибо даже самые невинные и святые люди могут оказаться во власти Сатаны. Я, конечно, к числу невинных не принадлежала; многие тысячи раз я добровольно предавалась Дьяволу, совершая всевозможные грехи и противясь Благодати... Демоны угнездились в моем рассудке и подчинили себе мою волю. Они нашли ростки зла в моей душе и приобщили меня своей дьявольской природе... Бесы обычно использовали чувства, которые имелись в моей душе и без них, причем делали это так ловко и искусно, что я и не подозревала о бесовщине, уже пустившей во мне свои корни. Я оскорблялась, когда люди говорили, что я одержима Сатаной, и если кто-либо заводил со мной разговор на эту тему, я испытывала сильнейший гнев, обрушивая на них потоки брани».

Таким образом получается, что женщина, не перестававшая грезить Урбенom Грандье, вовсе не чувствовала себя ненормальной — невзирая на то, что отец Барре обращался с ней, как с подопытным животным. Экстаз унижения и чувственные галлюцинации не могли подавить чувства обычной женщины, которой, по несчастному стечению обстоятельств, выпала участь гнить заживо в стенах монастыря — вместо того, чтобы выйти замуж и обзавестись семьей.

Не сохранилось свидетельств, которые помогли бы нам проникнуть в душу отца Барре и прочих воителей с демонами. Эти люди не писали писем и не оставили автобиографий. До тех пор, пока на сцене не появился отец Сурен — а это произошло лишь два года спустя, — вся эта продолжительная психологическая оргия шла сама по себе, без заинтересованного летописца. К счастью, Сурен был человеком замкнутым, склонным к общению с самим собой и излияниям на бумаге, что помогает нам восстановить картину событий. Описывая годы, проведенные в Лудене и позднее в Бордо, Сурен жалуется на непрерывные искушения плоти. Ничего удивительного, если учесть, что он находился среди монахинь, в которых вселились демоны. Представьте себе сборище истеричных женщин, находящихся в состоянии непрерывного эротического

возбуждения, и среди них — единственный мужчина, властный и всесильный. Покорство и беззащитность монахинь должны были еще больше подчеркивать победительную мужественность главного борца с Сатаной. Пассивность жертв усугубляла ощущение неограниченной власти над ними. Как бы ни бесновались монахини, экзорцист оставался спокойным и всемогущим. Среди всей этой чертовщины он представлял самого Господа, а стало быть, имел право поступать с существами низшего порядка так, как считал нужным: он производил над ними любые опыты, заставлял их извиваться в конвульсиях, избивал их, а иногда и подвергал порке<sup>[48]</sup>. В более спокойные минуты одержимые признавались своим мучителям, какой непристойный восторг доставляло им попирать все условности и приличия, казалось, составлявшие неотъемлемую часть их души. Монахини признавались святым отцам в самых интимных подробностях своей физиологии, описывали самые невероятные фантазии, извлеченные из глубин подсознания. То, какие доверительные отношения существовали между экзорцистами и бесноватыми монахинями, лучше всего проиллюстрировать при помощи летописи, в которой подробнейшим образом описано «излечение» оксонских урсулинок, продолжавшееся с 1658 до 1661 года. «Монахини утверждают — это подтверждается и священниками, — что при помощи экзорцизма сии несчастные избавились кто от паховой грыжи, кто от пучения матки, кто от утробных колик, а некоторые даже извлекли из срамного места тайные шипы, размещенные там зловердными колдунами, или же огарки свечей, сучки и прочие орудия надругательства, используемые магами и ведьмаками для своих черных целей. Кроме того, по утверждению сих монахинь, святые отцы излечили их от желудочных колик, кишечных болей, мигреней и грудных опухолей — и все это благодаря таинству исповеди. Экзорцизм помог сестрам избавиться от кровотечений. Обильное питье святой воды вылечило сестер от раздутия живота, каковое произошло от совокупления с демонами и колдунами. Трое из монахинь прямо признались, что демоны лишили их девственности. Еще пять поведали, как колдуны, маги и демоны произвели с ними действия, о природе каковых невозможно рассказать, не нарушив целомудрия. Однако не вызывает сомнения, что с сими несчастными злая сила поступила так же, как с тремя первыми. Экзорцисты подтверждают истинность всех этих заявлений».

Какие медицинские подробности, какое смакование деталей! Над всеми этими историями клубится густой и пахучий туман подавленной сексуальности. Когда, по решению Бургундского парламента, врачи посетили монахинь, медицинский осмотр не выявил никаких признаков

половых сношений, но зато налицо имелись все симптомы заболевания, которое в прежние времена называлось «бешенством матки». Симптомы эти определялись так: «Повышенная температура тела, сопровождаемая нездоровым интересом к плотским наслаждениям и сосредоточением всех помыслов на чувственности».

Вот в какой атмосфере, среди обезумевших от возбуждения монахинь, должны были находиться экзорцисты. Неудивительно, что между ними и их подопечными возникала особая доверительность, напоминающая отношения гинеколога и его пациенток. Или же дрессировщика и животного, психоаналитика и его клиента.

Каждый день и каждую ночь помногу часов священники общались с «бесноватыми». В истории с оксонскими урсулинками, кажется, некоторым из святых отцов не удалось устоять перед соблазном, и они воспользовались своей властью и неограниченными полномочиями. В Лудене священники и монахи ни в чем подобном замечены не были. Мы знаем со слов Сурена, что искушение присутствовало, но экзорцистам удавалось с ним справиться. Все оргии и непотребства происходили в воображении.

Изгнание Асмодея стало для Миньона настоящим триумфом. Враги Урбена Грандье почувствовали себя достаточно уверенно для того, чтобы приступить к официальным действиям. 11 октября Пьер Ранжье, приходской кюре Веньера, отправился к главному городскому магистрату господину де Серизе. Священник поведал должностному лицу о том, как развиваются события в монастыре урсулинок, и пригласил магистрата, а также его помощника господина Луи Шове, прийти и удостовериться самим. Приглашение было принято, и в тот же день, после полудня, оба магистрата в сопровождении писца отправились в монастырь, где их приняли отцы Барре и Миньон. Чиновников отвели в зал с высоким потолком, где стояли семь кроватей. На одной из них лежала послушница, на другой — мать-настоятельница. Вокруг сей последней стояли несколько кармелиток, монахинь монастыря, хирург Маннури, а также Матюрен Руссо, священник и каноник церкви Святого Креста. Увидев главного магистрата и его помощника, настоятельница (все это подробнейшим образом зарегистрировано писцом) «яростно задергалась и стала издавать визги, похожие на пороссячьи, после чего зарылась под одеяло, закрипела зубами и повела себя так, как обычно ведут себя люди, утратившие рассудок. Справа от нее стоял монах-кармелит, а слева — и вышеуказанный каноник Миньон, который засунул два пальца, а именно большой и указательный в рот матери-настоятельнице и произнес в нашем

присутствии положенные молитвы и заклинания».

В ходе всех этих процедур выяснилось, что дьявольский пакт с сестрой Иоанной был заключен нечистой силой при помощи двух «знаков»: сначала к ее облачению сами собой прицепились три шипа от боярышника, а затем настоятельница вдруг обнаружила на лестнице букет роз и зачем-то засунула его за пояс, «причем испытала в сей момент дрожание правой руки и острейший приступ страсти к Грандье, от коей напасти не могла избавиться долгое время, даже когда произносила слова святой молитвы».

На вопрос, заданный по латыни: «Кто послал ей эти цветы?» — аббатиса «после продолжительных отпирательств и колебаний ответила, как бы не в силах противиться принуждению: „Urbanus“. Тогда вышеозначенный Миньон повелел: „Die qualitatem“. Она ответила: „Sacerdos“. Он спросив: „Cujus ecclesiae?“, на что монахиня ответила: „Santi Petri“<sup>[49]</sup>, причем последние слова произнесла почти невнятно».

После показательного обряда изгнания бесов Миньон отвел главного магистрата в сторону и в присутствии каноника Руссо и господина Шове, заметил, что эта история поразительным образом напоминает обстоятельства дела Луи Жоффриди, провансальского священника, сожженного на костре двадцать лет назад за колдовство и разврат, жертвами которого стали марсельские урсулилки.

Это был стратегический ход. Теперь весь замысел заговорщиков сделался очевиден. Грандье будет обвинен в колдовстве и чернокнижии, подвергнут следствию, а затем, в случае оправдания, останется опозоренным; в случае же обвинительного приговора — сгорит на костре.



## Глава пятая

Итак, отец Грандые был обвинен в колдовстве, а урсулинки страдали, осаждаемые бесами. Когда мы читаем хронику тех далеких времен, нам трудно сдержать улыбку. Но прежде чем рассмеяться, давайте посмотрим, что представляли собой подобные обвинения в первой половине семнадцатого столетия. В ту пору колдовство считалось уголовным преступлением, так что для начала разберем юридический аспект этой проблемы. Знаменитый английский законник конца царствования королевы Елизаветы и начала царствования короля Якова I сэр Эдвард Коук дал такое определение колдуну: «Особа, которая вступает в сношения с Дьяволом, дабы заручиться его советом либо содействием». По Статуту 1563 года колдовство и ведьмачество каралось смертной казнью лишь в том случае, если суд мог доказать, что обвиняемый покушался на чью-то жизнь. Но в первый год правления короля Якова был принят другой закон, более суровый. Начиная с 1603 года, преступлением, заслуживающим смертной казни, считалось уже не убийство при помощи нечистой силы, а сама принадлежность к ведьмовству. Даже если колдовство носило самый невинный характер (например, прорицание будущего) или производилось на благо людей (лечение при помощи заговоров и заклятий), преступление от этого не становилось менее тяжким. Достаточно было доказать, что данное действие свершилось «при содействии Дьявола» либо при помощи сатанинского колдовства, и обвиняемый был обречен на смерть.

Таков был английский, то есть протестантский закон. Он полностью соответствовал каноническому закону и традициям католических стран. Крамер и Шпренгер, доминиканские теологи, написавшие трактат «Malleus Maleficarum» (в течение почти двух столетий этот трактат был главным учебным пособием для всех охотников за ведьмами как католических, так и протестантских), цитируют многих авторитетных авторов, желая доказать, что все ведьмы, предсказатели, колдуны и маги заслуживают смертной казни. «Ибо ведьмовство является актом измены против величия Господа. Посему их (обвиняемых) следует подвергать пыткам, чтобы принудить к признанию. По обвинению в колдовстве пытке может быть подвергнут всякий человек, какого бы ранга и звания он ни был. И всякий, даже уже признавшийся в своем преступлении, должен быть отправлен на дыбу и предан всем прочим предписанным законом истязаниям, дабы он понес кару, соответствующую свершенному злодеянию».

За этими законами стоит идущая с незапамятных времен традиция, согласно которой общество должно было свято верить в то, что дьявол — Князь этого мира, заклятый враг Господа и его детей, а также сеятель зла и раздора между людьми. Иногда дьявол действует собственными средствами, но бывает и так, что он использует помощь смертных. «Ежели же спросить, какой из этих способов дьяволу больше по вкусу — вредить Божьим созданиям своими силами либо прибегать к помощи ведьмаков, — то тут нечего и сомневаться: конечно же, помощь колдунов Нечистому по нраву куда больше. Во-первых, тем самым Сатана наносит еще большую обиду Господу, узурпируя власть над одним из созданий Божьих. А во-вторых, поскольку Господь чувствует себя оскорбленным, Он дает Дьяволу больше власти вредить людям. В-третьих. Дьяволу выгодно, что он губит еще одну христианскую душу».

(На заре христианства и в средние века) к колдунам и их клиентам относились так же, как в двадцатом веке к «врагам народа»: евреям при Гитлере, капиталистам при Сталине, коммунистам и левым в США. Их воспринимали как агентов враждебного государства — в лучшем случае, антипатриотов, а в худшем — предателей и еретиков. Этим метафизическим квислингам<sup>[50]</sup> минувших эпох смерть грозила точно так же, как сегодня она грозит политическим «дьяволопоклонникам», которых в одних странах называют коммунистами, а в других империалистами. В либеральном девятнадцатом веке историки, подобные Мишле, отказывались понимать предков, обращавшихся с колдунами таким жестоким образом. Благонамеренные историки слишком сурово относились к прошлому человечества. И слишком оптимистически оценивали будущее — то есть нашу эпоху. Это были рационалисты, воображавшие, что крах традиционной религии положит конец преследованиям инакомыслящих, искоренению еретиков и ведьм. Однако, оглядываясь назад из нашего времени, мы видим, что религиозные преступления могут происходить и без веры в сверхъестественное. Самые убежденные материалисты готовы свято верить в идеи, которые они сами себе и выдумали; самые заядлые гуманисты способны преследовать своих противников с такой же яростью, с какой некогда инквизиторы расправлялись с пособниками вездесущего Сатаны. Подобная практика существует с незапамятных времен; она гораздо древнее любых человеческих верований. В наши дни мало кто верит в дьявола, но это не мешает людям подчас вести себя точно так же, как вели себя наши предки, не сомневавшиеся в существовании Врага Рода Человеческого. Чтобы оправдать свою нетерпимость, люди предают теориям статус догмы, превращают законы в нравственный кодекс,

политических вождей в богов, а всех несогласных объявляют воплощением дьявола. Это языческое воплощение частного в абсолютное, и человеческого в божественное позволяет верующему предаваться самым гнусным занятиям, сохраняя при этом чистую совесть и свято веря, что все эти зверства совершаются во имя высшего добра. Когда же верования эпохи устаревают и начинают казаться нелепыми, человек выдумывает себе новую религию, и извечное безумие продолжается, нося привычную маску законности, идеализма и веры.

В принципе, законы, касавшиеся колдовства, были предельно просты. Всякий, замеченный в сношениях с дьяволом, подлежал смертной казни. Для того чтобы описать, как эти законы применялись на практике, понадобилось бы слишком много места. Достаточно будет сказать, что, несмотря на явную предубежденность некоторых судей, все же много было таких, кто проводил разбирательство честно. Но даже честный суд, по нынешним западным понятиям, представлял собой чудовищную карикатуру на справедливость. Читаем в «Malleus Maleficarum»: «Законы требуют, чтобы был выслушан всякий свидетель, дающий показания против обвиняемого». В число свидетелей попадал кто угодно, включая малолетних детей, а также злейших врагов обвиняемого. В ход шли любые доказательства: сплетни, голословные утверждения, предположения, описание снов, а также признания, вырванные у «одержимых». Для получения этих признаний пытка использовалась почти всегда. Кроме того, в порядке вещей были и ложные обещания относительно приговора. В «Malleus Maleficarum» проблема ложных обещаний обсуждается вдумчиво и обстоятельно. Существуют три возможных альтернативы. Если судья выбирает первую из них, он может пообещать обвиняемому сохранение жизни (при условии, что тот выдаст своих соучастников) и сдержать это обещание. Единственная уловка здесь состоит в том, что обвиняемый надеется на относительно легкую кару, а вместо этого попадает в пожизненное заключение, на хлеб и воду.

Вторая альтернатива состояла в следующем: «Можно посадить ведьму в тюрьму, не умерщвляя ее, как и было обещано, а потом, некоторое время спустя, все-таки предать ее огню».

«Третья возможность состоит в том, что судья со спокойной совестью обещает ведьме сохранить жизнь, а потом устраивает так, что приговор выносит не он, а другой судья, который никаких обещаний не давал».

(Особое внимание обращает на себя выражение «со спокойной совестью»! Намеренная ложь подвергает душу лгущего смертельной опасности. Поэтому, если уж необходимо солгать, то нужно позаботиться о

том, чтобы все выглядело пристойно — и для людей, и для Господа — иначе Он ни за что не пустит тебя в Царствие Небесное).

С точки зрения современного западного человека, самым абсурдным аспектом средневекового судебного процесса было то, что любые необычные обстоятельства непременно приписывались дьявольскому вмешательству. Например, вот как проходил процесс над ведьмами в Англии, в 1664 году, под председательством сэра Мэтью Хейла, впоследствии главного судьи королевства. Ведьма, которую приговорили к повешению, поссорилась с соседом и произнесла в его адрес какие-то угрозы. Вскоре, как показал свидетель, «на его свиней напала странная хвороба — поросята нарождались на свет, но тут же издыхали». И это еще не все. Чуть позже на беднягу «обрушились вши невероятной величины». Против столь устрашающих паразитов обычные средства борьбы не помогали, и поэтому свидетель был вынужден сжечь два лучших своих костюма. Сэр Мэтью Хейл слыл справедливым судьей, человеком умеренным, благоразумным, ученым, светочем литературы и юриспруденции. Просто невероятно, что он мог всерьез принять такие доказательства, однако факт остается фактом. Причина, вероятно, состояла в том, что Хейл был человеком исключительно благочестивым. В ту далекую эпоху благочестие подразумевало веру в дьявола и требовало истребления всех его приспешников. Иудео-христианская традиция была вся построена на вере в сверхъестественные события, поэтому проклятья старухи, смерть новорожденных поросят и появление огромных вшей вполне могут быть причислены к злым проискам Сатаны и его приспешников.

Судебная практика взяла на вооружение не только сведения о дьяволах и колдунах, содержащиеся в Библии, но и целый ряд широко распространенных суеверий, к которым судьи относились столь же почтительно, как к Священному Писанию. Например, вплоть до конца семнадцатого века все инквизиторы и большинство гражданских судей-магистратов свято верили в так называемые физические доказательства ведьмовства. Нет ли на теле у обвиняемого каких-нибудь необычных метин? Может быть, есть участки кожи, не чувствительные к уколу иглой? Более же всего ценились «дьяволовы сосцы», то есть дополнительные рудиментарные соски, при помощи которых ведьма могла бы вскормить жабу или черную кошку. Те, у кого такие соски обнаруживались, автоматически попадали в разряд ведьм. Всякий знал, что именно так выглядит печать, которой дьявол метит своих слуг. (Поскольку девять процентов мужчин и почти пять процентов женщин рождаются с

рудиментарными сосками, недостатка в жертвах у судей не было. Природа делала свои маленькие ошибки, а судьи толковали их по своему разумению).

Было еще три весьма распространенных суеверия, каждое из которых послужило причиной неисчислимого количества трагедий. Наши предки верили, что ведьмы при помощи дьявола могут накликать бурю, вызывать болезнь и делать мужчин импотентами. В «*Malleus Maleficarum*» Крамер и Шпренгер пишут об этих явлениях как об общеизвестных фактах, подтверждаемых не только человеческим опытом, но и авторитетом ведущих медиков. Святой Фома, комментируя «Книгу Иова», пишет: «Следует признать, что, с соизволения Господа, дьяволы могут нарушать безмятежность воздуха, поднимать ветер и обрушивать пламень с небес. Ибо, хотя вещественные тела изменяют свою форму не по команде ангелов, неважно, добрых или злых, а лишь по воле Бога Творца, все же существуют сферы, в которых материя повинует эфиру... Например, ветры, дождь и прочие подобные движения воздуха происходят из-за перемещения паров, источаемых землей или водой; стало быть, силы дьявола вполне достаточно, чтобы направлять эти процессы». Так утверждает Святой Фома.

Что касается болезней, то «ведьмы способны вызывать любую из них, вплоть до проказы и падучей. Это подтверждается и мнением ученых лекарей».

Лекарей поддерживают и почтенные авторы трактата: «Нам тоже не раз приходилось видеть, как на людей наводят порчу через падучую или припадочную болезнь, используя для этого яйца, захороненные вместе с покойником, в особенности если сей покойник был колдуном... Обычно такие яйца дают тому, кого хотят извести, в еде или питье».

Что касается импотенции, то тут наши авторы проводят решительное различие между естественной импотенцией и сверхъестественной. Естественная импотенция — это когда мужчина не способен иметь половые сношения ни с кем из представителей противоположного пола. Сверхъестественная импотенция вызывается магическими заклинаниями, и состоит она в том, что мужчина не способен иметь половые сношения с одной-единственной женщиной (обычно с собственной женой), в то время как со всеми прочими представительницами слабого пола он продолжает оставаться полноценным мужчиной. Следует отметить, пишут авторы, что Господь особенно часто позволяет колдунам покушаться на детородную силу, поскольку именно в сей сфере человеческой жизни со времен Грехопадения чаще всего происходят «величайшие из бесчинств,

свойственных роду человеческому».

Однако бури происходят часто, избирательная импотенция — тоже не редкость, да и в болезнях у людей никогда недостатка не было. В мире, где закон, теология и общественное мнение сходились в том, что вину за эти несчастья следует возложить на колдунов, всюду процветали шпионство, доносительство и сведение личных счетов с помощью ложных обвинений. В разгар охоты на ведьм в шестнадцатом веке, жизнь в некоторых регионах Германии была очень похожа на то, что происходило в этой стране четырьмя веками позже, при фашистах, или на то, что происходит в странах, недавно попавших в коммунистическую сферу влияния.

Под воздействием пытки, ложно понятого чувства долга либо истерического порыва человек мог обвинить в колдовстве собственную жену, подруга возводила напраслину на подругу, дети на родителей, слуги на хозяев. И это не единственное зло, вызванное охотой на ведьм. Постоянные предостережения о колдовстве и кознях дьявола действовали на психику многих людей самым пагубным образом. Кто-то попросту сходил с ума, были и такие, кого сверхъестественный ужас сводил в преждевременную могилу. Но находились и те, кто использовал предрассудки и суеверия в собственных интересах — люди честолюбивые и мстительные. Исторические персонажи, вроде Босуэлла<sup>[51]</sup> или мадам де Монтеспан<sup>[52]</sup>, прибегали к черной магии, не останавливаясь ни перед какими злодеяниями. Если кто-то чувствовал себя обиженным или ущемленным, если испытывал ненависть к обществу в целом или каким-то конкретным его представителям, то вполне естественным способом сведения счетов казалось обращение за помощью к Сатане, который, если верить святому Фоме и прочим святым отцам, мог оказать помощь и покровительство в самых черных делах.

Постоянно толкуя о дьяволе и относясь к колдовству как к тягчайшему преступлению, теологи и инквизиторы, по сути дела, всячески пропагандировали веру в Нечистого и способствовали распространению тех самых преступлений, с которыми так неистово боролись. Начиная с восемнадцатого века колдовство перестало считаться важной общественной проблемой. Вскоре после этого оно отошло в прошлое — именно потому, что власти перестали придавать ему значение. Чем меньше преследовали колдунов, тем меньше возникало желающих заняться этим опасным ремеслом. Государство перефокусировало свое внимание из сферы сверхъестественного в сферу обычного. Начиная примерно с 1700 года и вплоть до настоящего времени все «охоты на ведьм» в западном

мире носили вполне земной характер. Зло перестало быть чем-то метафизическим, оно переместилось в политику или экономику. В наши дни Зло (ибо все мы позитивисты и любим называть то, что нам не нравится, «злом») находит своих приспешников не среди магов и колдунов, а среди представителей ненавистных наций или классов. Причинно-следственный механизм общественной ненависти изменился, но гонений и несправедливостей от этого меньше не стало.

Как мы уже видели, церковь относилась к колдовству как к преступлению ужасному, но совершенно реальному. Поэтому и закон действовал в соответствии с этим догматом. До какой степени общественное мнение совпадало с официальной точкой зрения? Мы можем судить о взглядах неграмотного и невежественного большинства лишь по историческим хроникам людей ученых.

В главе, посвященной колдовской порче домашнего скота, трактат «*Malleus Maleficarum*» содержит любопытные сведения о жизни средневековой деревни, по которой с такой ностальгией вздыхают некоторые из сентименталистов позднейших времен. В трактате сказано: «В любой самой маленькой деревне непременно найдутся крестьянки, которые при помощи заклятий портят молочных коров у своих соседок, а нередко и губят чужую скотину». Четыре поколения спустя английские священники Джордж Гиффорд и Сэмюэл Харсет описывают сельскую жизнь тогдашнего общества, охваченного суеверной истерией примерно так же: «Если какая женщина затаит зло на свою соседку, а с той случится некое худо, то у жителей возникает подозрение. Потом, через несколько лет, она поссорится еще с кем-нибудь, и к тому человеку тоже приходит лихо. Люди видят это и запоминают. Все начинают говорить, что матушка такая-то — ведьма... Все теперь боятся ее, соседи не смеют сказать ей дурного слова, хотя более всего желали бы видеть ее повешенной. Потом кто-то заболевает, и соседи приходят к нему и спрашивают: „Скажи, сосед, — говорят они, — не подозреваешь ли ты дурного сглаза? Не прогневал ли ты чем матушку такую-то?“ Тот говорит: „Ваша правда, соседи. Я никогда ее не любил. Не знаю, чем я ее прогневил, разве что вот моя жена... Она просила ее, и я тоже просил, чтобы матушка такая-то не пускала кур в мой огород... Видно, за это она меня и околдовала“. Тут уж все окончательно уверяются, что эта женщина — колдунья... Кто-то видел, как из ее дома в соседний вбежал хорек, а потом сосед заболел. Перед смертью недужный говорил, что его околдовали. Терпение общины заканчивается, колдунью увозят в тюрьму, а там предают строгому допросу и отправляют на виселицу. Уже под петлей она говорит, что ни в чем неповинна». Это

свидетельство Джорджа Гиффорда. А вот что пишет Сэмюэл Харснет в книге «Разоблачение папистских вымыслов»: «Посмотрите вокруг себя, о бдительные соседи! Если у кого-то из вас заболела овца, сдохла свинья, захромала лошадь, отбился от рук мальчишка или обленилась девчонка, если у вас нет в каше масла, или ваша семья живет в нужде — все ясно, это старая матушка Нобс во всем виновата, ведь это она назвала вашу дочку „ленивой бездельницей“, или же послала вас к черту, и вот вы уже считаете, что матушка Нобс — ведьма». Жизнь средневековой сельской общины, со всеми ее суевериями, страхами, предрассудками и предубеждениями, кажется нам, сегодняшним, такой жуткой и депрессивной, потому что, по сути дела, мы с тех пор не так уж изменились. Разве не о том же самом пишет Джордж Оруэлл в романе «1984», предсказывая всем нам сатанинское будущее?

Свидетельства ученых мужей средневековья достаточно красноречивы, но еще красноречивее деяния, запечатленные в хрониках. Общество периодически устраивало расправы над так называемыми ведьмами, свято веря в колдовство и страшась дьявола. Вот пример из французской истории, относящийся почти к тому же периоду, который описан в этой книге. Летом 1644 года несколько деревень неподалеку от Бона были разрушены необычайно сильным ураганом, после чего местные жители решили отомстить приспешникам Сатаны, погубившим урожай. Ревнителей веры возглавил семнадцатилетний мальчишка, утверждавший, что он обладает безошибочным нюхом на ведьм. Крестьяне схватили и забили до смерти нескольких женщин, других жгли раскаленными лопатами, кого-то спалили в печах, кого-то сбросили с крыши. Чтобы положить конец этой вакханалии террора, парламент Дижона прислал двух специальных чиновников с отрядом вооруженной полиции.

Как мы видим, общественное мнение было целиком и полностью на стороне теологов и юристов. Однако среди людей образованных такого единства не наблюдалось. Крамер и Шпренгер с возмущением пишут о людях, сомневающихся в существовании ведьм (очевидно, уже в конце пятнадцатого века таких скептиков было довольно много). Авторы знаменитого трактата целиком и полностью поддерживают теологов и вероучителей, которые сурово осуждают «нечестивцев, утверждающих, будто никакого ведьмовства не существует, будто это воображение людей, которые, не прозревая истинной причины событий, приписывают их колдовству, а ведь в действительности дело не в каких-то скрытых причинах, а в кознях дьяволов, действующих самостоятельно либо при содействии колдунов. Люди истинно ученые единодушно осуждают сие



пагубное заблуждение, а более всех ревностен святой Фома, причисляющий сомневающихся к сонму еретиков, ибо их сомнение произрастает из неверия».

Эта теоретическая установка чревата практической проблемой. Возникает вопрос: те, кто утверждает, что ведьм не существует, — кто они? Злонамеренные еретики или же просто подозрительные личности, придерживающиеся еретических убеждений? Судя по всему, правильным было сочтено первое мнение. Однако, хотя все «приверженцы сей злой доктрины» заслужили отлучение от церкви со всеми сопутствующими земными карами, «следует также принимать во внимание, сколь много на свете людей, которые в силу своего невежества погрязли в сем заблуждении. Поскольку заблуждение сие весьма распространено, предусмотренные законом кары следует применять с милосердием». Но, с другой стороны, «пусть никто не думает, что может уйти от наказания, сославшись на невежество, ибо и среди грешащих по незнанию встречаются серьезные преступники».

Одним словом, официальная позиция церкви состояла в следующем: хотя неверие в колдовство, безусловно, является ересью, сомневающихся не нужно подвергать преследованиям. Достаточно держать их под подозрением, и если они упорствуют в своих ложных взглядах, отвергая постулаты католицизма, то их ждут серьезные неприятности. Вот чем объясняется предостережение, изложенное Монтенем в 11-й главе его Третьей книги: «Ведьмы, живущие неподалеку от меня, оказываются под смертельной угрозой, когда кто-нибудь начинает против них свидетельствовать. Для того чтобы соотнести примеры, приведенные в Священном Писании, — а никто и не думает подвергать сомнению их истинность, — с событиями современности, слабого человеческого ума недостаточно, ибо нам непонятны причины происходящего, а также пути, которыми движется Провидение. Лишь один Господь, — пишет Монтень, — может определить, что является чудом, а что нет. Верить нужно Богу, а верить людям мы обязаны не всегда, потому что свидетель — всего лишь один из нас, и не может не сомневаться в правдивости своих слов; к тому же, как знать, не лишился ли он рассудка?» Далее следует цитата, которую следовало бы золотыми буквами написать на всех церковных алтарях, на всех судах, университетах, сенатах, парламентах и правительственных резиденциях. Пусть эти слова горят ярким неоном, и каждый может прочесть их издали: «В конце концов, нужно придавать слишком большое значение собственным фантазиям, чтобы из-за них сжигать людей заживо».

Полвека спустя Селден проявил куда меньше осторожности, как, впрочем, и гуманизма: «Закон против ведьм не доказывает, что они действительно существуют; но он карает злобу тех, кто прибегает к колдовству, чтобы нанести вред своим ближним. Если человек верит, что он может наслать на кого-то порчу, трижды повернув свою шляпу и выкрикнув магическое слово „базз!“, хотя на самом деле это, конечно, полная чушь, тем не менее он заслуживает смертной казни, как то предписывают государственные законы, ибо в его смехотворных действиях содержится злой умысел». Селдон был слишком большим скептиком, чтобы возводить фантазии в ранг догмата, но в то же время, будучи юристом, он считал, что человека можно сжечь заживо, если этот человек сам считает себя колдуном. Монтень тоже был человеком закона, однако его рассудок отказывался слепо повиноваться юридическим постановлениям. Когда Монтень думал о ведьмах, прежде всего ему в голову приходил не злой умысел, а болезнь рассудка, причем, возможно, вполне излечимая. «По совести говоря, — писал он, — я бы предпочел лечить их не цикутой, а чемерицей (так называлось лекарственное средство, при помощи которого тогдашние врачи лечили меланхолию и безумие)».

Впервые критика теории дьявольского наущения и охоты на ведьм прозвучала из уст немецкого врача Иоганна Вайера в 1563 году и кентского помещика Реджинальда Скота, опубликовавшего трактат «Открытие колдовства» (1584). Гиффорд и Харснет относились к современным суевериям с таким же скептицизмом, однако не осмеливались оспаривать содержащиеся в Библии сведения об одержимости, магии и союзе с дьяволом.

Но на всякого скептика находилось достаточное количество тех, кто искренне верил в колдовство. Самый уважаемый из них — несравненный Жан Боден, который, по его собственным словам, написал книгу «Демономания колдунов» еще и для того, чтобы «дать достойный ответ сочинителям книжек, находящим оправдания для колдунов, ибо это сам Дьявол наущает сих авторов писать подобные творения». С точки зрения Бодена, скептики заслуживают костра не в меньшей степени, чем колдуны, которых они пытаются защитить и оправдать.

Король Яков I тоже написал свою «Демонологию», придерживаясь примерно той же позиции. Он пишет, что разумник Вайер защищает колдунов и своим сочинением «выказывает, что и сам принадлежит к этому сословию». Прославленные современники короля Якова — сэр Уолтер Рэйли и сэр Френсис Бэкон тоже были на стороне искренне верующих. На

протяжении семнадцатого века в поддержку охоты на ведьм выступали многие из просвещенных англичан: философы вроде Генри Мора и Кадворта, ученые врачи вроде сэра Томаса Брауна и Глэнвила, видные юристы вроде сэра Мэтью Хейла и сэра Джорджа Макензи.

Во Франции семнадцатого столетия все теологи признавали существование колдунов, однако отнюдь не все духовенство было увлечено охотой на ведьм. Были и такие священники, которым казалось, что это занятие не только отвратительно, но еще и наносит вред общественному спокойствию и заведенному порядку. Такие клирики осуждали своих фанатичных коллег и всеми мерами старались сдерживать их пыл. Похожая ситуация сложилась и среди юристов. Были среди них такие, кто с удовольствием отправлял на костер женщину, которая «намеренно помочилась в земляную дыру, дабы породить ураган, который стер с лица земли ее деревню» (это аутодафе состоялось в 1610 году в Доле). Но были и другие, умеренные, кто, веря в существование ведьм, не желал принимать участие в судебных процессах над ними. Однако при абсолютной монархии последнее слово всегда остается за королем. Людовика XIII проблемы дьявола занимали очень живо, однако сын и наследник этого монарха повел себя иначе. В 1672 году Людовик XIV отменил смертные приговоры, вынесенные руанским парламентом ведьмам и колдунам. Виновные отделались ссылкой. Парламент заявил протест, используя теологическую и юридическую документацию, но на короля эти доводы не подействовали. Его величеству было угодно, чтобы ведьм более не жгли, и этого оказалось вполне достаточно.

Разбираясь в нашем луденском деле, нужно проводить четкую границу между двумя аспектами обвинения: с одной стороны, одержимость монахинь и, с другой стороны — причина этой одержимости, то есть колдовство Урбена Грандье. Речь пока будет идти главным образом о вине приходского священника, а к проблеме одержимости мы обратимся позднее.

Отец Транкиль, принадлежавший к одному из первых эшелонов экзорцистов, опубликовал в 1634 году труд под названием «Истинный рассказ о справедливом разбирательстве дела луденских урсулинок и Урбена Грандье». Название книги обманчиво. Ничего «истинного» в этом памфлете нет. Отец Транкиль пускается в риторическую защиту судей и «экзорцистов», пытаясь оправдаться перед общественным мнением, которое отнеслось к процессу скептически и неодобрительно. Судя по всему, в 1634 году большинство образованных людей не очень-то верили в одержимость монахинь, были убеждены в невиновности Грандье и

возмущены тем, как проходило разбирательство. Транкиль напечатал свое сочинение, надеясь при помощи красноречия вразумить и переубедить публику. Это ему не удалось. Король и королева были набожны и благочестивы, но большинство придворных придерживались иных взглядов. Почти никто из просвещенных людей, приезжавших посмотреть на экзорцизм, не верил в то, что монахини действительно одержимы бесами, а стало быть, не верил и в виновность Грандье. Большинство врачей остались при мнении, что в недуге монахинь не было ничего сверхъестественного. Менаж, Теофраст Ренодо, Исмаэль Бульо и прочие литераторы, писавшие о Грандье, были уверены в его невиновности.

Но большинство неграмотных католиков принадлежали к противоположной партии. (Неграмотные протестанты, само собой, относились ко всему судилищу в высшей степени иронически). Можно не сомневаться, что «экзорцисты» в виновности Грандье и одержимости монахинь были уверены. Их вера не мешала им, и в первую очередь канонику Миньону, подтасовывать улики, чтобы отправить Грандье на костер. (Вся история спиритуализма подтверждает, что благочестивый обман ни в коей степени не противоречит вере). Нам неизвестно, как относились к процессу широкие массы духовенства. Монахи, вероятно, были на стороне Миньона и Барре, потому что по роду своей деятельности тоже должны были заниматься экзорцизмом. Но как обстояло дело с мирскими священниками? Верили ли они, что член их конгрегации продал свою душу дьяволу и околдовал семнадцать урсулинок?

Во всяком случае, нам известно, что у высшего духовенства единого мнения по этому поводу не было. Архиепископ Бордоский был убежден, что Грандье невиновен, а монахинь довел до исступления каноник Миньон вкупе с бешенством матки. С другой стороны, епископ Пуатевенский свято верил в одержимость монахинь и в колдовские чары луденского кюре. А какой позиции придерживался первый церковник королевства герцог-кардинал? Как мы увидим впоследствии, Ришелье иногда мог быть скептиком, а в других случаях проявлял себя ревностным поборником костра. Очевидно, он был притворщиком, но в то же время нельзя исключить, что и в первом, и во втором случае первый министр действовал по убеждению.

Магия, как черная, так и белая, представляет собой соединение науки и искусства, дабы при помощи сверхъестественных (но не божественных) средств достигать вполне земных целей. Все ведьмы призывали себе на помощь злых духов, но встречались и такие колдуньи, которых в Италии называли сторонницами *la vecchia religione*<sup>[53]</sup>.

«Для ясности, — пишет Маргарет Меррей во вступлении к своему превосходному исследованию „Культ ведьмы в Западной Европе“, — я провожу четкое различие между оперативным и ритуальным ведьмовством. Под оперативным ведьмовством я имею в виду всякие заклинания, заговоры и заклятья, к помощи которых прибегает ведьма или христианка, причем неважно для каких целей — хороших или дурных, чтобы известить кого-то или излечить. Подобные заклинания известны во всех народах и всех странах, к ним, в том числе, прибегают и священники всех религий. Это часть общего наследия человечества... Что же касается ритуального ведьмовства, или, как я называю его, дианического культа, — то оно вбирает в себя верования и ритуалы особого сословия, которое в позднее средневековье получило название „ведьминское“. Есть доказательства, что за фасадом христианской религии скрывался некий тайный культ, который исповедовали самые разные группы населения, но в основном люди невежественные, безграмотные и проживающие в малонаселенных частях европейских стран. Эта религия восходит к прахристианским временам; вероятно, это самая древняя из западноевропейских конфессий».

В год от рождества Христова 1632, когда со времен обращения Западной Европы в христианство миновало уже более тысячелетия, древняя религия плодородия, изрядно ослабленная репрессиями, тем не менее все еще была жива. У нее имелись собственные жрецы, собственные герои и жертвы и даже своя церковная организация, которая, по словам Коттона Матера, повторяла структуру официальной церкви. Собственно говоря, в самом факте живучести старой веры нет ничего уникального или поразительного. Достаточно вспомнить, что индейцы Гватемалы за четыре столетия миссионерской деятельности так и не стали настоящими католиками. Может быть, лет через семьсот или восемьсот религиозная ситуация в Центральной Америке будет примерно такой же, как в Европе семнадцатого века, когда христианское большинство подвергалось жестоким преследованиям приверженцев древней религии.

(Правда, в некоторых местностях сторонники дианического культа и сочувствующие вполне могли составлять и большинство. Реми, Боге и де Ланкр рассказывают, что в Лотарингии, стране басков и в провинции Юра в начале семнадцатого века большинство людей — во всяком случае до некоторой степени — все еще практиковали старую религию. На всякий случай, чтобы никого не прогневить, днем они молились христианскому богу, а ночью дьяволу. У басков многие священники справляли обе мессы, и белую, и черную. Де Ланкр предал огню трех таких священников, еще пятеро сбежали из камеры смертников, а многие, так и не попавшие под

суд, находились у властей под подозрением).

Главный обряд ритуального ведьмовства называется «шабаш». Этимология этого слова непонятна, к еврейскому слову «шабад» оно никакого отношения не имеет. Шабашаи справлялись четыре раза в год: на Сретенье, 2 февраля; на Крестовой неделе, 3 мая; на праздник Урожая, 1 августа и в канун Дня Всех Святых, 31 октября. Это были шумные празднества, для участия в которых люди приходили издалека. В промежутках между шабашами маленькие деревенские общины устраивали так называемые еженедельные «эсбаты», где отправлялся древний культ. На шабашах непременно присутствовал дьявол, которого изображал какой-нибудь мужчина, по традиции наряженный двуликим богом дианического культа. Молящиеся поклонялись этому богу, целуя его в «заднюю личину» — маску, прицепленную на ягодицы, под чертовым хвостом. Затем дьявол производил ритуальное совокупление с некоторыми из женщин, пользуясь для этой цели искусственным фаллосом из кости или металла. Потом начиналось пиршество (оно всегда происходило на свежем воздухе, возле священных деревьев или скал), за пиршеством — танцы, а потом сексуальная оргия, смысл которой когда-то, несомненно, заключался в жертве богине плодородия. Ритуал всеобщего свального греха у наших предков, примитивных охотников и скотоводов, почитался верным средством для увеличения поголовья домашних животных. На шабашах обычно царила веселая, раскованная атмосфера бездумного и дикого веселья. Когда участников этих празднеств привлекали к суду, многие из них даже под пытками отказывались отречься от религии, доставлявшей им столько счастья.

В глазах церкви и судебных властей членство в «дьявольской партии» усугубляло преступление ведьмовства. Ведьмы, посещавшие шабаш, считались куда более опасными, чем ведьмы, практиковавшие свое ремесло в одиночестве. Присутствие на шабаше было равнозначно заявлению о том, что для данного человека дианический культ важнее христианства. Кроме того, колдуны и ведьмы образовывали нечто вроде секретного братства, которое могло быть использовано честолюбцами для достижения политических целей. Можно считать почти доказанным, что именно этим инструментом воспользовался в Шотландии Босуэлл. Королева Елизавета и ее Тайный совет были абсолютно уверены — справедливо или нет, это другой вопрос, — что чужеземные и британские католики якшаются с колдунами, чтобы сжить со свету ее величество. Во Франции же, согласно Бодену, колдуны создали нечто вроде мафии, так что в каждом городе и даже деревне имелись члены этого тайного сообщества.

Для того чтобы злодеяния Грандье казались еще более ужасными, его обвинили не только в оперативном ведьмовстве, но также и в ритуальном — что он якобы участвовал в шабашах и принадлежал к «дьявольской церкви».

Картина получалась такая: воспитанник иезуитов, отрекшийся от крещения; священник, предавший алтарь ради дьявола; ученый-богослов, спутавшийся с ведьмами и колдунами, со всякого рода нечистью, сатанинскими инкубами и прочими тварями. Все это вместе взятое устрало благочестивых, распалило любопытство бездельников и, разумеется, доставило много радости протестантам.

## Глава шестая

Первоначальное расследование, проведенное главным луденским магистратом, оставило господина де Серизе в убеждении, что монахини не околдованы дьяволом, а просто нездоровы и к тому же склонны к мошенничеству, что поощряется и злонамеренным каноником Миньоном, а также другими церковниками, людьми суеверными, фанатичными и к тому же небескорыстными. Единственно правильное решение — немедленно положить конец комедии с изгнанием бесов. Однако, когда магистрат высказал свое суждение, Миньон и Барре победоносно предъявили ему письменный указ епископа, в котором святым отцам предписывалось пользоваться урсулинок впредь до особого распоряжения. Не желая ввязываться в конфликт, де Серизе позволил продолжить «лечение», однако настоял на том, чтобы присутствовать при экзорцизме лично. Однажды, в разгар процедуры, в печной трубе раздался страшный грохот и из камина выскочил черный кот. Сатанинское отродье было загнано в угол, схвачено и обрызгано святой водой, после чего кота осенили крестным знаменем и на латыни велели ему проваливать обратно в Преисполню. Затем выяснилось, что это перемазанный сажей кот по кличке Том, любимец монахинь. Оказывается, он бегал по крыше и решил вернуться домой более коротким путем. Под сводами монастыря раздались взрывы поистине раблезианского хохота.

На следующий день Миньон и Барре закрыли двери монастыря прямо перед носом главного магистрата. Де Серизе и его спутники стояли под холодным дождем, но внутрь допущены так и не были. Оба святых отца в тот день изгоняли бесов без свидетелей. Вернувшись к себе в магистратуру, разгневанный судья продиктовал наглецам грозное письмо. Он писал, что своими действиями «они навлекают на себя подозрение в мошенничестве и нечистоплотности». Далее де Серизе писал: «Настоятельница монастыря публично обвинила Грандье в том, что тот заключил союз с бесами, а стало быть, никакой надобности в сохранении секретности более нет. Напротив, следует вести дело самым открытым и справедливым образом». Встревоженные твердостью судебных властей, монахи принесли свои извинения и поспешили доложить, что сестры успокоились, поэтому в ближайшее время бесов из них можно не изгонять.

Тем временем Грандье отправился в Пуатье, чтобы попасть на аудиенцию к епископу. Однако монсеньор де ла Рошпозе не пожелал



принять луденского кюре, ограничившись отпиской: «Господин Грандье должен обратиться к королевским судьям, а епископ будет весьма счастлив, если в этом деле восторжествует справедливость».

Священник вернулся в Луден и обратился к главному магистрату, требуя, чтобы тот положил конец бесчинствам Миньона и его соучастников. Де Серизе издал приказ, воспрещавший кому бы то ни было возводить напраслину на настоятеля церкви Святого Петра. Одновременно с этим де Серизе запретил Миньону продолжать свои экзорцистские эксперименты. Каноник ответил, что он подчиняется лишь церковным властям и не признает правомочностей властей судебных в деле, связанном с именем дьявола, а потому относящемся к сфере духовной.

Отец Барре тем временем вернулся к своим прихожанам в Шинон. Публичных изгнаний дьявола он больше не производил. Зато каноник Миньон взял за правило каждый день читать своей пастве по главе из книги отца Михаэлиса, описывавшего знаменитый процесс Жоффреды, причем утверждал, что Грандье — колдун не менее опасный, чем сожженный на костре провансалец. Сестры-урсулинки к тому времени вели себя таким странным и непристойным образом, что родители их учениц перепугались не на шутку. Вскоре в монастыре не осталось ни одной пансионерки, а тревожные сообщения из обители продолжали будоражить воображение горожан. Во время урока арифметики, на котором присутствовали приходящие ученицы, сестра Клэр от Святого Иоанна разразилась сатанинским хохотом, словно кто-то ее щекотал. В часовне сестра Марта подралась с сестрой Луизой от Иисуса, причем обе истошно вопили и осыпали друг друга непристойными ругательствами.

В конце ноября из Шинона был возвращен отец Барре, и при его содействии симптомы монахинь сразу же усугубились. Монастырь превратился в настоящий сумасшедший дом. Хирург Маннури и аптекарь Адам встревожились и обратились за помощью к городским врачам. Те пришли, освидетельствовали монахинь и предоставили главному магистрату письменный отчет. Там содержалось следующее заключение: «Монахини, конечно, не в себе, но вряд ли это произошло из-за воздействия демонов и духов... Так называемая „одержимость“, судя по всему, носит не действительный, а иллюзорный характер». Казалось бы, вопрос окончательно закрыт — но только не для экзорцистов и врагов Урбена Грандье.

Приходской кюре снова обратился с жалобой к господину де Серизе, и тот повторно попытался положить конец злоупотреблениям. Повторилась та же история: Миньон и Барре проигнорировали распоряжение судебных

властей, а магистрат не решился использовать против святых отцов силу. Вместо этого он написал письмо епископу, призывая его преосвященство положить конец «скандальному произволу, какого не видели в наших местах с незапамятных времен». Судья писал, что Грандье никогда в жизни не встречался с монахинями и не имел с ними никаких дел; «а если, как они утверждают, бесы и в самом деле подвластны этому человеку, то что бы помешало означенному Грандье самым страшным образом отомстить своим обидчикам?».

Епископ оставил письмо без ответа. Грандье нанес его преосвященству смертельную обиду, когда посмел оспаривать вердикт прелата. Стало быть, все, что шло во вред наглому кюре, следовало воспринимать как справедливое воздаяние.

Де Серизе написал еще одно письмо, на сей раз адресованное епархиальному блюстителю порядка. В этом послании, более подробном, чем первое, магистрат в деталях описал чудовищный фарс, разыгранный в Лудене. «Господин Миньон уже заявляет, что отец Барре — святой, и оба при жизни канонизируют друг друга, не удосужась выслушать мнение вышестоящих инстанций». Барре поправляет самого дьявола, когда тот, говоря голосом монахинь, допускает грамматические ошибки, причем святой отец взывает к фомам неверующим из числа свидетелей и предлагает им «последовать его примеру и положить палец прямо в рот одержимой бесами». Отец Руссо, кордельер<sup>[54]</sup>, попался на эту удочку и был укушен, да так крепко, что ему пришлось ухватить монахиню за нос — иначе она не желала разжимать зубы. При этом отец Руссо кричал: «К черту, к черту!» — точь-в-точь как кухарка, прогоняющая кошку. Вслед за укушением пальца возникла дискуссия, может ли демон цапнуть палец, окропленный священным миром. После обсуждения святые отцы пришли к выводу, что епископ поставляет в церкви слишком мало мирра, и из-за этого слой священного вещества был недостаточно обилен.

Кроме основных экзорцистов, не было недостатка и в молодых священниках, желающих испробовать свои силы. В числе последних оказался и брат Филиппы Тренкан. Но этот молодой человек делал так много ошибок в латыни, что ученая публика покатывалась со смеху, и дебютанту пришлось удалиться. Мало того — согласно докладу де Серизе, «монахиня, корчась в конвульсиях, никак не позволяла господину Тренкану засунуть ей в рот палец (ибо палец этот был весьма грязен), а настойчиво просила приставить к ней другого священника». Несмотря на все это «отец-капеллан из ордена капуцинов возмущается жестокосердием луденских жителей и их неверием. Сей пастырь уверяет нас, что в городе Туре народ

„заглатывает наживку“ куда как легче. Этот священник и другие говорят, что все сомневающиеся — безбожники и обречены на вечное проклятие».

Это письмо тоже осталось без ответа. Кошмарный фарс продолжался вплоть до середины декабря, когда, по счастливой случайности, бордоский архиепископ монсеньор де Сурдис решил заехать в принадлежавшее ему аббатство Сен-Жуэн-де-Марн. Грандые тут же обратился к прелату с неофициальным письмом, а господин де Серизе — с формальным отчетом; оба просили архиепископа о вмешательстве. Господин де Сурдис немедленно послал своего личного врача разобраться в положении дел. Отлично зная, что ученого человека одурачить непросто, а его хозяин относится ко всей этой истории с откровенным скептицизмом, сестры перепугались и во время обследования вели себя как агнцы. Ни малейших признаков одержимости не обнаружилось. Так лекарь и написал в своем отчете. В конце декабря 1632 года архиепископ издал указ, согласно которому Миньону запрещалось впредь заниматься экзорцизмом, а Барре мог продолжать свои занятия лишь в присутствии специальных представителей архиепископа, иезуита из Пуатье и ораторианца из Тура. Кроме этих троих, никто не имел права участвовать в изгнании бесов.

Однако запрет оказался излишним. В течение последующих месяцев бесы словно улетучились. Без подзуживания со стороны священников монахини впали в хмурое, так сказать, похмельное состояние, терзаясь стыдом, раскаянием и сознанием совершенного греха. А что, если архиепископ прав? Может быть, никакие бесы в них не вселялись? Тогда выходит, что они совершили страшную ошибку и даже преступление. Пока они считались одержимыми, никто их ни в чем не винил. Теперь же им придется отвечать на Страшном Суде за святотатство, непотребство, ложь и клевету. Прямо у ног урсулинок распахнулась Геенна Огненная. Еще хуже было то, что они лишились всех учениц и остались без гроша. Теперь все горожане — родители бывших пансионеров, благочестивые дамы, зеваки и даже родственники — отвернулись от этих несчастных. Да, даже родственники, потому что, как стало ясно из указа архиепископа, монахини занимались мошенничеством и тем самым опозорили свои семьи. Так что деньги из дома урсулинкам больше не присылали. Из рациона обители исчезли мясо и масло, пришлось уволить слуг. Монахини сами занимались грязной работой, а на хлеб зарабатывали шитьем и ткачеством. Алчные купцы, пользуясь тяжким положением монахинь, платили за этот тяжелый труд еще меньше, чем обычным работницам. Голодные, измученные непосильной работой, терзаемые суеверными страхами и чувством вины, бедные женщины вспоминали о днях своей былой «одержимости» как о

счастливым периоде своей жизни. Кончилась зима, миновала весна, настало лето. Положение урсулинок не улучшалось.

Лишь осенью 1633 года забрезжил свет надежды. Король наконец уступил кардиналу в вопросе о луденском замке, и в гостинице «Лебедь и крест» вновь поселился господин де Лобардемон. Месмен де Силли и прочие кардиналисты торжествовали. Итак, губернатор Д'Арманьяк проиграл, его замок обречен. Теперь ничто не мешало врагам расправиться с проклятым кюре. При первой же встрече с королевским комиссаром Месмен завел разговор об урсулинках. Лобардемон слушал внимательно. В свое время он отправил на костер не один десяток ведьм, поэтому с полным правом мог считать себя экспертом в сверхъестественных материях.

На следующий день комиссар посетил монастырь, расположенный на улице Пакен. Каноник Миньон подтвердил сведения, полученные бароном от Месмена. Так же поступили мать-настоятельница, сестра Клэр де Сазийи (родственница кардинала) и две свояченицы самого Лобардемона, урожденные де Данпьер. Выяснилось, что в урсулинок и в самом деле вселились злые духи, а произошло это из-за колдовского наущения Урбена Грандье. Сами бесы, говоря устами монахинь, признались в своем злом деянии, так что никаких сомнений оставаться не может. И все же его высокопреосвященство монсеньор архиепископ определил, что никакой одержимости нет, отчего монастырю вышли позор и разорение. Произошла чудовищная несправедливость. Сестры умоляли господина де Лобардемона подействовать на кардинала и короля, чтобы восторжествовала правда.

Сам барон на охоту на ведьм смотрел положительно, но как предугадать реакцию кардинала? Не так-то это просто. Иногда Ришелье относился к процессам над колдунами весьма серьезно, но бывало и так, что в разговоре о делах сверхъестественных он проявлял вольнодумство, более уместное для последователя Шаррона или Монтеня. К великому человеку следовало относиться одновременно как к божеству, капризному ребенку и дикому зверю. При этом божеству следовало поклоняться, ребенку потакать, а зверя ни в коем случае не дразнить. Если кто-то из придворных неосторожным замечанием нарушал равновесие сверхчеловеческого самомнения, звериной ярости и детской непредсказуемости, беднягу ждали серьезные неприятности. Монахини могли плакать и умолять комиссара сколько угодно, однако прежде чем предпринять какие-то действия, он должен был произвести разведку.

Несколько дней спустя город Луден принимал высокого гостя, принца Генриха Конде. Эта особа королевской крови имела репутацию содомита, скряги и ханжи. В политике Конде начинал как антикардиналист, но теперь,

когда позиция Ришелье стала незыблемой, превратился в одного из самых льстивых приверженцев его высокопреосвященства. Принц был наслышан об одержимых монахинях и пожелал лично на них посмотреть. Миньон и урсулилки были счастливы. В сопровождении Лобардемона и многочисленной свиты принц прибыл в монастырь, где в его присутствии была отслужена торжественная месса. Поначалу монахини вели себя весьма благопристойно, но в момент причащения Святых Даров, настоятельница, сестры Клэр и Агнесса, охваченные конвульсиями, рухнули на пол, сыпля кощунствами и похабными ругательствами. Остальные монахини тут же последовали их примеру, и в течение доброго часа часовня напоминала нечто среднее между борделем и зверинцем. Спектакль произвел на его высочество огромное впечатление. Принц заявил, что монахини, вне всякого сомнения, одержимы бесами, и Лобардемон должен немедленно написать его высокопреосвященству об этом событии. Очевидец пишет об этом так: «Но комиссар своим видом никак не показал, произвело ли это странное зрелище на него впечатление. Однако, вернувшись в гостиницу, он ощутил искреннее сострадание к несчастным монахиням. Не желая давать волю своим чувствам, он пригласил на ужин Грандье со всеми его друзьями». Можно себе представить, как проходила эта поистине удивительная пирушка.

Для того чтобы подтолкнуть чересчур осторожного Лобардемона к активным действиям, враги кюре выдвинули новые, еще более серьезные обвинения. Оказывается, Грандье — не только колдун, отрекшийся от веры, восставший против Господа и околдовавший целый монастырь, он еще и автор гнусного пасквиля на кардинала — памфлета под названием «Письмо луденской обувщицы», опубликованного шестью годами ранее, в 1627 году. Вряд ли Грандье был автором этого сочинения. Однако известно, что он и в самом деле дружил и переписывался с женщиной, от чьего имени оно было написано. Более того, вероятнее всего, она была его любовницей, так что это обвинение выглядело не таким уж голословным.

Катрин Аммон, умненькая и хорошенькая субретка, привлекла внимание королевы Марии Медичи в 1616 году, когда ее величество почтила своим посещением Луден. Королева взяла девушку к себе на службу и назначила ее королевской обувщицей. Вскоре Катрин стала наперсницей и любимицей монархини. Грандье был хорошо знаком с девушкой (говорят, весьма интимно) во время ссылки Марии Медичи — Катрин в это время частенько наведывалась в Луден. Позднее, вновь оказавшись в Париже, Аммон писала своему приятелю письма, подробно рассказывая о том, что происходит при дворе. Письма эти были

презабавны, и кюре зачитывал наиболее пикантные отрывки своим друзьям вслух. Среди этих друзей в ту пору находился и мэтр Тренкан, городской прокурор, отец красотки Филиппы. Теперь же Тренкан, превратившийся в заклятого врага священника, авторитетно заявлял, что именно Грандье и является подлинным автором «Луденской обувщицы». Тут уж Лобардемон безразличия изображать не стал. Неизвестно, как кардинал отнесется к истории о ведьмах и колдунах, но уж к пасквилянтам его высокопреосвященство относился безо всякого снисхождения. Критиковать методы, при помощи которых Ришелье управлял страной, означало крах карьеры и ссылку; те же, кто оскорблял лично кардинала, рисковали угодить на виселицу, а то и на костер, поскольку по эдикту 1626 года написание пасквилей против верховной власти приравнивалось к оскорблению его величества. Несчастный печатник, опубликовавший «Обувщицу», был отправлен на галеры. Что же ожидало автора, попадись он в руки гостей?

На сей раз Лобардемон был уверен, что его рвение оценят по достоинству. Он подробнейшим образом записал показания мэтра Тренкана. Да и Месмен не бездействовал. Мы уже знаем, что Грандье завоевал себе немало врагов среди монахов, так что все местное черное духовенство относилось к нему с большой неприязнью. Более всего причин ненавидеть Грандье имели кармелиты, однако орден этот не пользовался особым влиянием. Другое дело — капуцины: они меньше пострадали от происков кюре, но зато и власти у них было куда больше, чем у кармелитов. Дело в том, что к их ордену принадлежал знаменитый «серый кардинал» отец Жозеф, являвшийся наперсником, советником и главным подручным кардинала. Поэтому Месмен отправился не к белым братьям, а к серым, рассудив, что они оценят новые обвинения в адрес Грандье по достоинству. Результат превзошел все ожидания. Капуцины немедленно составили письмо отцу Жозефу и попросили Лобардемона лично доставить послание в Париж. Лобардемон согласился. В тот же вечер он пригласил Грандье и его друзей на прощальный ужин. Там барон пил за здоровье кюре, уверял его в вечной дружбе и обещал оказать всяческое содействие в борьбе Урбена против зловредных недоброжелателей. Сколько доброты, сколько душевной щедрости проявил комиссар! Грандье был растроган до слез.

На следующий день Лобардемон отправился в Шинон, где провел вечер в компании самого яростного из обвинителей луденского кюре. Отец Барре принял королевского комиссара со всем подобающим почтением и, по просьбе Лобардемона, посвятил его во все подробности экзорцизма. Наутро, после завтрака, Лобардемон полюбовался на то, как святой отец

воюет с шинонскими демонами, а затем, распрощавшись, отправился в Париж.

Сразу же по приезде в столицу, он встретился с отцом Жозефом, а несколько дней спустя — уже с обоими кардиналами, как красным, так и серым. Лобардемон прочитал показания отца Барре, а отец Жозеф — письмо, полученное от братьев по ордену капуцинов, где утверждалось, что Грандье и есть тот человек, кто написал «Луденскую обувщицу». Ришелье решил, что дело это серьезное, и обсудить его следует на первом же заседании Государственного совета. В назначенный день (30 ноября 1633 года) король, кардинал, отец Жозеф, статс-секретарь, канцлер и Лобардемон обсудили дело луденских урсулинок. Барон изложил историю коротко, но красноречиво. Людовик XIII, свято веривший в происки дьявола, без малейших колебаний постановил принять самые решительные меры. Был составлен документ, подписанный его величеством и статс-секретарем, а также скрепленный Большой печатью желтого воска. Барону де Лобардемону предписывалось отправиться в Луден, провести расследование и проверить, справедливы ли обвинения, выдвигаемые бесами против Грандье. Если окажется, что сведения верны, колдуна следует предать суду.

В двадцатые и тридцатые годы семнадцатого века судебные процессы над ведьмами были явлением достаточно заурядным, но из всего множества лиц, обвиненных в связях с дьяволом, Грандье стал единственным, к кому Ришелье проявил пристальный интерес. Капуцинский экзорцист отец Транкиль, написавший в 1634 году памфлет в защиту Лобардемона, объявил, что «лишь рвению и усердию преосвященнейшего кардинала обязаны мы тем, что это дело попало в суд»; и далее святой отец пишет, что «письма, посланные его высокопреосвященством господину де Лобардемон, красноречиво сие подтверждают». Что же касается комиссара, то «он не произвел ни одного действия, предварительно не поставив об этом в известность его величество и господина кардинала». Слова Транкиля подтверждаются и другими современниками, которые свидетельствуют, что Ришелье и его луденский агент обменивались письмами почти ежедневно.

Чем же объясняется столь необычная заинтересованность великого человека в таком малом деле? Как и современники Ришелье, мы вынуждены довольствоваться одними лишь догадками. Можно не сомневаться, что одним из мотивов была личная месть. В 1618 году, когда Ришелье был всего лишь епископом Лусонским и аббатом Куссе, луденский священник нанес ему оскорбление. И вот теперь, годы спустя, возникло

подозрение, что тот же самый человек является автором возмутительного и оскорбительного памфлета «Луденская обувщица». Конечно, улики слишком мало для того, чтобы отдать его под суд. Но уже самого подозрения достаточно, чтобы избавиться от такого опасного человека. И это еще не все. Приход, в котором служил кюре, был у кардинала на дурном счету. Луден слыл твердыней протестантизма. Местные гугеноты были слишком осторожны, чтобы принять участие в восстании своих единоверцев, закончившемся в 1628 году взятием Ла-Рошели. Из-за этого протестанты провинции Пуату избежали преследований и репрессий. Нантский эдикт все еще оставался в силе, и с присутствием в стране кальвинистов приходилось мириться. Но если удастся доказать — при помощи славных урсулинок, что сторонники так называемой «реформированной религии» вступили в тайный пакт с врагом, причем не с какими-то там англичанами, а с самим дьяволом? Вот тогда кардинал вполне мог бы расправиться с мятежным городом по-своему — лишить его всех прав и привилегий, передав их недавно появившемуся городу Ришелье. Но и это еще было не все. Бесы могли принести и другую пользу. Если бы народ поверил, что Луден стал плацдармом дьявольского нашествия из самой преисподней, тогда, может быть, появилась возможность обзавестись во Франции собственной инквизицией. Вот это было бы кстати! Настолько инквизиция облегчила бы задачу по централизации государства и укреплению монархии! Мы, люди двадцатого века, отлично знаем из опыта, что лучшее средство для расправы с евреями, коммунистами, империалистами и прочими — превратить страну в полицейское государство, а для этого нужно уверить население в существовании пятой колонны. Ришелье сделал всего одну ошибку — переоценил веру своих соотечественников в сверхъестественное. Ему надо было бы делать ставку не на дьявола, а на испанцев и австрийцев, тем более, что в разгаре была Тридцатилетняя война.

Лобардемон не стал зря терять времени. 6 декабря он был уже в Лудене. Остановившись в пригороде, он тайно послал за прокурором и начальником полиции Гийомом Обеном. Те немедленно явились на зов. Лобардемон предъявил им свои полномочия и королевский указ на арест Грандье.

Гийому Обену кюре всегда нравился. Поэтому ночью лейтенант послал священнику письмо, в котором извещал Грандье о возвращении Лобардемона и советовал немедленно спасаться бегством. Грандье поблагодарил доброжелателя, однако решил, что ему бояться нечего, поскольку он ни в чем не виноват. На следующее утро по дороге в церковь



он был арестован. Месмен, Тренкан, Миньон, аптекарь и хирург — одним словом, все враги священника — специально собрались в этот ранний час, чтобы насладиться зрелищем. Под их издевательский хохот Грандье был посажен в карету, которая увезла его в Анжерский тюремный замок.

В доме священника устроили обыск; все книги и бумаги были опечатаны. К сожалению, в библиотеке кюре не нашлось ни одного пособия по черной магии, но зато обнаружился экземпляр «Луденской обувщицы» (что само по себе было кстати), а главное — рукопись «Трактата о целомудрии», некогда написанного Урбеном для того, чтобы успокоить совесть мадемуазель де Бру.

Однажды, находясь в игривом расположении духа, Лобардемон сказал, что ему достаточно любых трех строчек, написанных каким-либо человеком, чтобы отправить написавшего на виселицу. Имея на руках «Трактат» и памфлет, он располагал достаточным материалом для того, чтобы не просто повесить Грандье, но отправить его на дыбу, на колесо, на костер. При обыске обнаружили и другие сокровища. К примеру, письма Жана Д'Арманьяка. Теперь у Лобардемона было запасено хорошее средство, чтобы держать королевского фаворита в узде. Если послушается — можно будет отправить его в ссылку, а то и на эшафот. Среди прочих бумаг нашелся и оправдательный приговор, подписанный архиепископом Бордоским. Что ж, в настоящее время монсеньор де Сурдис у короля на хорошем счету и исправно руководит адмиралтейством, однако если в будущем его положение пошатнется, бумага окажется кстати — хорош прелат, который покрывает разоблаченного колдуна. В любом случае, оправдательный приговор следовало убрать подальше, ибо тогда, за отсутствием вердикта вышестоящей инстанции, в силе оставался приговор пуатевенского епископа. Из этого приговора следовало, что Грандье занимался в церкви прелюбодеяниями. Если священник способен на такое, значит, он мог околдовать и семнадцать монахинь.

В последующие недели в Лудене торжествовали месть, злоба и сведение личных счетов, причем с полного одобрения официальных инстанций. Епископ Пуатевенский издал указ, заранее понося Грандье и призывая всех и каждого доносить на арестованного священника. Многие воспользовались этим приглашением. Лобардемон и его писцы едва успевали записывать показания свидетелей. Снова вернулись к процессу 1630 года, и теперь все свидетели, прежде отрекшиеся от своих показаний, стали говорить, что и тогда говорили святую правду. На предварительных слушаниях Грандье не присутствовал, не было и его адвоката. Лобардемон не позволял защитникам участвовать в разбирательстве. Когда же мать

Грандье заявила протест против столь незаконного ведения дела, он просто разорвал ее петицию. В январе 1634 года старуха объявила, что от имени своего сына подаст апелляцию в парижский парламент. Лобардемон в то время находился в Анжере, подвергая арестанта усиленным допросам.

Однако Грандье был тверд. Он знал об апелляции и не сомневался, что в скором времени его дело попадет на рассмотрение к другому судье, не такому предвзятому. Целую неделю Лобардемон то уговорами, то угрозами пытался выудить у священника признание, но ничего не добился и в конце концов, разочарованный, отправился в Париж к кардиналу. Юридическая машина, запущенная в ход госпожой Грандье, медленно, но верно набирала обороты. Однако рассмотрение апелляции в парижском суде никак не входило в планы Лобардемона и его господина. Члены высшего судебного органа были известны своей приверженностью к букве закона, а также неприязнью к административной власти. Если к этим крючкотворам попадут материалы дела, репутации Лобардемона будет нанесен ущерб, а его высокопреосвященству придется отказаться от плана, столь тщательно разработанного и подготовленного. Поэтому в марте Ришелье поставил вопрос об апелляции Грандье на Государственном совете. Кардинал объяснил его величеству, что бесы пустились в контрнаступление, и им необходимо дать самый решительный отпор. Как обычно, Людовик XIII легко дал себя убедить, и статс-секретарь составил необходимый указ. От имени короля заявлялось, что, «невзирая на апелляцию, которую в настоящее время рассматривает парламент, его величество постановляет, что господин де Лобардемон будет продолжать расследование преступлений Грандье... с этой целью король возобновляет полномочия своего комиссара на весь срок расследования, а также воспрещает парламенту города Парижа и всем прочим судебным инстанциям вмешиваться в ход этого дела; никто более не смеет оспаривать действия комиссара, иначе будет подвергнут штрафу в пятьсот ливров».

Таким образом, агент кардинала был поставлен выше закона и наделен неограниченными полномочиями. Он вернулся в Луден в начале апреля и тут же начал готовиться к следующему акту этой чудовищной трагикомедии. Лобардемон заявил, что в городе нет достаточно надежной тюрьмы, чтобы содержать в ней опасного колдуна. Поэтому в качестве темницы решено было использовать чердак дома, принадлежавшего канонику Миньону. Дабы оградить камеру от вмешательства бесов, Лобардемон велел заложить кирпичами все окна, поставить на дверь новый замок и тяжелые засовы, а главное — закрыть стальной решеткой дымоход, через который, как известно, в человеческие жилища так любят проникать

демоны. Под усиленной охраной Грандье был доставлен в Луден и заперт в своем душном и темном узилище. Кровати ему не дали, и он спал на ворохе соломы. Охраняла узника чета Бонтан (между прочим, дававшая против него ложные показания еще в 1630 году). На протяжении всего долгого процесса эта парочка обращалась с арестантом самым жестоким образом.

Убедившись, что обвиняемый находится под надежным присмотром, Лобардемон решил заняться главными свидетелями грядущего процесса — сестрой Иоанной и остальными шестнадцатью монахинями. Вопреки приказу архиепископа, каноник Миньон и его собратья вновь принялись опекать урсулинок, чтобы искоренить последствия полугодового вынужденного успокоения. Хватило всего нескольких публичных экзорцизмов, и добрые сестры вновь впали в надлежащее состояние. Лобардемон не давал им передышки. Каждый день, с утра до вечера, несчастных женщин разводили по разным церквям города и подвергали одним и тем же процедурам. Как современные медиумы, повторяющие все уловки, изобретенные еще сестрами Фоке сто лет назад, «одержимые» урсулинки и их попечители были не в состоянии придумать что-либо новое. Снова начинались конвульсии, непристойные ругательства, кощунства, хвастливые утверждения, якобы изрыгаемые дьяволами. Однако спектакль был достаточно хорошо налажен (а главное, достаточно скандален), чтобы привлечь внимание публики. Новости о новом витке одержимости распространялись посредством памфлетов и прокламаций, а также проповедей и просто сплетен. Со всей Франции и даже из-за границы собирались любопытствующие, чтобы посмотреть на это чудо. С тех пор, как увял «туристический бизнес» кармелитов, одно время обладавших чудотворной иконой, Луден еще не видел такого наплыва посетителей. Благодаря бесам город начал процветать. Гостиницы и постоялые дворы были переполнены, а добрые кармелиты, главные распорядители экзорцизма, жирели и благословляли свое везение. Все было совсем как в старые времена, когда к ним приходили толпы пилигримов.

Богатели и урсулинки. Во-первых, они стали получать щедрое содержание из королевской казны, а кроме того — подаяния от верующих и подачки от знатных приезжих — в благодарность за усердную актерскую игру.

Весной и летом 1634 года экзорцисты добивались не столько изгнания бесов, сколько новых доказательств виновности Грандье. Требовалось установить — желательно по свидетельству самого Сатаны, — что кюре действительно являлся колдуном и заморозил бедных монахинь. Однако,

как известно, Сатана — Отец Лжи, и, стало быть, его свидетельству грош цена. На это Лобардемон, его подручные и сам епископ Пуатевенский заявили, что даже дьяволы обязаны говорить правду, если их понуждает к этому священник римско-католической церкви. Таким образом, любые вопли истеричной монахини отныне приравнялись к божественному откровению. Эта новая доктрина пришлась инквизиторам очень кстати. Недостаток у нее был только один — ранее ни о чем подобном никто не слыхивал. Еще в 1610 году собрание ученых-теологов обсудило вопрос о приемлемости «свидетельств дьявола» и вынесло следующее решение: «Мы, нижеподписавшиеся, доктора парижского факультета, рассмотрев некие вопросы, доверенные нашей компетенции, пришли к выводу, что обвинения, выдвигаемые демонами, а тем более полученные вследствие экзорцизма, не могут быть приняты судом в качестве доказательств; более того, мы полагаем, что, даже если сии экзорцизмы происходили в непосредственной близости от Святых Даров и сопровождались клятвой, произнесенной Именем Божиим (сама эта процедура, с нашей точки зрения, является незаконной), ни в коем случае не следует принимать на веру слова дьявола, ибо известно, что он лжец и Отец Лжи». Далее в документе говорится, что Сатана — заклятый враг человека, и потому готов вынести любые муки, лишь бы повредить христианской душе. Принимать во внимание свидетельства дьявола означает подвергать опасности людей добродетельных и благочестивых, ибо именно они вызывают у Нечистого самую большую ненависть. «Ибо и святой Фома (книга 22, вопрос 9, статья 22) утверждает, ссылаясь на мнение святого Хризостома, что дьяволу нельзя верить, даже когда он говорит правду. Мы должны следовать примеру Христа, повелевшего демонам молчать, даже когда они сказали правду, назвав Его Сыном Божиим. Никогда нельзя отдавать под суд тех, в чей адрес дьяволы выдвигают обвинения. Именно так и поступают судьи во Франции, не признавая подобных оговорок». Двадцать четыре года спустя Лобардемон и его коллеги поступили прямо противоположным образом. Экзорцисты пренебрегли соображениями человечности и даже религиозной традицией; агенты кардинала впали в ересь, одновременно нелепую и опасную. Исмаэль Бульо, священник-астроном, служивший под началом Грандье одним из викариев собора Святого Петра, назвал новую доктрину «нечестивой, ошибочной, предосудительной и отвратительной, ибо она превращает христиан в идолопоклонников, подрывает самые основы христианской религии, дает простор клевете и позволяет дьяволу приносить в жертву людей, причем не Молоху, а адской и злобной догме». Но кардинал Ришелье отнесся к «адской и злобной догме» с полнейшим

одобрением. Этот факт подтверждают Лобардемон и автор «Луденской демономании» Пилле де ла Меснардьё, личный врач его высокопреосвященства.

«Свидетельства дьявола» добросовестнейшим образом записывались и принимались на веру, причем именно такие, в которых нуждался Лобардемон. Например, ему было угодно, чтобы Грандьё оказался не просто колдуном, а жрецом «старой религии». О пожелании комиссара стало известно, и сразу же один из «бесов» признался (этому посодействовал один из кармелитских монахов, производивших экзорцизм), что, вселившись в тело монахини, прелюбодействовал со священником, а за это Грандьё взял ее с собой на шабаш и назначил принцессой при дворе дьявола. Грандьё же утверждал, что в жизни не встречался с этой девицей. Поверили, разумеется, не священнику, а Сатане, потому что сомнение было бы святотатством.

Как известно, некоторые из ведьм имеют дополнительные сосцы, а другие — нечувствительные участки кожи, которых касался палец Нечистого. Если ткнуть иглой в такое место, ведьме не больно, и крови нет. У Грандьё дополнительных сосцов не оказалось. Значит, у него непременно должны были сыскаться «пятна дьявола». Где же именно они находятся? 26 апреля настоятельница дала ответ. Всего «пятен» у Грандьё, оказывается, пять: одно на плече, на том самом месте, где палач ставит клеймо преступнику; два на ягодицах, у самого основания; и еще по одному на каждом из яичек. Чтобы проверить истинность этого заявления, хирург Маннури провел экспериментальное исследование, более всего похожее на вивисекцию. В присутствии нескольких врачей и двух аптекарей подсудимого раздели догола, сбрили все волоски с его тела, завязали ему глаза, после чего хирург стал тыкать в него длинной острой иглой. Когда-то, в гостиную прокурора Тренкана, кюре позволил себе потешаться над напыщенным и невежественным хирургом. Теперь настало время мщения. От боли кюре кричал так, что крик вырывался через заложенные кирпичом окна и был слышен собравшейся на улице толпе. Из официального протокола дознания нам известно, что удалось обнаружить лишь два пятна из пяти, названных настоятельницей, но и этого оказалось вполне достаточно. Метод, использованный хирургом, оказался прост и эффективен. Несколько раз ткнув осужденного острым концом, он потом незаметно переворачивал иглу и тыкал тупым. Чудодейственным образом испытуемый не кричал, да и крови не было. Значит, там и находилось «пятно дьявола». Если бы испытание продолжалось дольше, то несомненно, обнаружили и все отметины. К несчастью, один из

аптекарей (чужак, прибывший из города Тура) оказался менее доверчивым, чем сельские лекари, привлеченные комиссаром для участия в эксперименте. Аптекарь, увидев, как Маннури жульничает, поднял шум. Тщетно — его мнение было проигнорировано. Зато все остальные участники исследования проявили себя самым лучшим образом. Теперь Лобардемон мог утверждать, что союз Грандые с Сатаной — научно подтвержденный факт.

Но вообще-то, конечно, можно было обойтись и без науки. Связь осужденного с адскими силами сомнений не вызывала. Когда арестанту устроили очную ставку с монахинями, они набросились на него, как свора псов. Бесы орали во всю глотку, что именно этот человек заставил их вселиться в тела монахинь. Это он каждую ночь в течение четырех месяцев бродил по монастырю, приставая к христовым невестам и нашептывая им непристойности. Лобардемон и его писцы старательно все это записывали. Протокол был должным образом составлен, подписан и скопирован. С теологической точки зрения, вина тоже была доказана.

Чтобы еще больше подкрепить обвинение, экзорцисты разыскали в кельях «вещественные доказательства». Все они появились там чудодейственным образом, причем некоторые (что звучало особенно удивительно) были «выблеваны». При помощи этих «знаков» добрые сестры и были околдованы слугой дьявола. Например, среди «знаков» оказался клочок бумаги с тремя каплями крови и восемью апельсиновыми зернышками. К этому был прибавлен пучок из пяти соломинок. Затем — сверток, в котором лежали щепки, червяки, волосы и гвозди. Самое главное вещественное доказательство нашла сама мать-настоятельница. 17 июня, когда в ней бушевал бес Левиафан, она выплюнула изо рта кусочек сердца ребенка (во всяком случае именно так предмет был идентифицирован самим бесом), принесенного в жертву на шабаше близ Орлеана в 1631 году. Не удовлетворившись этим, Иоанна предъявила также оскверненную просфору и несколько капель крови и семени Урбена Грандые.

Конечно, не обходилось и без накладок. Однажды, например, бес (находившийся в непосредственной близости от Святых Даров) вдруг заявил, что господин де Лобардемон — рогоносец. Писец немедленно записал в протокол это показание. Сам барон при экзорцизме не присутствовал и впоследствии подписал документ, даже не удосужившись его прочитать. Таким образом, органы дознания официально установили, что у господина барона в семье не все благополучно. Когда эта история стала достоянием гласности, смеху и шуткам не было предела. Лобардемон

разозлился, однако ничуть не смутился. Компрометирующий документ был изъят и уничтожен, глупого писца уволили, а наглым бесам задали хорошую взбучку, чтобы впредь не дерзили. Получалось, что новая доктрина куда действеннее той, что применялась раньше.

Лобардемон быстро понял, в чем заключается одно из главных преимуществ допроса «бесов». Устами дьяволов, которые не смеют лгать в присутствии Святых Даров, можно отличным образом льстить его высокопреосвященству, прибегнув к методу, доньше неслыханной. В протоколе экзорцизма от 20 мая 1634 года (он весь написан рукой самого барона) мы читаем: «*Вопрос*: Что скажешь ты о великом кардинале, охранителе Франции? Дьявол отвечает, клянясь именем Бога: „Он — бич всех моих добрых друзей“. *Вопрос*: А кто твои добрые друзья? *Ответ*: Еретики. *Вопрос*: Чем же еще славен этот великий человек? *Ответ*: Тем, что трудится на благо народа, обладает даром мудрого правления, ниспосланным ему самим Богом, а также желает сохранить мир в христианском мире и всеми своими помыслами стремится принести благо его величеству».

Отличная характеристика, к тому же произнесенная созданиями ада, которые, связанные священной клятвой, могли говорить только правду. Монахини при всей своей истеричности всегда помнили что можно, а что нельзя. Доктор Габриэль Леге, автор книги «Документы, касающиеся истории луденских одержимых» (Париж, 1874), пишет, что бесы изрыгали проклятья в адрес Всевышнего, Иисуса Христа и Пресвятой Девы, но никогда не злословили против Людовика XIII и, тем более, его высокопреосвященства. Добрые сестры знали, что они могут поносить Небеса, сколько им заблагорассудится, но грубить господину кардиналу небезопасно...

Однако пора вернуться к Урбену Грандье.

## Глава седьмая



Есть идеи, которые считаются недопустимыми в данное время и в данном месте. Но недопустимость идей еще не означает, что человек не способен испытывать определенные эмоции, а также совершать действия, к которым эти эмоции его побуждают. Таким образом, поступки, к которым общество относится с крайним осуждением, все равно совершаются, пусть даже вопреки веяниям времени. Люди не властны над своими чувствами и своим темпераментом; они поступают так, как велит им натура, однако осмыслять свои действия они могут лишь в рамках воззрений своей среды. Мысли и действия подвергаются интерпретации со стороны традиционной морали и идеологии, однако при этом человеку не всегда удастся одурачить самого себя. Например, вера в вечное проклятие может уживаться с сознанием, что человек совершает смертный грех. Я хотел бы процитировать весьма красноречивые комментарии, содержащиеся в записях Бейля, посвященных Томасу Санчесу, ученому-иезуиту, который в 1592 году опубликовал трактат о женитьбе. Современники и потомки считали эту книгу верхом непристойности. Суждения Бейля на интересующую нас тему звучат так: «Мы не знаем, как была устроена частная жизнь древних язычников, и потому нам трудно судить, осквернялось ли таинство брака у язычников таким же непотребством, как у христиан; во всяком случае, вероятнее всего неверные не превосходили в бесчинствах многих из тех, кто свято верит в истинность Священного Писания. Эти люди знают и о рае, и об аде, и о чистилище, и о прочих догмах католической церкви, но все это не мешает им погружаться в бездну порока, такого безобразного, что для этого у нас даже нет подходящего названия. Все это я говорю к тому, чтобы опровергнуть мнение, утверждающее, что порочность происходит от сомнения и неверия в последующую жизнь». Судя по всему, в 1592 году сексуальные привычки человечества не сильно отличались от современных. Разница лишь в том, что люди относились к пороку иначе. В те времена идеи Хэвлока Эллиса или Крафт-Эбинга были бы сочтены чудовищными. Однако эмоции и действия, описанные этими современными сексологами, были столь же распространены, как в наши дни. Никакой разницы между обществом, свято верящим в адский огонь, и обществом, которое утратило веру, здесь нет.

В последующих абзацах я коротко изложу представления о

человеческой природе, существовавшие в начале семнадцатого века. Воззрения эти сформировались в гораздо более раннюю эпоху и были тесно связаны с традиционной христианской доктриной, поэтому воспринимались как несомненные истины. Сегодня мы, при всем нашем невежестве, по крайней мере, уже научились сомневаться. Мы знаем, что освященные веками идеи не всегда выдерживают испытания жизнью.

Как же влияла эта несостоятельность теоретических воззрений на повседневное поведение наших предков? Иногда никак, но иногда — очень сильно.

Человек может быть прекрасным психологом-практиком и при этом понятия не иметь о психологической теории. Более того, человек может быть приверженцем совершенно несостоятельных психологических теорий, но это не мешает ему быть отличным психологом — если у него есть к этому природный талант.

В то же время неверное представление о человеческой природе может пробуждать в людях худшие страсти и приводить к неопишуемым зверствам. Так что теория — вещь одновременно несущественная и принципиально важная.

Как оценивали современники Грандье человеческую натуру и, в частности, диковинные события, происходившие в Лудене? Ответить на этот вопрос мы попытаемся, цитируя Роберта Бертон, в книге которого «Анатомия души» содержится краткий и характерный экскурс в философское учение, почитавшееся неоспоримым вплоть до появления Декарта.

«Душа бессмертна, сотворена из ничего, и попадает в человеческий зародыш, находящийся в материнской утробе, через шесть месяцев после зачатия. Не так у животных, которые получают жизнь от родителя к детенышу, а после смерти исчезают в небытие», — пишет Бертон. Душа — субстанция односоставная, в том смысле, что она не может быть разделена или разбита на кусочки. Душа представляет собой нечто вроде психологического атома, частицы цельной и неделимой. Однако при этом она проявляется в трех ипостасях, то есть представляет собой троицу, включающую в себя три разных души: растительную, чувственную и рациональную. Растительная душа — это «воля органического тела, благодаря которой оно питается, развивается и воспроизводит на свет себе подобных». Три эти функции имеют латинские названия — *altrix*, *auctrix*, *procreatrix*. Первая, *altrix* обозначает принятие пищи и воды; главный орган этой функции у разумных существ — печень, а в растениях — корень. Печень и корень должны превращать пропитание в телесное вещество, а

происходит этот процесс при помощи натурального тепла... Точно так же, как питательная функция заботится о пропитании тела, функция *austrix*, то есть возвращающая, берет на себя заботу об увеличении объема тела — до тех пор, пока оно не достигнет надлежащего размера. Третья функция растительной души, *procreatrix*, касается произведения на свет потомства.

Далее следует чувственная душа, «которая превосходит растительную точно так же, как животное превосходит флору, обладающую лишь растительной силой. Чувственная душа — это воля органического тела, обеспечивающая жизненный процесс, эмоции, желания, суждения, движение и дыхание... Главный орган этой души — мозг, руководящий всеми разумными действиями. Чувственная душа подразделяется на две составляющие части — одна руководит разумением, другая движениями... Часть, ответственная за разумение, в свою очередь, подразделяется еще на две части, внутреннюю и внешнюю. К внешней относится пять чувств: осязание, слух, зрение, обоняние и вкус... К внутренней — три: здравый смысл, фантазия и память. Здравый смысл выносит суждения, сравнивает и приводит в порядок сведения, получаемые от органов чувств, в первую очередь глаз и ушей. Фантазия исследует плоды здравого смысла, переворачивает их так и этак, находя им новое применение. Память накапливает все, что проистекает из фантазии и здравого смысла, дабы найти этому доброе применение в будущем».

У человека воображение подчинено рассудку — или же, во всяком случае, должно быть ему подчинено. Но у скотов дело обстоит иначе, и они обладают лишь *ratio brutorum*, то есть «рассудком животного». Что касается той части чувственной души, которая отвечает за движения, то и она «подразделена на две половины — одна занята стремлениями, а другая — перемещением с места на место».

Наконец, есть и рациональная душа, «которую философы называют главной волей естественного, человеческого и вообще органического тела, ибо человек живет, мыслит, сознает, совершает и выбирает, повинаясь именно этой душе». Из этого определения ясно, что рациональная душа вбирает в себя две предыдущие, а вместе все они образуют душу в целом. Это субстанция неорганическая, но ей служат все органы нашего тела. Есть и другое подразделение, касающееся чисто интеллектуальных функций души: понимание, которое является способностью к рациональному суждению, и воля, превращающая мысль в действие.

Примерно так выглядела теория, с помощью которой наши предки объясняли свое психическое устройство, а также мышление и поступки человека. Эта концепция восходила к глубокой древности, во многих своих

частях опиралась на теологические догмы и поэтому казалась совершенно неоспоримой. Но если она верна, то некоторые аспекты человеческой деятельности, сегодня представляющиеся нам совершенно естественными, сразу попадают в категорию таинственных и необъяснимых. Давайте рассмотрим конкретный пример.

Жила-была некая мисс Бошан, безобидная и болезненная молодая женщина, в обычной жизни придерживавшаяся самых похвальных принципов, но отличавшаяся слабыми нервами. Время от времени с ней происходила странная метаморфоза: она вдруг превращалась в этого десятилетнего ребенка, весьма шаловливого и неугомонного. Под воздействием гипноза эта озорница заявляла, что она вовсе не мисс Бошан, а зовут ее Салли. Проходило несколько часов, а то и дней, и Салли вдруг исчезала, к мисс Бошан возвращалось сознание. При этом молодая женщина совершенно не помнила, что она говорила и делала, когда ее поступками распоряжалась пресловутая Салли. С другой стороны, Салли отлично знала про мисс Бошан и беззастенчиво пользовалась этим знанием, чтобы ставить эту приличную даму в весьма неловкое положение. Доктор Мортон Принц, вооруженный современной теорией о подсознании и хорошо владеющий техникой гипноза, смог правильно сопоставить все эти факты и вернуть мисс Бошан психическое здоровье, избавив ее от синдрома раздвоения личности.

Случай с сестрой Иоанной от Ангелов очень похож на историю мисс Бошан. Время от времени монахиня устраивала себе «каникулы», как бы сбрасывая с себя всегдашнюю оболочку. Она происходила из добропорядочной семьи, занимала видное общественное положение, но это не мешало ей на время превращаться в дикую ведьму, сыпавшую кощунствами и непристойностями, и ведьма эта называла себя то Асмодеем, то Валаамом, то Левиафаном. Когда настоятельница приходила в себя, она не помнила, что с ней происходило во время помрачения. Таковы факты. Как же их объяснить?

Некоторые уверяли, что речь здесь идет о сознательном мошенничестве. Другие говорили о «меланхолии», нарушении душевного равновесия, которое приводит к помутнению рассудка. Те же, кого не устраивала ни одна из этих гипотез, делали иное заключение — в монахиню вселялись бесы. При тех концепциях, которые считались в ту эпоху неоспоримыми и верными, пожалуй, никакого иного вывода быть и не могло. Согласно христианской догме, душа, то есть сознательная, личностная часть человека, представляла собой неделимый и невидимый атом. Поэтому современная теория о раздвоении личности звучала бы

кощунственно. Если же в одном и том же теле вдруг поселялась не одна личность, а несколько, то, с точки зрения наших предков, это происходило не из-за расщепления сознания, а из-за того, что в человека вселялись злые духи — сверхъестественные существа которые, как это было установлено религией и наукой, заполнили вселенную.

Приведем еще один пример. Допустим, некий гипнотизер ввел гипнотизируемого в каталептическое состояние. Мы еще не очень хорошо себе представляем, какое именно воздействие гипноз оказывает на нервную систему человека. Но, по крайней мере, нам известно, что есть люди, легко поддающиеся гипнотическому воздействию.

Когда они находятся в этом состоянии, некая часть их подсознания способна воспринимать приказы, поступающие от гипнотизера. В Лудене, вероятно, происходило нечто вроде этого, однако непроизвольные действия монахинь воспринимались свидетелями как доказательство козней Сатаны. С точки зрения тогдашних представлений, могло быть только одно из двух: или монахини жульничали, или на них и в самом деле воздействовали сверхъестественные силы. Если прочесть сочинения Аристотеля, Блаженного Августина, Галена и всех ученых арабов, ни в одном из этих трудов вы не найдете упоминаний о подсознании. Для наших предков существовала только душа, с одной стороны, а вокруг нее — Бог, святые и великое множество добрых и злых духов. Наша концепция, предполагающая, что система человеческого сознания и подсознания весьма обширна и глубока, в ту пору не имела бы права на существование. Любые действия, произведенные под воздействием подсознательных сил, автоматически приписывались влиянию духов. Поэтому гипнотический транс мог объясняться только двумя причинами: или обманом, или одержимостью.

Молодой Томас Киллигрю присутствовал на одной из экзорцистских церемоний осенью 1635 года. Монах предложил англичанину дотронуться до конечностей монахинь, чтобы почувствовать, насколько они похожи на камень. Тем самым иностранец убедился бы во власти Врага рода человеческого, а также в еще большей власти Воинствующей Церкви, и, быть может, последовал примеру своего друга Уолтера Монтегю, который в прошлом году отрекся от своей еретической религии и перешел в католицизм. «Сказать по правде, — писал Киллигрю домой, — я не почувствовал никакого камня — а лишь твердую плоть и напряженные мускулы». (Обратим внимание на то, что монахинь совершенно перестали воспринимать как членов человеческого рода, имеющих хоть какое-то право на приватность или уважение. Святой отец проводивший церемонию,

вел себя точь-в-точь как ярмарочный зазывала: «Пожалуйте сюда, дамы и господа, не стесняйтесь! Кто не верит своим глазам, может пощупать руками — ущипните за ляжку эту толстуху, и вы убедитесь, что мы говорим совершеннейшую правду!» Таким образом, невесты Христовы превратились в нечто среднее между стриптизершами и ярмарочными уродами). «Однако прочие люди, — пишет Киллигрю, — говорили при мне, что тело монахини совершенно твердое и по весу тяжелее железа. Очевидно, эти люди более доверчивы, чем я, и потому более склонны к восприятию чуда». Здесь особенное значение имеет слово «чудо». Если тело монахини, одержимой бесами, представляется дотрагивающемуся до него необычайно твердым, то причина может быть только сверхъестественная. Любые другие объяснения исключаются.

Революция, произведенная Декартом, и внедрение более научного взгляда на человеческую природу, по сути дела, мало что изменили. Наоборот, в некоторых отношениях, люди стали придерживаться на свой счет еще менее реалистичных взглядов. О дьяволах больше никто не говорит, однако в то же время человечество почти совершенно перестало заниматься непонятными явлениями, которые прежде приписывались дьявольским силам. По крайней мере, экзорцисты былых времен не оспаривали существования транса, каталепсии, зомбирования и экстрасенсорного воздействия. Психологи постдекартовской эпохи были склонны считать все эти феномены чушью и вымыслом, или же, в лучшем случае, «работой воображения». Для людей науки «воображение» равносильно «иллюзии». Поэтому все явления, относящиеся к этой области (например, эксперименты, проводимые Месмером), лучше всего игнорировать. Декарт предпринял мощную попытку ввести представление о человеке в геометрические рамки, что безусловно в значительной степени прояснило общую картину. Однако, к сожалению, чрезмерная ясность картины, заставляет игнорировать кое-какие факты, имеющие огромное значение. Философы докартезианского периода относились к этим фактам серьезно, но, под воздействием господствовавших в то время психологических теорий, относили все непонятное к сфере воздействия сверхъестественных сил. Но сегодня мы живем в эпоху, когда можно, с одной стороны, признавать существование непонятного, а с другой обходиться без ссылок на дьявола. Мы можем воспринимать человеческий разум (как противоположность «духу», «чистому эго» или «Атману») совершенно иначе, чем это делали как Декарт, так и его предшественники. Ранние философы придерживались догматической уверенности в том, что душа неделима и бессмертна. Нам же ясно, что душа — категория сложная

и многосоставная. Она может быть разъята на элементы.

Не исключено, что душа способна жить и после смерти тела, принимая при этом какую-то иную форму. Бессмертие принадлежит не психике, а духу, с которым, впрочем, психика может и совпадать. Согласно Декарту, в основе разума находится сознание; разум и сознание вступают в контакт с телом человека, но не с разумом и сознанием другого существа. Докартезианские мыслители, вероятно, согласились бы здесь со всем кроме исходного положения. Для них сознание было основой рассудка, однако чувственная и растительная души к сфере сознательного, по их мнению, не относились. Декарт воспринимал человеческое тело как самоуправляемый автомат, поэтому ни в каких других разновидностях души он надобности не видел. Между сознательным «я» и тем, что можно назвать «физиологическим бессознательным», как нам теперь известно, существует обширная зона деятельности подсознания. Если мы признаем существование экстрасенсорного воздействия и психокинеза, то получается, что на подсознательном уровне человек может воздействовать как на сознание других людей, так и на материальные предметы. Непонятные явления, от которых отмахнулись Декарт и его последователи (те самые явления, что, по мнению предшественников Декарта, относились к сфере дьявольских сил), сегодня мы относим к области естественных возможностей человеческой психики, чья сила и чья слабость значительно превосходят нынешние научные представления.

Таким образом, современники луденского процесса — если, конечно, они не считали всю эту историю сплошным мошенничеством — должны были объяснять случившееся не иначе как колдовством и дьявольскими происками. Правда, нашлись и такие, кто старался объяснить поведение монахинь чисто физиологическими причинами. Соответственно предлагались и чисто физические методы терапии. Самые суровые из приверженцев этой теории советовали обратиться к помощи старого доброго средства, именуемого розгами. Тальман рассказывает, что маркиз де Кудре-Монпансье забрал у старательных экзорцистов двух своих дочерей, одолеваемых демонами, «стал их хорошо кормить и как следует пороть, после чего дьявол немедленно ретировался». Да и в Лудене, во всяком случае на поздней стадии экзорцизма, к кнуту прибегали нередко. Сурен пишет, что бесы, потешавшиеся над христианскими молитвами, при виде розги пускались наутек.

Во многих случаях старомодная розга, вероятно, выполняла роль современной шоковой терапии. Механизм действовал точно таким же образом: подсознание до такой степени пугалось физической боли, что

предпочитало отключить участок травмы, чтобы избежать наказания<sup>[55]</sup>. «Шоковая терапия» посредством порки применялась в случаях явного безумия вплоть до начала девятнадцатого века.

Сидел я в Бедламе,  
И плакал о маме,  
И розги хлестали по спинке.  
И цепи звенели,  
И по две недели  
Без маковой жил я росинки.  
Накушавшись лиха,  
Веду себя тихо  
И только скучаю по дому.  
От доброго сердца  
Хоть корочку хлебца  
Подайте вы бедному Тому.

Бедный Том был подданным королевы Елизаветы. Но и двести лет спустя, в правление Георга III, безумного короля, обе палаты английского парламента приняли законопроект, согласно которому придворные врачи имели право подвергать августейшего безумца порке.

Для обычного невроза или истеричности розга считалась авторитетным, но не единственным средством. Согласно существовавшим в то время медицинским теориям, эти недуги вызывались скоплением черной желчи. Роберт Бертон пишет:

«Гален находит причины всех этих недугов в холоде и черноте; он считает, что из-за сей болезни зачерняется дух, а мозговое вещество затуманивается и темнеет, так что все вокруг предстает в ужасном виде; что же до самого рассудка, то из-за дурного расположения духа происходит выделение темных и вредных паров, погружающих душу во тьму, страх и печаль». Аверроэс смеется над воззрениями Галена; столь же иронически к ним относился и Геркулес Саксонский. Однако «Элениус Монталтус, Лодовикус Меркатус, Алтомарус, Гинериус, Брайт, Лаурентиус Валезиус согласны с Галеном. *Все они считают, что нарушение температуры приводит к выделению черного сока, затемняющего дух, отчего проистекают страх и печаль.* Лаурентиус предполагает, что выделение черного пара более всего воздействует на диафрагму, а оттуда и на рассудок, который помутняется, подобно солнцу, закрытому облаком.



Почти все греческие и арабские авторы согласны с Галеном, равно как и авторы латинские. Подобно детям, боящимся темноты, люди, склонные к меланхолии, носят свой страх внутри себя. И неважно, откуда проистекают черные пары — то ли от черной крови, обретающейся в сердце (так утверждает иезуит Томас Райт, пишущий о страстях рассудка), то ли из желудка, диафрагмы либо какой другой части тела, — не суть важно. Главное, что черные пары помещают рассудок в темницу, истязают его там беспрестанными страхами, тревогами, печалью и прочими злыми чувствами».

Таким образом, с физиологической точки зрения душевная болезнь представлялась чем-то вроде дыма или тумана, причиной которого становится нездоровая кровь или некая утробная болезнь. «Черный пар» или непосредственно затемняет рассудок, или же закупоривает трубы (нервы в ту пору считались полыми трубками), по которым проистекают жизненные и животные соки организма.

При чтении средневековой научной литературы поражаешься странному смешению дичайшего супернатурализма с грубым и наивным материализмом, который отличается от современного материализма двумя важными особенностями. Во-первых, «материя», в трактовке старой теории не поддается точному измерению. Речь там все время идет о тепле и холоде, сухости и влаге, легкости и тяжести. Не предпринимается попыток передать эти характеристики при помощи каких-либо количественных мер. В представлении наших предков «материя» измерению не поддавалась, а стало быть, человек был не властен что-либо с ней сделать. А там, где ничего нельзя сделать, мало что можно и понять.

Второе отличие не менее существенно. С нашей точки зрения, «материя» находится в постоянном движении; сама ее суть заключается в движении. Все виды материи постоянно *чем-то* занимаются, при этом коллоиды, из которых состоят живые организмы, наиболее активны, однако их движения чудесным образом гармонируют друг с другом, поэтому процессы, происходящие в одной части тела, регулируются процессами, происходящими в других частях тела, и сами, в свою очередь, регулируют их, создавая баланс энергии. Для наших предков, живших во времена античности и в Средневековье, материя была субстанцией неподвижной и инертной, даже когда речь шла о живом теле. Если какое-то движение в нем и происходило, то лишь благодаря воздействию «растительной души» в растениях, «растительной» и «чувственной» душ в животных, а в человеке плюс к этому еще и «рациональной души». Физиологические процессы объяснялись не посредством химических терминов, поскольку такой науки

еще не существовало; не посредством электрических импульсов, ибо и электричество пока еще было неизвестно; не клеточной активностью, потому что микроскопов еще не изобрели и клетку не открыли — любые формы деятельности материи, составляющей ткани человеческого тела, объяснялись воздействием души. У души была функция роста, функция питания, функция выделений и всякие другие функции, соотнесенные с физиологическими процессами. Эта система как нельзя лучше устраивала философов, но когда люди пытались перейти от абстрактных понятий к природным явлениям, оказывалось, что теория «функций души» мало что объясняет.

Вульгарность средневекового материализма очевидна из метафор, использовавшихся в тогдашней литературе. Все физиологические факторы сравнивались с тем, что происходит на кухне, в плавильном котле, в уборной и так далее. Речь там постоянно шла о «варке», «кипении», «натяжении»; «очистке» и «вытяжке»; «очистительных парах» и «миазмах», поднимающихся из «выгребной ямы» и тому подобном. Довольно трудно представить себе работу человеческого организма, оперируя такими понятиями. Хорошими врачами становились те, кто от рождения обладал инстинктом целителя и не позволял теории слишком уж вмешиваться в практику; природа сама способна вершить чудеса целительства, если ей не мешать. В пространном сочинении Бертона, наряду со всякой ерундой и опасной нелепицей, содержится немало мудрых высказываний. Нелепицы в основном связаны с бытовавшими в то время научными теориями, а мудрые мысли почерпнуты у опытных и добрых практиков, относившихся с любовью к роду человеческому, искренне заботившихся о недужных и свято доверявших матушке-природе. Тем, кого интересует, как медики лечили болезнь под названием меланхолия, вне зависимости от того, объяснялась она естественными или сверхъестественными причинами, советую обратиться к абсурдной и очаровательной книге Бертона. Для нашей же истории достаточно заметить, что сестра Иоанна и прочие монахини во время всего расследования находились под постоянным наблюдением медиков. К сожалению, ни один из разумных методов, описанных Бертоном, к урсулинкам не применялся. Их не выводили на свежий воздух, не занимали работой, не назначали им целебную диету. Несчастных женщин мучили кровопусканиями и клистирами, без конца кормили всевозможными пилюлями и отварами. Эта терапия была настолько чудовищной, что некоторые из независимых врачей, осматривавших монахинь, пришли к выводу, что их болезненное состояние значительно ухудшилось из-за

чрезмерного рвения целителей. Монахиням все время давали огромные дозы сурьмы. Не исключено, что в этом и состояла главная причина их болезни.

(Чтобы оценить все историческое значение этого диагноза, нужно помнить о том, что ко времени описываемых событий медики уже третье поколение подряд вели затяжную битву из-за сурьмы. Еретические антигаленисты утверждали, что этот металл и его соединения представляет собой чудодейственное средство, пригодное для лечения любых болезней. Под воздействием консервативного большинства медиков парижский парламент издал эдикт, запрещающий пользование сурьмы на французской территории. Однако закон этот не соблюдался.

Полвека спустя близкий друг Грандье и самый знаменитый из луденских медиков Теофраст Ренодо с пылом пропагандировал несравненные достоинства сурьмы. Его младший современник Ги Патен, автор знаменитых «Писем», с не меньшей энергией отстаивал противоположную точку зрения. С позиций современной науки, получается, что правда здесь скорее была на стороне Патена, а не Ренодо и прочих антигаленистов. Некоторые соединения сурьмы действительно пригодны для лечения тропической болезни кала-азар. Однако в большинстве случаев использование этого металла не оправдывает побочных эффектов. Во всяком случае, никакими медицинскими резонами невозможно оправдать то широкое распространение, которое получила «сурьмяная терапия» в шестнадцатом и семнадцатом веках. Впрочем, экономические причины имелись в избытке. Мэтр Адам и его коллеги по аптекарскому цеху неплохо зарабатывали на продаже «магических пилюль». Это чудодейственное средство полагалось глотать в больших количествах. Проходя по пищеводному тракту, пилюли раздражали слизистую оболочку желудка и действовали как слабительное. Пилюлю называли «вечной», потому что после употребления ее следовало извлечь из ночного горшка, помыть, и она снова была как новенькая. Человек тратил деньги один раз, а потом пользовался замечательным средством всю свою жизнь. Доктор Патен клокотал от ярости, парижский парламент издавал свои эдикты, однако экономным французам идея «вечной пилюли» была слишком дорога, чтобы от нее отказаться. Бывали случаи, когда сурьмяные пилюли передавались по наследству из поколения в поколение).

Кстати уж заметим, что величайший из ранних антигаленистов, прославленный Парацельс тоже был энтузиастом сурьмы, оправдывая свою позицию следующим образом: «Сурьма очищает золото, освобождая его от примесей; точно таким же образом очищает она и человеческое тело».

Другая ложная аналогия, сравнивающая ремесло плавильщика с ремеслом лекаря и ремесло алхимика с ремеслом диетолога, привело человечество к другому заблуждению: что полезность пищи увеличивается пропорционально степени ее обработки. Поэтому белый хлеб полезнее черного, хорошо проваренный бульон полезнее простой пищи вроде мяса и овощей, и так далее. Считалось, что «грубая пища» приводит к тому, что люди, поглощающие ее, тоже грубеют. «Сыр, молоко и грубые лепешки, — писал Парацельс, — не пригодны для человека с тонкими понятиями». Лишь совсем недавно, всего одно поколение назад, с появлением витаминов, диетологи перестали уподоблять гастрономию алхимии.

Однако медицинская практика лечения «меланхолии» существовала как бы сама по себе, никоим образом не мешая людям, в том числе и докторам, свято верить в одержимость и дьявольские силы. Бертон пишет, что некоторые люди «смеются над подобными рассказами». Однако им возражают «большинство юристов, священников, врачей и философов». Бен-Джонсон в пьесе «Дьявол глуп как осел» оставил нам яркое описание ментальности семнадцатого века, в которой сосуществовали суеверие и скептицизм, вера в сверхъестественное (в особенности в то, что веры никак не заслуживает) и наивная гордость достижениями прикладной науки. Персонаж пьесы Фицдотрел пытается заниматься колдовством, мечтая встретиться с дьяволом, поскольку нечистой силе известны места, где спрятаны сокровища. Однако вера в магию и власть Сатаны сочетается у него со столь же непоколебимым доверием ко всяким псевдонаучным химерам, сомнительным изобретениям и авторам мошеннических «открытий». Фицдотрел говорит жене, что один из этих «изобретателей» разработал план, который способен принести восемнадцать миллионов фунтов стерлингов, а заодно и герцогский титул. Жена качает головой и советует мужу не верить «этим лживым духам». «Каким еще духам!» — восклицает Фицдотрел.

Не говори о духах, о жена!  
Нет духов никаких, есть только разум.  
Сей человек не верит в Сатану,  
Надеясь лишь на хитрые машины.  
Придумал он крылатый чудо-плут.  
Который, разгонясь под парусами,  
Вмиг сорок акров пашни перепашет  
И влагой все посеvy оросит.

Фицдотрел — фигура, конечно, комическая, но при этом весьма характерная для своей эпохи. Интеллектуальная жизнь в ту пору была поделена поровну между двумя мирами, естественным и сверхъестественным. Типично и то, что герой Бен Джонсона берет из обоих этих миров все самое худшее. Для человека неумного оккультизм и научное шарлатанство куда привлекательнее, чем вера в Божий дух и настоящую науку.

В книге Бертона, как и в нашей истории о луденских монахинях, сосуществование двух этих миров считается установленным фактом. С одной стороны, есть меланхолия, которую следует лечить установленным медициной образом. Однако колдовство и одержимость тоже существуют, вызывая болезни души и тела. Тут нет ничего удивительного, ибо «на небесах, в земле и пучине вод, а также в толще почвы нет ни дюйма пустого пространства. Воздух наполнен невидимыми дьяволами куда более, чем летний воздух мухами; Парацельс подтверждает нам это, а надо еще и помнить, что каждый из дьяволов влачит за собой хаос, да не один, а несколько». Количество духов, по Бертону, не поддается исчислению, «ибо верно говорят некоторые из наших математиков: если бы со звезд или из восьмой небесной сферы упал камень и пролетал бы в час по сто миль, то ему понадобилось бы шестьдесят пять лет, а то и больше, прежде чем он достиг бы земли, так как небо от земли отделено огромным расстоянием, равным, как утверждают некоторые, ста семидесяти миллионам восьмистам трем милям... Сколько же духов может обитать на этих просторах?» При таком взгляде на мироздание, удивляться вмешательству дьяволов в человеческую жизнь не приходилось — наоборот странно было, что хоть кому-то удастся прожить свою жизнь, не попав во власть демонов.

## II

Как мы видим, влияние гипотезы о дьявольской одержимости находится в прямой зависимости от недостаточного развития физиологической науки (еще не открывшей клеточную структуру и химические процессы в организме), а также психологии, не научившейся разбираться в работе подсознания. Вера в одержимость, некогда распространенная повсеместно, в настоящее время сохранилась лишь у римских католиков и спиритистов. Последние объясняют некоторые явления, происходящие во время спиритического сеанса, тем, что в тело медиума на время вселяется душа умершего человека. Католики отвергают существование «блуждающих душ», однако объясняют некоторые случаи психического и физического недуга воздействием дьявольских сил.

Собственно говоря, в самой идее одержимости ничего абсурдного нет. От этой концепции нельзя отказаться априори, ссылаясь лишь на то, что она — «пережиток древних суеверий». Давайте рассматривать ее как обычную гипотезу, применимую в тех случаях, когда другие объяснения являются неудовлетворительными. В наши дни современные экзорцисты признают, что в большинстве случаев одержимость — это вид истерии, которую лучше всего лечить обычными психиатрическими методами. Но в некоторых случаях экзорцисты находят признаки сверхъестественного вмешательства и говорят о том, что необходимо «изгнать злого духа».

Спиритический медиум, говорящий устами некоего бесплотного духа, или, как его еще называют, «психического фактора» умершего человека, тоже стал аргументом, при помощи которого пытались объяснить явления, казавшиеся непостижимыми. Самые ранние свидетельства такого рода исследований содержатся в книге Ф. Майеса «Человеческая личность и жизнь за пределами телесной смерти»; одна из недавних работ этого рода — книга Дж. Тирелла «Личность человека».

Профессор Остеррайх, подробнейшим образом исследовавший эту тему в своей книге «Одержимые», пишет, что вера в демонов стала резко ослабевать в девятнадцатом веке, но вместо нее утвердилась концепция «бродячих духов». Таким образом, если раньше невротики приписывали свою психическую болезнь воздействию демонов, то теперь они стали винить во всем души умерших злодеев. По мере развития технологии концепция одержимости приобрела новые формы. Теперь невротики часто жалуются, что на их волю воздействуют радиоволны, посылаемые какими-

то недоброжелателями.

В семнадцатом веке радио еще не было и до «блуждающих духов» пока никто не додумался. Бертон высказывает суждение, что дьяволы — это души умерших злодеев, однако тут же говорит, что это предположение «абсурдно». Для него одержимость — очевидный факт, и ответственность за него несут дьяволы. (Для Майерса, писавшего два с половиной века спустя, одержимость тоже была фактом, но ответственность за нее несли уже не дьяволы, а души мертвых).

Существуют ли дьяволы? Если да, то они ли вселились в сестру Иоанну и ее монахинь? Точно так же, как в вопросе об одержимости, я не вижу ничего абсурдного в том, что на свете могут существовать некие духи нечеловеческого происхождения — добрые, злые, а может быть, и безразличные. С чего мы, собственно, взяли, что во вселенной не существует другого разума, кроме человеческого? Если считать, что ясновидение, телепатия и дар предвидения — не вымысел, а факт (сомневаться в реальности этих явлений довольно трудно), тогда придется допустить, что существуют некие мыслительные процессы, мало зависящие от пространства, времени и материи. Стало быть, нет никаких причин отрицать, что помимо нас могут существовать и иные формы разумной деятельности, то ли бесплотные, то ли связанные с некой разновидностью космической энергии, которую мы пока распознавать не научились. (Мы ведь до сих пор не знаем, каким именно образом наш разум связан со сложным сгустком энергии, который мы называем «человеческим телом». Какая-то связь безусловно существует, но как происходит преобразование физической энергии в мыслительную, а мыслительной в физическую, до сих пор неясно).

В христианской религии вплоть до недавних времен дьяволы играли очень важную роль, причем с самых первых лет существования христианства. Как пишет отец А. Лефевр, «в Ветхом Завете дьяволу уделяется очень мало места, его империя еще не раскрыта; но в Новом Завете он уже оказывается предводителем соединенных сил зла». В современных переводах «Отче наш» мы просим Всевышнего избавить нас от зла: «и не введи нас во искушение, но избави нас от Лукавого».

По теории и теологическому определению христианство относится к манихейским верованиям. Для христианина зло нематериально, оно не относится к числу реальных элементарных принципов. Зло — это отсутствие добра, вырождение ведущих свое происхождение от Бога. Сатана — это не Ариман, принявший новое имя, не принцип вечной Тьмы, сражающихся с принципом вечного Света. Сатана — всего лишь самый

приметный из огромного количества ангелов, в разное время отделившихся от Господа. Только из почтения мы называем его Царем Тьмы. У тьмы много царьков, и Сатана — всего лишь самый главный из них. Дьяволы, бесы — это личности, каждая из которых обладает своим характером, темпераментом, чувством юмора, симпатиями и антипатиями. Есть властолюбивые дьяволы, похотливые дьяволы, алчные дьяволы, гордые дьяволы, самодовольные дьяволы. Более того, одни из них занимают более видное положение, чем другие, ибо, даже низвергнувшись в ад, они сохранили иерархию, существовавшую на небесах. Те, кто в Царствии Божием были простыми ангелами или архангелами, становятся бесами низшего порядка. Те же, что были Властителями или Князьями Силы, превращаются в аристократию Преисподней. Таковы, например, падшие херувимы и серафимы, обладающие огромной силой и способные физически воздействовать на окружающую среду (во всяком случае, так говорит об Асмодее отец Сурен) на расстояние в тридцать лиг. По меньшей мере один из теологов семнадцатого столетия, отец Лудовико Синистрари, утверждал, что в людей могут вселяться не только бесы, но также (и довольно часто) безобидные духи: фавны, нимфы, древние сатиры, гоблины, а также существа, которых мы сегодня называем полтергейстами. Согласно Синистрари, большинство инкубов и суккубов — самые обычные существа, мало чем отличающиеся от каких-нибудь стрекоз или кузнечиков. К сожалению, в Лудене у этой добродушной теории сторонников не нашлось. Все похотливые фантазии монахинь были устремлены исключительно к Сатане и его посланцам.

Повторяю, теологи очень бдительно охраняли христианство от манихейского дуализма. Однако многие из христиан часто вели себя так, словно дьявол был равноправным соперником Господа. Эти люди гораздо больше интересовались злом и избавлением от него, чем добром и сотворением добра. Опасная штука — слишком углубляться в изучение зла. Те, кто отправляется в крестовый поход не ради Бога, а против дьявола (причем, как правило, обретающегося не в них самих, а в других людях), не способны улучшить наш мир. Они или оставляют его таким же, каков он есть, или же умудряются сделать его еще хуже. Устремляя свои помыслы к злу, человек, даже руководствующийся самыми похвальными намерениями, нередко способствует тому, чтобы зла в мире стало больше.

Христианская религия, очень часто впадая в манихейство на практике, всячески открепщивалась от него в догмах. В этом смысле христианство отличается от современных религий вроде коммунизма или национализма, являющихся манихейскими не только по способу действий, но и по теории.



Сегодня все уверены, что наши воюют за дело Света, а те — за дело Тьмы. Поскольку они — слуги тьмы, их нужно покарать и уничтожить (ведь наша божественная природа оправдывает любые жестокости), причем не ограничивая себя в средствах. Людям двадцатого века свойственно идолопоклонствовать перед собственной правдой, а противников считать слугами Аримана, владыки Зла. Собственно говоря, тем же самым, только в гораздо меньших масштабах, занимались и луденские экзорцисты. Они идолопоклонствовали перед политическими интересами своего клана и сражались со Злом по мере своего разумения. В результате тот самый Сатана, с которым они воевали, одержал несомненную победу — к счастью, временную и ограниченную пределами одного городка.

Для нашей книги неважно, существуют или не существуют во вселенной интеллекты нечеловеческого происхождения и могут ли они вселяться в тела людей. Единственный вопрос, который для нас существует, звучит так: если бы подобные явления существовали в действительности, можно ли предположить, что именно они имели место в Лудене? Современные историки-католики в один голос утверждают, что Грандье был неповинен в преступлении, за которое его судили и казнили. Но некоторые из них (в частности, их цитирует аббат Бремон в своей «Литературной истории религиозного чувства во Франции») до сих пор уверены в том, что урсулиники стали жертвами бесов. Невозможно понять, как могут исследователи, знакомые с документацией судебного процесса и хоть немного разбирающиеся в абнормальной психологии, утверждать подобное. В поведении монахинь не было ничего такого, что выходило бы за рамки обычной истерии, которую с успехом лечит современная психиатрия. Нет никаких доказательств того, что кто-то из урсулинок обладал сверхъестественными способностями, которые, по учению римской католической церкви, являются признаком действия дьявольских сил.

Как отличить истинную одержимость от мошенничества или симптомов болезни? Церковь предусматривает четыре испытания: языковое испытание, испытание на сверхъестественную физическую силу, испытание на левитацию, а также испытание на ясновидение и предвидение. Если человек, находясь во власти демонов, может говорить на языках, которыми в обычной жизни не владеет, — это доказательство одержимости. Если человек способен подниматься в воздух или по временам обладает сказочной мощью — это доказательство одержимости. Наконец, если человек правильно предсказывает будущее и описывает события, происходящие на значительном отдалении от него — вердикт тот

же. (С другой стороны, столь же резонно было бы предположить, что этими сверхъестественными способностями человека наделяет не злая, а Божественная сила. К сожалению, чудеса, как Божественного, так и дьявольского происхождения, в своих проявлениях выглядят одинаково. Святые угодники, поднимающиеся в воздух, ничем не отличаются от одержимых, способных отрывать от земли, — а если и отличаются, то не этим действием, а нравственной составляющей своего поведения. Бывает не так-то просто определить, какими мотивами руководствуется человек — благими или дьявольскими. Не раз случалось, что святых чудотворцев, обладающих даром телекинеза и иными экстрасенсорными способностями, современники обвиняли в сатанизме).

Таковы официальные, освященные временем критерии «бесовской одержимости». Для нас, людей современных, явления, связанные с экстрасенсорными способностями и телекинезом, доказывают лишь то, что прежние представления об автономности души несостоятельны. За пределами нашего сознания находится обширная сфера подсознательного, причем иногда подсознание бывает лучше и умнее, а иногда хуже и глупее нас. Где-то на самых краях подсознания начинается зона слияния души с внешней психической средой, через которую все человеческие души могут общаться друг с другом и с вселенским Разумом. Там же, на одном из уровней подсознания, разум контактирует с энергией, направляя ее поток не только внутрь собственного тела, но и за его пределы (что подтверждается многочисленными свидетельствами и статистическими данными). Психологическая наука прежних времен, как мы видели, в силу своей догматичности, игнорировала работу подсознания и, сталкиваясь с необъяснимыми феноменами, списывала все на происки Нечистого.

Давайте на миг поставим себя на место экзорцистов и их современников. Предположим, что догма о «бесовской одержимости» для нас несомненна, и попробуем с этой точки зрения рассмотреть, можно ли считать луденских урсулинок одержимыми, а приходского кюре колдуном. Начнем с испытания, которое произвести легче всего (на практике именно к нему обычно и прибегали) — глаголение на незнакомых языках.

Для христиан прежних времен «дар языков» — особая милость Святого Духа, но в то же время (так уж устроено мироздание) верный симптом дьявольского наущения. В большинстве случаев так называемая глоссолалия не означает свободного изъяснения на незнакомом языке. Обычно это более или менее членораздельный поток речи, в чем-то напоминающий связный монолог, который, при доброжелательном отношении может быть интерпретирован тем или иным образом. Если же

происходили случаи, когда человек вдруг начинал хорошо говорить на языке, прежде ему не известном, то в ходе исследования непременно оказывалось, что в далеком детстве он знал этот язык, а потом забыл — или же обладает феноменальной памятью и может в точности воспроизвести сочетание звуков незнакомой ему речи. Во всех прочих случаях, по словам Ф. Майерса «существует очень мало достоверных свидетельств того, что человек может получать некий запас интеллектуальной информации, будь то знание иностранного языка или, допустим, математики, без специального изучения (если не считать телепатических сеансов)». В свете того, что известно современной психологии, в том числе исследований спиритизма и «медиумного письма», представляется маловероятным, что кто-то из «одержимых» мог выдержать испытание на глоссолалию, не возбудив при этом никаких сомнений. Существует множество письменных свидетельств, зарегистрировавших неудачи на этом поприще, а так называемые позитивные результаты в большинстве случаев выглядят неубедительно. Иногда церковные следователи выказывали незаурядную изобретательность, разоблачая шарлатанов. Например, в 1598 году некая Марта Бросье прославилась как жертва одержимости. Одним из симптомов (самым что ни на есть традиционным и ортодоксальным) были припадки конвульсий, в которые Марта впадала всякий раз, когда при ней произносили молитвы на латыни. Как известно, дьяволы ненавидят Бога и Божью церковь, поэтому всякий раз, когда при них читают священные слова из Библии или молитвенника, у бесов начинаются судороги. Чтобы проверить, действительно ли эта неграмотная женщина знает латынь, епископ Орлеанский стал читать при ней весьма скабрёзный пассаж из Петрония. Эффект был поистине магический. Не успела отзвучать первая же латинская фраза, как Марта покатила по полу, проклиная прелата за то, что он мучает ее священными словами. Примечательно, что этот конфуз не помешал Марте и дальше делать карьеру в качестве одержимой. Она сбежала от епископа и перешла под покровительство капуцинов, которые объявили ее жертвой неправых гонений и собирали немалые толпы на церемонии экзорцизма.

Насколько мне известно, «тест по Петронию» к луденским урсулинкам не применялся. Правда, один из заезжих аристократов провел такой эксперимент: он дал экзорцисту шкатулку, сказав, что в ней находятся священные реликвии. Монах приложил шкатулку к голове одной из монахинь, и та сразу же задергалась от невыносимой боли. В восторге простодушный экзорцист вернул шкатулку владельцу, а тот немедленно продемонстрировал присутствующим, что никаких реликвий в ней нет.

Шкатулка была пуста. «Ах, сударь, зачем же вы сыграли с нами эту шутку?» — вскричал возмущенный экзорцист. «Пресвятой отец, — ответил дворянин, — по-моему, это вы изволите шутить, а не я».

В Лудене испытания на глоссолалию применялись, однако без результата. Вот описание эпизода, которое приводит де Нион, твердо веривший в одержимость монахинь. Епископ Нимский, говоря по-гречески, повелел сестре Клэр подать ему четки и прочесть молитву Богородице. Сестра Клэр сначала принесла ему булавку, потом еще что-то, но видя, что епископ недоволен, сказала: «Я вижу, вы хотите от меня чего-то другого». И в конце концов все-таки принесла четки и прочла нужную молитву. Де Нион называет это событие настоящим чудом.

В большинстве случаев чудеса выглядели еще менее убедительно. Все монахини, которые не знали латыни, почему-то стали жертвой демонов, которые тоже не говорили на этом языке. Чтобы объяснить сей странный факт, один из францисканцев во время проповеди объявил, что бесы, оказывается, бывают как образованные, так и необразованные. В Лудене образованные бесы выбрали только мать-настоятельницу. Но и у этих образованных бесов с латинской грамматикой было не все в порядке. Вот часть протокола дознания, проведенного в присутствии господина де Серизе 24 ноября 1632 года:

Отец Барре вопрошает дьявола: «Quen adorasly<sup>[56]</sup>?»

Ответ: «Jesús Christus<sup>[57]</sup>».

Далее господин Даниэл Дрюэн, судебный асессор громко говорит: «Дьявол говорит что-то не то».

Тогда экзорцист меняет вопрос: «Quis est iste quen adoras<sup>[58]</sup>?»

Она отвечает: «Jesu Christi<sup>[59]</sup>».

Несколько присутствующих восклицают: «Это неправильная латынь!»

Экзорцист говорит на это, что они не расслышали и мать-настоятельница сказала: «Adoro te, Jesu Christes<sup>[60]</sup>».

Потом вбежала монахиня малого роста, громко хохоча и крича: «Грандье, Грандье!»

Далее вошла послушница Клэр, издавая «лошадиное ржание».

Бедная Иоанна! Она недостаточно хорошо знала латынь, чтобы

разобраться во всех мудреных падежах. Старалась изо всех сил, а они еще были недовольны!

Тем временем господин де Серизе объявил, что охотно поверит в истинность одержимости, «если вышеозначенная настоятельница ответит на несколько его вопросов». Вопросы были заданы, однако остались без ответа. Вконец растерявшаяся Иоанна спаслась от неприятности при помощи судорог и истошных воплей.

На следующий день после этого малоубедительного спектакля отец Барре отправился к главному магистрату и принялся уверять его, что действует из исключительно чистых намерений, оставаясь совершенно беспристрастным и далеким от злого умысла. Надев камилавку, он стал клясться, что ему и в голову не пришло бы прибегать к ухищрениям, обману или понуждению в столь важном деле. Когда Барре договорил, вперед вышел приор кармелитов и сделал точно такое же заявление; он возложил на голову дароносицу и призвал на свою голову проклятья Дафана и Авирама, если в чем-то согрешил или покривил душой. Возможно, Барре и приор были искренними фанатиками, не понимавшими всю чудовищность своих действий, а потому произносившими свои клятвы с чистым сердцем. Отметим, что каноник Миньон предпочел ничего на голову не возлагать и никаких проклятий на себя не призывать.

Среди знатных англичан, посетивших Луден в годы борьбы с бесами, был юный Джон Мейтленд, впоследствии герцог Лодердейл. Отец рассказывал ему о шотландской крестьянке, в которую вселился дьявол, исправлявший неправильную латынь пресвитерианского священника. Молодой человек прибыл в Луден, нисколько не сомневаясь в правдивости подобных историй. Он хотел еще больше укрепиться в своей вере, посмотрев на жертв дьявола. Для этого Мейтленд дважды ездил на континент — один раз в Антверпен, другой раз — в Луден, и в обоих случаях, увы, остался разочарован. В Антверпене «я видел дебелых голландских девок, преотвратно рыгавших при свершении обряда экзорцизма». В Лудене спектакль был повеселее, но убедительностью тоже не отличался. «Я три или четыре раза присутствовал в часовне при изгнании бесов, но видел там лишь распутных девок, певших по-французски похабные песни. Поэтому я заподозрил, что все это мошенничество». Он пожаловался иезуиту, который похвалил юношу за «священное любопытство» и посоветовал придти вечером в приходскую церковь, ибо там он увидит все, о чем мечтает. «В приходской церкви было множество зевак и некая девица, прекрасно обученная всяким трюкам, однако мне приходилось видеть циркачек и половчее. Когда я вернулся в

часовню, иезуиты все еще трудились в поте лица сразу у нескольких алтарей. Один бедный капуцин вызвал у меня жалость, потому что ему взбрело в голову, что вокруг него носятся демоны, и потому бедолага постоянно хватался за священные реликвии. Видел я, как изгоняют бесов из матери-настоятельницы. Потом на ее руке, якобы чудодейственным образом, возникли имена Иисуса, Марии и Иосифа, однако я видел, что буквы эти нанесены фосфорическим карандашом. Потом мое терпение лопнуло, я подошел к иезуиту и сказал все, что об этом думал. Он, однако, стоял на своем, и тогда я предложил устроить бесам испытание чужим языком. „Каким языком?“ — спросил он. Я ответил: „Не скажу, но уверен, что эти дьяволы меня не поймут“. <sup>[61]</sup> Тогда иезуит спросил меня, приму ли я католичество, если бесы выдержат испытание (он уже знал, что я не папист). Я сказал ему: „Я говорил не к этому, да и все дьяволы ада не заставят меня отступить от веры. Вопрос же состоит в том, действительно ли эти женщины одержимы. Если испытание на знание чужих языков будет выдержано, я публично признаю вашу правоту“. На это он сказал: „Эти дьяволы не странствовали за моря“. Я громко расхохотался».

Итак, согласно францисканскому монаху, бесы были необразованны; согласно иезуиту, они не странствовали за моря. Такие объяснения выглядели весьма неуклюже. Поэтому монахи и экзорцисты придумали несколько новых, с их точки зрения, более убедительных объяснений. Если бесы не говорили по-гречески или по-древнееврейски, то во всем виноват Грандье, заключивший с ними особое соглашение, согласно которому им запрещалось говорить на этих языках. Получилось тоже не очень складно, поэтому возник более веский довод: оказывается, Господу неуютно, чтобы именно эти бесы обладали даром языков. *Deus non vult*<sup>[62]</sup> — или, как говорила сестра Иоанна на своей ломаной латыни: *Deus pop volo*<sup>[63]</sup>. Эта ошибка, разумеется, объяснялась плохим знанием языка, однако на подсознательном уровне наши оговорки часто имеют особый смысл. Слова *Deus non volo* можно перевести как «Я, Господь, не хочу», что, вероятно, и соответствовало истинным помыслам Иоанны.

Испытания на ясновидение, судя по всему, оказались столь же провальными. Например, де Серизе устроил так, что Грандье оказался в доме одного из духовных лиц, после чего главный магистрат отправился в монастырь и во время экзорцизма спросил у матери-настоятельницы, где сейчас находится кюре. Сестра Иоанна, не подозревая подвоха, сказала, что Грандье находится в замке.

В другой раз один из бесов, вселившихся в настоятельницу, объявил, что только недавно вернулся из Парижа, поскольку ему нужно было сопроводить в Преисподнюю душу недавно преставившегося парламентского прокурора, некоего мэтра Пруста. Когда навели справки, оказалось, что прокурора по имени Пруст в парижском парламенте никогда не было, да и вообще в тот день никто из прокуроров не умирал.

Позднее, уже во время процесса, другой бес устами сестры Иоанны поклялся на Святом Причастии, что колдовские книги Грандье хранятся в доме Мадлен де Бру. Там устроили обыск. Колдовских книг не нашли, но Мадлен была испугана, унижена и оскорблена — а именно этого, судя по всему, настоятельница и хотела.

Излагая всю эту историю, отец Сурен признает, что монахини частенько проваливались на испытаниях, устраиваемых заезжими инспекторами, а также на показательных экзорцизмах для публики. Многие из иезуитов так и не признали, что поведение монахинь объясняется сверхъестественными причинами, а не просто истерикой и бешенством матки. Сурен пишет, что все эти скептики приезжали в Луден, однако надолго там не задерживались. Для того же, чтобы узреть дух зла в действии, нужно стеречь его денно и нощно, месяц за месяцем. Например, Сурен утверждает, что сестра Иоанна многократно произносила вслух его собственные мысли. Хотя, вообще-то, ничего удивительного в этом нет. Гиперчувствительная истеричка, какой являлась Иоанна, провела в самом тесном общении со своим духовным наставником почти три года. Нет ничего странного, что меж ними наладилась своего рода телепатическая связь. Доктор Эренвальд и другие исследователи обнаружили, что подобный контакт нередко возникает между врачом и пациентом в ходе психоаналитических сеансов. А надо думать, что отношения между монахинями и экзорцистами были куда ближе и интимнее, чем у врача с невротиком. К тому же, в данном случае, в экзорциста вселились те же самые дьяволы, что мучили его подопечную.

Во всяком случае, Сурен был уверен, что настоятельница проникает в его мысли. А всякий, кто способен на такое, по определению наделен либо дьявольской силой, либо божественной. Представление о том, что экстрасенсорные возможности являются природным фактором, которым потенциально обладают многие, а некоторые умеют и активно им пользоваться, отцу Сурену в голову не приходило, как, впрочем, и всем его современникам. Для них существовало только две возможности: или телепатия и ясновидение — химера и вымысел; или же они существуют, но тогда являются наущением духов, то ли злых, то ли добрых. Сурен

отклонился от ортодоксальных взглядов лишь в одном: он считал, что бесы могут читать человеческие мысли напрямую, в то время как теологические авторитеты говорили лишь о непрямом чтении мыслей, ибо бесы, обладая особенной наблюдательностью, умеют истолковывать язык телодвижений.

В трактате «Malleus Maleficarum» утверждается, со ссылкой на самых авторитетных ученых, что дьяволы не могут подчинять себе волю и разум человека, а лишь его тело и телесные функции. Во многих случаях дьяволы неспособны даже осваивать тело целиком, а вселяются в некую его часть — какой-нибудь внутренний орган, мышцу или кости. Пилле де ла Меснардье, один из личных врачей кардинала Ришелье, записал имена и места обитания всех бесов, участвовавших в луденском нашествии. Левиафан, например, поселился во лбу настоятельницы; Бехерит — в ее желудке; Валаам — во втором правом ребре; Исака-арон — под последним левым ребром. Эзаз и Карон жили соответственно под сердцем и в середине лба сестры Луизы от Иисуса. У сестры Агнесы де ла Мотт-Барасе под сердцем угнезвился Асмодей, а Бехерит — в желудке. В теле сестры Клэр де Сазийи разместилось сразу семь бесов: Завулон — во лбу; Нефтали — в правой руке; Сан-Фен, иногда называющий себя именем Грандье, — под вторым правым ребром; Элими — сбоку утробы; Враг Дев — в шее; Веррин — в левом виске, а Коикуписанс, носящий херувимское звание, — в левом ребре. У сестры Серафики пострадал живот, где в капле влаги прятался то Барух, то, во время его отсутствия, Карро. Сестра Анна д'Эскубло жила с заколдованным листиком, что затаился у нее в животе; листиком ведал бес Элими, который в то же время приглядывал за пурпурной маслинкой, застрявшей во внутренностях у ее сестры. Послушница Элизабет Бланшзр носила по демону под каждой подмышкой, а еще один, назвавший себя Уголь Порока, спрятался в ее левой ягодице. Другие монахини приютили бесов кто ниже пупка, кто под сердцем, кто под левой грудью. У Франсуазы Филатро в передней части мозга поселились сразу четыре демона, причем Иавель бродил по всему ее телу, Буффетисон ограничивался окрестностями пупа. Собачий Хвост, носитель архангельского звания, гулял по животу, а в голове царствовал Гиннильон.

Бесы делали вылазки из их многочисленных убежищ, произвольно распоряжаясь настроением, душевным состоянием, чувствами и фантазиями своих жертв. Хотя им, демонам, человеческая душа была и неподвластна, но косвенно они все же могли на нее влиять. Однако воля человека свободна, а над разумением человека властен только Всевышний. Вот почему одержимый не может проникать в мысли другого человека напрямую. Если иногда может показаться, что дьявол обладает



экстрасенсорными способностями, то это иллюзия — на самом деле нечистый просто умен и прозорлив, он умеет правильно истолковывать малейшие движения.

Вполне возможно, что в Лудене экстрасенсорные явления действительно имели место (Сурен, во всяком случае, в этом не сомневался). Но если это и происходило, то вовсе необязательно во время испытаний, при которых присутствовали инспекторы или врачи. Однако церковь учила, что экзорцист может подчинять бесов своей воле. Если ничего не получалось и монахини не выказывали никаких сверхъестественных способностей, значит, по теории, никакой одержимости не было. К несчастью для Грандье (да и для всех остальных участников этой истории), игра здесь велась нечестно.

Рассмотрев ментальные критерии одержимости, перейдем теперь к физическим. Сестра Иоанна с самого начала заявила, что ее бесы заключили с Грандье соглашение, одна из статей которого запрещала им парить в воздухе. Если же кто-то из зевак хотел посмотреть на левитацию, то сие любопытство греховно и богопротивно. Сама Иоанна никогда не утверждала, что может летать, однако некоторые из монахинь заявили господину де Ниону, что несколько раз видели, «как мать-настоятельница приподнимается над полом и висит в пространстве примерно в двадцати четырех дюймах от земли». Де Нион был человеком честным, и если заблуждался, то ненамеренно. Это лишний раз подтверждает, что к свидетельствам людей искренне верующих нужно относиться с известной осторожностью.

Иные урсулилки были менее осмотрительны, чем Иоанна. В начале мая 1634 года дьявол Эзас пообещал сестре Луизе от Иисуса, что поднимет ее на три фута в воздух. Не желая отставать, демон Цербер предложил сделать то же самое для сестры Екатерины от Успения. Увы, ни одной из этих юных особ подняться в воздух так и не удалось. Несколько позже Бехерит, живший в чреве сестры Агнессы де ла Мотт Барасе, поклялся, что сорвет с головы Лобардемона шапочку и закинет ее на крышу часовни. Посмотреть на это чудо собралась целая толпа.

Увы, шапочка осталась на голове у барона. После этого на эксперименты с левитацией был наложен запрет. Испытания на сверхъестественную силу проводил доктор Марк Дункан, шотландский врач, возглавлявший протестантский коллеж в Сомюре. Схватив за руки одну из монахинь, он с легкостью справился с женщиной, которая не смогла его ударить, сколько ни пыталась. После столь унижительного свидетельства бесовской слабости экзорцисты ограничились участием

посторонних в экспериментах сованием пальцев в рот монахинь. Тут бесы действовали исправно, сразу хватая свидетелей зубами. Дункан и остальные отказались от такого удовольствия, поэтому все прочие уверились в правоте экзорцистов.

Таким образом, если доказательством бесовской одержимости являются экстрасенсорные способности и телекинез, то получается, что луденские урсулинки были просто истеричками, попавшими под влияние суеверных и жадных до славы монахов, некоторые из которых были мошенниками или сводили личные счета.

В отсутствие явных доказательств, экзорцистам пришлось опираться на менее убедительные аргументы. Например, такой: монахини безусловно одержимы бесами, иначе чем объяснить бесстыдство их поведения, а также непристойность их речи. «Среди каких распутников и атеистов обучались они всем этим кощунствам и мерзостям?» — вопрошает отец Транкиль. Де Нион, чуть ли не бахвалясь, уверяет нас, что добрые сестры «использовали выражения настолько грязные, что они вогнали бы в краску любого распутника, а поступки этих дев, обнажавшихся самым срамным образом и призывавших свидетелей ко всяким непотребствам, заставили бы устыдиться обительниц любого борделя<sup>[64]</sup>». Что же до божбы и кощунств, то «они были столь чудовищны, что нормальному человеческому рассудку до такого додуматься мудрено».

Какая трогательная наивность! Давно известно, что человеческий мозг способен додуматься до чего угодно. Офелия говорит: «Мы знаем, кто мы есть, но кто знает, кем мы можем стать?» Да, любой из нас способен почти на любые поступки. Это относится даже к людям, воспитанным в самых строгих правилах. Так называемый закон индукции распространяется на всю нервно-мозговую деятельность. Любое сильное чувство сопровождается своим антиподом. На всякий позитив находится соответствующий негатив. Когда мы видим что-то красное, вокруг возникает зеленый ореол. Когда задействована некая группа мышц, автоматически реагирует и противоположная. На высших уровнях мозговой деятельности мы сталкиваемся с тем, что ненависть часто сопровождается любовью, а презрение — уважением и даже страхом. Процессы индукции имеют двустороннюю направленность.

Сестра Иоанна и прочие монахини с детства воспитывались в целомудрии и благочестии. Однако именно поэтому в их психике не могли не угнестись святотатство и непристойность. (В религиозной литературе содержится множество упоминаний о чудовищных искушениях против веры и целомудрия, которым подвергаются ищущие духовного

совершенства. Мудрые наставники указывают, что такие соблазны — естественная и даже неизбежная принадлежность духовной жизни, поэтому нельзя впадать из-за них в отчаяние<sup>[65]</sup>). В обычном состоянии человек подавляет в себе подобные негативные мысли и чувства, не позволяя им проявиться в словах или действиях. Но настоятельница, ослабленная психической болезнью и развращенная своими необузданными, запретными фантазиями, утратила власть над своими эмоциями. Истерическое поведение заразительно, поэтому примеру Иоанны последовали другие монахини. Вскоре весь монастырь впал в вакханалию истерических припадков, богохульств и непристойностей. Экзорцисты же, нуждавшиеся в рекламе своих монашеских орденов и церкви в целом, поспешили воспользоваться болезненным состоянием монахинь, чтобы всемерно раздуть скандал, а заодно и погубить ненавистного Грандье. Монахинь заставляли демонстрировать свои припадки при публике, поощряли святотатственные выкрики и похабство, ибо это всегда возбуждало зрителей. Мы уже знаем, что вначале настоятельница не верила в собственную одержимость. Лишь после того, как духовник и прочие экзорцисты уверили ее, что она сталаместилищем дьяволов, сестра Иоанна поверила святым отцам и стала вести себя так, как положено одержимой. То же самое произошло и с некоторыми другими монахинями. Из памфлета, опубликованного в 1634 году, нам известно, что сестра Агнесса во время экзорцизма не раз заявляла, что в ней нет никаких бесов, однако монахини настаивали на своем. 26 июня прошлого года экзорцист по ошибке уронил горящую серу на губу сестре Клэр, и бедная девушка, разрыдавшись, воскликнула: «Мне говорили, что я одержима, и я поверила, но это еще не значит, что со мной можно обращаться подобным образом!»

То, что начиналось как простая истерика, при содействии Миньона, Барре, Транкиля и остальных, превратилось в грандиозное шоу. Многие из современников понимали это. «Предположим, здесь нет мошенничества, — пишет автор упомянутого выше анонимного памфлета. — Но следует ли из этого, что монахини действительно одержимы? А может быть, поддавшись глупости и игре воображения, они выдумали свою одержимость?» Далее автор пишет, что такое происходит вследствие трех причин. Во-первых, монахини слишком много постятся, слишком много размышляют об аде и Сатане. Во-вторых, толчок воображению нередко дает духовник, уверяющий своих подопечных, что их искушают дьяволы. И в-третьих, когда духовник видит, что монахини ведут себя странно, то по своему невежеству может вообразить, будто они околдованы, а затем немедленно убеждает в том же самом и своих духовных дочерей. Наша история явно

относится к последнему из этих трех разрядов. Подобно отравлениям вследствие лечения ртутью или сулемой, или же отравлению лекарствами, частому, явлению наших дней, луденская эпидемия стала своего рода «ятрогеничной» болезнью, то есть была вызвана лекарями, слишком усердно пекшимися о здоровье больного. Вина экзорцистов тем более велика, если вспомнить, что их методы находились в прямом противоречии к правилам, установленным самой церковью. Согласно этим правилам, экзорцизм следовало производить без посторонних, причем запрещалось предоставлять слово самим бесам. Если же они заговорят, им не следовало верить, любые их утверждения следовало воспринимать с презрением. В Лудене же монахинь выставляли на потеху толпе, демонов выслушивали самым подробным образом, о чем бы они ни говорили, будь то секс или духовные материи. Все заявления бесов протоколировались и воспринимались как святая правда. Возникает ощущение, что дьяволов в Лудене принимали, словно знатных гостей из иного мира, а словам их верили, как Библии. Если же бесы святотатствовали или говорили непристойности, зрители относились к этому с пониманием: что ж, такой уж у них, нечистых, обычай. К тому же святотатства и непристойности привлекали публику. Верующие впитывали их как губка, а на следующий день зрителей приходило еще больше.

Аттракцион и в самом деле удался на славу: чудовищные кощунства, грязнейшая ругань, а к тому же еще невероятные конвульсии, при исполнении которых монахини достигли поистине акробатического совершенства. С левитацией ничего не вышло, поскольку взлетать в воздух добрым сестрам не удавалось, но зато на полу они показывали чудеса мастерства. Де Нион пишет, что иногда «они могли завернуть левую ногу через плечо и коснуться щеки. Иные же дотрагивались кончиком ноги до носу. Были и такие, кто растягивал конечности, садился на пол, и было видно, что между их чреслами и полом нет ни малейшего зазора. Однажды мать-настоятельница так растянула ноги, сев на пол, что при росте немногим более четырех футов расстояние между кончиками ее ног составило целых семь футов». Когда читаешь подобные описания, приходишь к заключению, что в женской душе религиозность преспокойно уживается с эксгибиционизмом. Для Вечной Женственности свойственно желание выставлять себя напоказ; жадное внимание публики стимулирует энтузиазм лицедейства. Надо полагать, что у монахинь, заточенных в стенах обители и не избалованных всеобщим вниманием, эта амбиция была особенно развита. Благодаря семи бесам и стараниям каноника Миньона, мать-настоятельница запросто демонстрировала гимнастический шпагат.

Судя по всему, урсулинкам самим очень нравились их акробатические свершения. Де Нион пишет, что, хотя бесы мучили несчастных по меньшей мере дважды в день на протяжении долгих месяцев, женщины отнюдь не жаловались на здоровье. Наоборот, «те из них, кто отличался хрупким здоровьем, теперь заметно округлились». Танцовщица из кабаре и стриптизерша, запрятанная в глубинах женской души, получила возможность вырваться на поверхность, и можно предположить, что эти бедные девушки, не очень-то пригодные для молитвенного созерцания, в эти месяцы были по-настоящему счастливы.

Но их счастье, увы, не было безоблачным. Временами оно омрачалось периодами раскаяния. Иногда монахини вдруг осознавали, в каких бесчинствах они участвуют и сколь жестоко они карают несчастного человека, ставшего объектом их любовных фантазий. Мы видели, что еще 26 июня сестра Клэр высказала жалобу на то, как обходятся с ней экзорцисты. 3 июля в часовне замка та же монахиня внезапно разрыдалась и, всхлипывая, объявила, что все обвинения, выдвинутые ею против Грандье на протяжении предшествующих недель, — ложь и клевета, а действовала она по прямым указаниям святых отцов Лактанса, Миньона и кармелитов. Четыре дня спустя во власти еще более сильного раскаяния, сестра Клэр взбунтовалась и попробовала убежать, но ее схватили у ворот церкви и, брыкающуюся, обливающуюся слезами, доставили обратно, к священникам. Вдохновленная примером мятежницы, другая монахиня, сестра Агнесса (та самая красотка, которую Киллигрю год спустя увидит ползающей у ног капуцинов), воззвала к зрителям, пришедшим поглазеть на ее стройные ножки. Со слезами Агнесса умоляла их избавить ее от рабского служения экзорцистам. Однако последнее слово всегда принадлежало попам. Мольбы Агнессы и угрызения совести Клэр — все это, конечно же, было представлено как происки дьявола, покровителя и защитника Грандье. Если монахиня отказывалась от показаний в адрес обвиняемого, это красноречивым образом свидетельствовало, что ее устами говорит Сатана, а прежние обвинения были чистейшей правдой.

Удачнее всего эта логика работала применительно к настоятельнице. Один из судей составил краткий перечень преступлений Грандье. В шестом параграфе этого документа читаем: «Из всех испытаний, обрушившихся на бедных сестер, самые диковинные выпали на долю матери-настоятельницы. На следующий день после того, когда она дала свои показания, в то самое время, как господин де Лобардемон допрашивал другую монахиню, настоятельница вышла во двор монастыря, облаченная в одну рубашку, и простояла там два часа, под дождем, с непокрытой

головой, держа в руке незажженную свечу, а на шее у нее висело вервие. Потом, распахнув двери гостиной, она бросилась на колени перед господином де Лобардемоном и объявила, что хочет покаяться в злобных обвинениях, выдвинутых ею против Грандье, который на самом деле невиновен. Потом, выбежав, она привязала себя вервием к дереву в саду и повесилась бы, если бы ее не спасли прочие сестры».

Нормальный человек понял бы, что настоятельница раскаивается в своих клеветнических измышлениях и страдает от мук совести. Но только не господин де Лобардемон! Ему сразу же стало ясно, что это спектакль, устроенный то ли Валаамом, то ли Левиафаном, а причиной всему — колдовские чары, насланные обвиняемым. Теперь, после признаний сестры Иоанны и попытки самоубийства, вина Грандье стала еще более несомненной.

Спасения для монахинь не было. Они сами построили для себя тюрьму из чувственных фантазий и лжи. Теперь эта ложь превратилась в непререкаемую правду. Кардинал зашел так далеко, что обратной дороги для него не было. К тому же отказываться от своих показаний для урсулинок было небезопасно. Тем самым они обрекли бы себя на кару как в этом мире, так и в следующем. Поэтому после колебаний все они, как одна, предпочли снова встать на сторону экзорцистов. Святые отцы уверили их, что муки совести — не более чем происки Нечистого. То, что кажется монахиням ложью, на самом деле — истиннейшая и непорочнейшая из истин. Церковь готова подтвердить правоту всех обвинений. Монахини слушали, успокаивались, начинали верить. Когда же самообман становился невозможным, на помощь приходило безумие. На уровне реальности спастись из этого ада урсулинок не могли. Но зато они могли подняться ввысь, устремившись душой к Господу.

Еще проще было опуститься вниз, это требовало меньше усилий. Именно туда, вниз, они и устремлялись, все глубже и глубже. Обычно это происходило по доброй воле, под грузом вины и унижения. Иногда же — против воли, под давлением экзорцистов, насилующих их личность. Спасительное забвение приносили судороги, конвульсии, грязные ругательства, припадки бешенства. Отказавшись от собственной личности, женщины погружались в темный недочеловеческий мир, где все было возможно. Там, в этом мире, аристократки запросто могли превращаться в балаганных акробатов, развлекающих толпу; монахини там сыпали богохульствами, делали непристойные жесты и выкрикивали непроизносимые слова. А можно было опуститься еще ниже, в ступор, отупение, полное забвение и отключение сознания.

## Глава восьмая

«Дьявол обязан говорить правду, если понудить его к тому должным образом». Вот догма, основываясь на которой, можно было доказать все, что угодно. Например, господин де Лобардемон терпеть не мог гугенотов, и семнадцать одержимых урсулинок тут же поклялись на Святом Причастии, что гугеноты — друзья Сатаны и верные его слуги. А раз так, то королевский комиссар почувствовал себя вправе пренебречь Нантским эдиктом. Сначала луденских кальвинистов лишили их кладбища — пусть хоронят своих покойников где-нибудь в другом месте. Потом настал черед протестантского коллежа. Просторное здание этого учебного заведения было конфисковано и передано урсулинкам. Ведь в их тесной обители было недостаточно места, чтобы принимать многочисленных паломников, стекавшихся в город со всех сторон. Теперь, наконец, у добрых сестер появится возможность устраивать спектакли при обширной аудитории, а не на паперти церкви Святого Креста или замковой часовни.

Немногим лучше гугенотов были те католики, кто упрямо отказывался верить в виновность Грандье, в одержимость монахинь и в правильность новой доктрины капуцинов. Отцы Лактанс и Транкиль громили этих маловеров с церковных кафедр. Маловеры, говорили священники, ничуть не лучше, чем закоренелые еретики. Их сомнения — смертный грех, а души их навсегда прокляты. Тем временем Месмен и Тренкан поспешили обвинить сомневающих в измене королю и (что еще хуже) в заговоре против его высокопреосвященства. Устами монахинь и послушниц бесы немедленно подтвердили, что сомневающиеся — тоже колдуны, вступившие в сношение с Сатаной. Подопечные отцы Барре из Шинона открыли, что сам господин де Серизе, главный городской магистрат, занимается черной магией. Еще один одержимый разоблачил двух священников, отца Бурона и отца Фрожье, якобы повинных в изнасиловании. По оговору сестры Иоанны несчастную Мадлен де Бру арестовали, посадили в тюрьму и обвинили в ведьмовстве. Благодаря богатству и связям ее родственников, женщину выпустили под залог, однако, уже после окончания процесса над Грандье, Мадлен была снова арестована. Она обратилась к судьям Апелляционного суда — особой судебной инстанции, перемещавшейся по всему королевству в поисках судебных ошибок и злоупотреблений. Апелляционный суд возбудил дело против Лобардемона. В ответ комиссар сам подал в суд на свою

обвинительницу. К счастью для Мадлен, кардинал Ришелье решил, что не стоит ради столь мелкой сошки ссориться с судейскими. Лобардемону было велено отказаться от обвинения, и настоятельнице так и не удалось отомстить своей счастливой сопернице. Что до бедняжки Мадлен, то она совершила именно то, от чего отговорил ее Грандье после кончины ее матери — приняла постриг и навеки исчезла за стенами монастыря.

А тем временем бесы выдвигали против горожан все новые и новые обвинения. Одной из главных их мишеней стали местные девушки. Сестра Агнесса объявила, что Луден — самый непотребный из всех городов христианского мира. Сестра Клэр назвала имена грешниц. Сестры Луиза и Иоанна добавили, что все луденские девушки имеют склонность к ведьмовству. Каждый из этих сеансов заканчивался грязной бранью, маниакальным хохотом и непристойной жестикуляцией.

Затем настала очередь уважаемых людей города. Выяснилось, что они посещают шабаш и целуют дьявола в зад. Их жены совокупляются с инкубами; их сестры насылают проклятья на соседских кур; их тетки, состарившиеся в девичестве, посредством злых чар лишают добродетельных молодых людей мужской силы, чтобы испортить им первую брачную ночь. Не терял попусту времени и злокозненный Грандье: через свои заложенные кирпичами окна он магическим образом разбрасывал повсюду сперму, награждая ведьм, а также осеменяя жен и дочерей кардинал истов, дабы подвергнуть их позору и поруганию.

Все эти сведения тщательным образом записывались писцами, после чего Лобардемон вызывал подозреваемых на допрос. Кого запугивал, кого умасливал, в целом же держал весь город в страхе.

В один июльский день, по подсказке дьявола Бехерита, Лобардемон велел запереть в церкви Святого Креста молящихся девушек. Там их обыскали и ощупали капуцины, надеясь найти знаки, посредством которых Сатана пометил своих прислужниц. Самый дотошный обыск, увы, никаких знаков не обнаружил. Странно, что Бехерит на этот раз солгал — ведь его понуждали говорить правду при помощи самых верных средств.

Неделю за неделей монахи всех мастей неистовствовали с церковных амвонов, однако скептиков это не убеждало. Протесты против несправедливого судебного разбирательства звучали все громче. Анонимные рифмоплеты сочиняли эпиграммы на комиссара. Люди приспособливали эти куплеты к популярным мелодиям, напевали их на улицах и в тавернах. По ночам к церковным дверям смельчаки приколачивали памфлеты. Когда бесов Левиафана и Собачьего Хвоста допросили, кто повинен в этих преступлениях, черти назвали одного протестанта и нескольких



школьников. Предполагаемых преступников арестовали, однако доказать ничего не удалось и пришлось их отпустить. Теперь у церквей по ночам дежурили часовые. В результате памфлеты стали появляться на дверях обычных домов. Тогда 2 июля возмущенный комиссар издал указ. Отныне строго-настрого запрещалось говорить что-либо «против монахинь или иных жителей города Лудена, одержимых бесами, или против экзорцистов, или против тех, кто помогает экзорцистам». Всякий, нарушивший указ, подвергался штрафу в десять тысяч ливров, а в случае необходимости, еще и более строгим карам, как финансовым, так и телесным. После этого критики стали более осторожными. Отныне бесы и экзорцисты могли не опасаться общественного мнения. По словам анонимного автора «Замечаний и рассуждений о суде над луденским кюре», «Бог, который глаголет одну лишь истину, ныне низвергнут, и на его престол усажен Нечистый, изрыгающий лишь клевету и хулу, каковые ныне и объявлены истиной. Что это, если не возрождение язычества? Люди говорят, что властям очень удобно, когда дьявол разоблачает столько колдунов и магов. Теперь этих несчастных подвергнут суду, их имущество конфискуют, и доля конфискованного достанется Пьеру Мено, а также его кузену канонику Миньону, которым на руку и гибель нашего кюре, и разорение наших лучших семейств».

В начале августа отец Транкиль опубликовал короткий трактат, излагавший и обосновывавший новую доктрину: «Дьявол обязан говорить правду, если понудить его к тому должным образом». Книга была одобрена епископом Пуатевенским, а барон Лобардемон назвал ее новейшим открытием в теологии. Отныне любые сомнения исключались. Грандье официально был признан колдуном, чересчур щепетильный господин де Серизе — магом. Все луденские девушки были заклеяны как шлюхи и ведьмы, а половина горожан были преданы вечному проклятию за недостаточно сильную веру в дьяволов.

Через два дня после выхода в свет книги Транкиля де Серизе собрал лучших людей города. Они обсудили положение, в котором оказались горожане, и решили, что де Серизе и его помощник Луи Шове должны отправиться в Париж и обратиться к королю с петицией, прося защиты от произвола комиссара. Против этого решения возражали только Муссо, городской прокурор, Мено и Эрве, начальник полиции. Когда главный магистрат спросил, согласен ли лейтенант полиции с новой доктриной, по которой получается, что все луденцы — слуги Сатаны, Эрве ответил: «Король, кардинал и епископ верят в одержимость, и этого для меня вполне достаточно». В двадцатом веке такая логика кажется вполне естественной и

звучит весьма современно.

На следующий день де Серизе и Шове отправились в столицу. Они везли с собой петицию, в которой были изложены справедливые жалобы и претензии луденцев. Действия Лобардемона в этом документе подвергались суровому осуждению, а про новую доктрину капуцинов было написано, что она «нарушает Божий закон» и противоречит мнению отцов церкви, в том числе Святого Фомы и ученых мужей Сорбонны, официально осудивших схожую доктрину в 1625 году. Поэтому луденцы просили его величество передать трактат Транкиля в Сорбонну на экспертизу. Другая просьба состояла в том, чтобы позволить всем, кого бесы и экзорцисты обвиняют в преступлениях, обращаться с апелляциями в Парижский парламент, «являющийся естественным судьей в подобных вопросах».

При дворе посланцы разыскали Жана Д'Арманьяка, который немедленно отправился к королю и стал просить его об аудиенции. Король ответил отказом. Тогда де Серизе и Шове удалились, оставив петицию у личного секретаря его величества. К сожалению, этот человек был креатурой кардинала и заклятым врагом луденцев.

Тем временем Лобардемон издал новый указ. Отныне под страхом штрафа в двадцать тысяч ливров запрещалось устраивать какие-либо публичные собрания. На этом сопротивление противника было окончательно сломлено.

Предварительное следствие подошло к концу, настало время начинать судебный процесс. Лобардемон надеялся, что ему удастся завербовать в число судей кого-нибудь из луденских магистратов, но из этого ничего не вышло. Де Серизе, де Бургне, Шарль Шове и Луи Шове — все они отказались участвовать в юридическом убийстве. Комиссар пробовал и уговаривать, и грозил гневом его высокопреосвященства, но тщетно. Все четверо магистратов стояли на своем. Тогда Лобардемоку пришлось набирать судей из окрестных городов — Шинона, Шательро, Пуатье, Тура, Орлеана, Ла-Флеша, Сен-Мексана и Бофора. В конце концов ему удалось собрать синклит из тринадцати покладистых магистратов. С прокурором тоже получилось не совсем гладко. Чересчур щепетильный юрист, которого звали Пьер Фурнье, отказался играть по предусмотренным правилам, но вместо него удалось найти более гибкого обвинителя.

К середине второй недели августа все было готово. Выслушав мессу и причастившись, судьи открыли заседание в кармелитском монастыре. Они выслушали все доказательства, собранные Лобардемоном за предшествующие месяцы. Сам епископ Пуатевенский своим авторитетом подтвердил истинность этих показаний. Значит, устами урсулинок

говорили дьяволы, и дьяволы эти недвусмысленно обвиняли Урбена Грандье в колдовстве. А поскольку бесы, находясь под присмотром экзорцистов, обязаны говорить истину, как доказал отец Транкиль, то, стало быть... В общем, логика была понятна.

То, что приговор будет обвинительным, ни у кого не вызывало сомнения. Желающие присутствовать при казни стекались в Луден заранее. В эти жаркие августовские дни в город прибыло тридцать тысяч человек, вдвое больше, чем все население Лудена. Приезжие перекупали друг у друга пищу, комнаты для ночлега и места поближе к эшафоту.

Большинству из нас сегодня трудно понять, что привлекательного находили наши предки в зрелище публичных казней. Однако прежде чем мы начнем поздравлять друг друга с достижениями гуманности, давайте вспомним, что нас, собственно говоря, никто не приглашает присутствовать при экзекуциях, а то еще неизвестно, сколько нашлось бы желающих. И во-вторых, во времена, когда казни были публичными, какое-нибудь повешение считалось занятным аттракционом вроде ярмарочного балагана, а уж сожжение на костре — выдающимся событием, ради которого стоило отправиться в долгое и дорогостоящее путешествие. Публичные казни были отменены не потому, что большинство населения этого добивалось, а потому, что меньшинство реформаторов, людей тонких и щепетильных, оказались достаточно влиятельными, чтобы настоять на своем. Собственно говоря, что такое цивилизация? Можно дать такое определение: это систематическое ущемление прав индивидуума на варварское поведение. А в недавние годы мы обнаружили, что иногда, после всех ограничений, люди с огромным удовольствием возвращаются к прежним обычаям, охотно предаваясь самым диким видам варварского поведения.

И король, и кардинал, и Лобардемон, и судьи, и горожане, и приезжие — все знали, каков будет исход. Единственным, кто еще на что-то надеялся, был сам узник. Грандье до самого конца полагал, что речь идет о самом обычном судебном процессе, что все злоупотребления предварительного следствия остались в прошлом и теперь справедливость будет восстановлена. Письменные доводы священника, а также письмо, адресованное королю (эти документы были тайно переправлены из тюрьмы на волю), написаны человеком, который все еще верит в объективность судей и надеется воздействовать на них при помощи фактов и логических аргументов. Грандье думал, что эти люди всерьез интересуются католическими догмами и прислушаются к мнению известных теологов. Жалкое заблуждение! Лобардемон и его ручные судьи были рабами правителя, который не заботился ни о фактах, ни о логике, ни о законе, ни о

теологии, а лишь о политике и личной мести. В данном случае он хотел проверить, насколько безнаказанно ему удастся повернуть судебный процесс построенный на пустом месте.

Выслушав показания бесов, судьи призвали к ответу обвиняемого. Адвокат зачитал вслух его письменные доводы, после чего Грандье ответил на вопросы прокурора. Он говорил и о незаконности методов расследования, и о предубежденности Лобардемона, обвинял экзорцистов в подтасовке фактов, называл новую доктрину капуцинов опасной ересью. Судьи же его не слушали. Они вертелись в своих креслах, зевали, перешептывались, смеялись, ковыряли в носу, рисовали гусиными перьями на бумаге. Грандье смотрел на все это и с каждой минутой все больше понимал, что у него нет никакой надежды.

Его отвели обратно в камеру. Жара в наглухо закупоренном чердаке была невыносимой. Узник лежал на ворохе соломы, слушал, как на улице распевают песни пьяные бретонцы, приехавшие полюбоваться чудовищным спектаклем казни, и мучился бессонницей. Оставалось всего несколько дней... И все эти муки обрушились на человека, ни в чем не виноватого. Он ведь ничего не сделал, не совершил никакого преступления. Однако злоба и ненависть преследовали его и восторжествовали. Теперь бездушная машина организованного неправосудия сотрет его в порошок. Он мог бы защищаться, но враг гораздо сильнее. Ум и красноречие не помогут — ведь никто его не слушает. Оставалось только молить о милосердии, но и это не поможет — враги лишь расхохочутся ему в лицо. Он угодил в капкан, как те кролики, которых мальчишкой он ловил в родных полях. Кролик визжит от ужаса, дергается, а петля на его шее затягивается все туже, но не до такой степени, чтобы визг сделался неслышен. А утихомирить кролика очень просто — достаточно стукнуть его палкой по голове. Грандье испытывал ужасное смешение гнева и отчаяния, жалости к себе и невыносимого ужаса. Кролик умирал легко и быстро — от одного-единственного удара. Ему же, Урбену Грандье, была уготована иная участь. Он вспомнил слова, которыми завершил письмо, адресованное королю: «Я помню, как пятнадцать или шестнадцать лет назад, когда я учился в Бордо, там сожгли одного монаха за колдовство. Но тогда священники и монахи всеми средствами пытались обелить его, хоть он и сознался в своем преступлении. В моем же случае все — и монахи, и монахини, и мои собратья-каноники — сговорились, чтобы погубить меня, хотя я неповинен ни в чем, хоть сколько-нибудь схожем с колдовством».

Он закрыл глаза и вспомнил лицо монаха, искаженное мукой. Сквозь языки пламени тот кричал: «Иисус, Иисус, Иисус...» Потом крики стали

неотличимы от визга пойманного кролика. И никто не смиловился, никто не пресек страданий несчастного.

Ужас стал таким невыносимым, что Грандье вскрикнул. Звук собственного голоса привел его в чувство. Он сел, огляделся. Вокруг царила непроницаемая тьма. И узнику внезапно стало стыдно. Что же он кричит среди ночи, как женщина или перепуганный ребенок! Он нахмурил лоб, стиснул кулаки. Никто еще не называл его трусом. Пусть же враги делают что хотят. Он готов ко всему. Они увидят, что его мужество крепче их злобы, что им не сломить его никакими пытками.

Он снова лег, но по-прежнему не спал. Да, воля его была крепка, но плоть сжималась от страха. Сердце бешено колотилось в груди. Мускулы напряглись, следуя этой внутренней борьбе. Грандье пробовал молиться, но слово «бог» было лишено какого-либо смысла. «Христос» и «Мария» тоже ничего не значили. Все его мысли были лишь о позорной казни, о мучительной смерти, о чудовищной несправедливости, жертвой которой он стал. Все это было совершенно невообразимо, но в то же время происходило на самом деле. Ах, почему он не воспользовался советом архиепископа и не уехал из прихода полтора года назад! Почему не послушался Гийома Обена? Безумством было оставаться в городе, когда ему угрожал арест. При мысли о том, какой могла бы быть его жизнь сейчас, нынешнее положение представлялось еще более невыносимым... И все же придется вынести даже невыносимое. Как и подобает мужчине. Они надеются, что он будет валяться у их ног и молить о пощаде. Нет, он не доставит им этого удовольствия. Грандье стиснул зубы, собрал в кулак всю свою волю. Но кровь стучала в ушах, он метался на соломе, и тело его было покрыто холодным потом.

Ужасная ночь тянулась бесконечно долго. Но вот закончилась и она, забрезжил рассвет, а это означало, что осталось на один день меньше до дня мучительной казни.

В пять часов утра дверь темницы распахнулась, и тюремщик ввел к узнику посетителя. Это был отец Амброз из ордена Августинцев. Он пришел по собственному почину, от доброго сердца, желая спросить, не может ли он чем-нибудь утешить заключенного. Грандье быстро оделся, преклонил колени и стал исповедоваться во всех винах и проступках своей грешной жизни. Все это были старые прегрешения, за которые в свое время он уже получил отпущение от церкви. Но сегодня старые грехи предстали перед ним в новом свете. Впервые в жизни Грандье понял, сколько раз он сам захлопывал дверь перед ликом Господа. На словах он был христианином, священником, а в помыслах, чувствах и поступках почитал

лишь самого себя. Царствие, которому он служил, было царством похоти, алчности и тщеславия. Им владели честолюбие, жажда власти, презрение к людям. В этот час Грандье понял, что такое истинное раскаяние — не как церковный церемониал, а как идущее изнутри чувство самоосуждения и сожаления о содеянном. Когда исповедь закончилась, Грандье плакал навзрыд — не из-за того, что ему предстояло, а из-за того, что было прежде.

Отец Амброз отпустил ему грехи, причастил его и заговорил с ним о воле Господней. Ничего не нужно просить у Всевышнего, говорил старый священник, но и отказываться от чего-либо тоже нельзя. Всякие происшествия, приключаящиеся с нами, нужно принимать со смирением, если только речь не идет о греховных поступках. Нужно принимать все, что уготовал нам Господь, даже если это страдание, болезнь, унижение. Если искренне принимать все эти испытания, то придет и понимание. А благодаря этому пониманию произойдет и преображение, и тогда увидишь мир глазами не человеческими, а Божьими.

Грандье слушал. Все это он знал и раньше. Об этом писал епископ Женеvский, об этом толковал святой Игнатий. Грандье и сам много раз произносил эти слова — куда красноречивее и блистательнее, чем бедный старый священник. Но отец Амброз, в отличие от Грандье, говорил их искренне, он сам в них верил. Шамкая беззубым ртом, коверкая грамматику, он ронял слова, которые тут же зажигались внутренним светом и озаряли разум, давно замутненный обидами, жаждой удовольствий и иллюзорными триумфами.

— Бог здесь, с тобой, — шептал дребезжащий голос. — И Христос тоже. Здесь, в твоей темнице, среди всех унижений и страданий.

Дверь отворилась вновь — это пришел Бонтан, тюремщик. Он донес комиссару о визите старого священника, и Лобардемон велел немедленно выгнать незваного посетителя. Если узник хочет исповедаться, то к его услугам отец Транкиль и отец Лактанс.

Старого монаха выставили из камеры, но произнесенные им слова остались, и смысл их становился все яснее и яснее. Бог здесь, и Христос тоже здесь, и так теперь будет всегда, везде, в каждую минуту. Какой смысл ожесточаться против врагов, против несправедливой судьбы, пыжиться, проявлять героизм. Все это ни к чему, если Бог рядом.

В семь часов Грандье отвели в кармелитский монастырь, где снова собрались судьи, чтобы мучить его. Но в зале находился Господь, а когда Лобардемон принялся допрашивать обвиняемого, то Христос не бросил несчастного в беде. На некоторых судей спокойное достоинство, с которым

держался Грандье, произвело глубокое впечатление. Но отец Транкиль разъяснил это очень просто: происки дьявола. Никакое это не достоинство, а просто наглость адского исчадия, а спокойствие — всего лишь черствость нераскаившейся души.

Судьи увидели обвиняемого в общем и целом всего три раза. Утром восемнадцатого числа, после положенных молитв, магистраты вынесли свой вердикт. Решение было единогласным. Осужденный будет подвергнут «испытанию как ординарному, так и экстраординарному». Затем он должен преклонить колени перед воротами церкви Святого Петра и Святой Урсулы, повязав на шею веревку и держа в руках двухфунтовую свечу. Там он попросит прощения у Господа, короля и правосудия. Потом его отведут на площадь Святого Креста, привяжут к столбу и сожгут заживо, а пепел развеют на все четыре стороны. Отец Транкиль пишет, что этот приговор был поистине небесным, потому что Лобардемон и тринадцать судей «по своему благочестию и богобоязненному рвению в исполнении своих обязанностей как бы воспарили с земли на небеса».

Как только приговор был объявлен, Лобардемон велел хирургам Маннури и Фурно отправляться в тюрьму. Первым прибыл Маннури, однако после постыдных экспериментов в иглой он чувствовал себя не в своей тарелке и вскоре сконфуженно удалился. Готовить осужденного к казни должен был его коллега. Судьи порешили, что Грандье будет обрит по всему телу. Хирург Фурно, убежденный в невиновности священника, почтительно попросил у него прощения за то, что должен сделать.

Урбена Грандье раздели догола. Бритва заскользила по его телу, и вскоре оно стало безволосым, как у евнуха. Густые черные кудри были срезаны под корень, затем щетину намылили и обрили. Так же поступили с мефистофельскими усами и эспаньолкой.

— Теперь брови, — раздался голос.

Хирург удивленно обернулся и увидел Лобардемона. Весьма неохотно Фурно выполнил приказ. Лицо Грандье, на которое в свое время заглядывалось столько женщин, превратилось в клоунскую маску.

— Отлично, — одобрил комиссар. — Отлично! Теперь ногти.

Фурно не понял.

— Ногти, — повторил Лобардемон. — Вырвите ему ногти.

Но этот приказ хирург выполнять не стал. Барон изумился.

— В чем дело? Ведь это осужденный колдун.

— Пусть так, — ответил Фурно. — Но все равно это человек. А с человеком так обходиться нельзя.

Комиссар рассердился, но хирург был непреклонен. Времени посылать

за другим не было, поэтому Лобардемону пришлось довольствоваться тем, что уже сделано.

Одетый в длинную рубаху, в стоптанные шлепанцы, Грандье был выведен на улицу, посажен в закрытую карету и увезен в суд. На улицах было полно народу, но внутрь пустили немногих: чиновников высокого ранга, знатных господ с женами и дочерьми, а также нескольких доверенных кардиналистов из буржуазии. Шуршали шелка, всеми цветами радуги переливались парча и бархат, сверкали драгоценные камни, в воздухе витал аромат духов. Отец Лактанс и отец Транкиль вошли в зал, обряженные в полное священническое облачение. Они окропили все вокруг святой водой, не забывая произносить при этом экзорцистские заклинания. Потом распахнулись двери и ввели Урбена Грандье, в длинной рубахе и шлепанцах, на обритом черепе — берет. Священники со всех сторон окропили его святой водой, после чего стражники поставили преступника на колени перед судейской скамьей. Его руки были связаны за спиной, поэтому снять головной убор Грандье не мог. Писец подошел к нему, сдернул берет и презрительно швырнул его на пол. Увидев голый белый череп, некоторые из присутствующих дам истерически захихикали. Пристав призвал публику к порядку. Потом писец надел очки, откашлялся и приступил к чтению приговора. Сначала шла юридическая преамбула, растянувшаяся на добрых полстраницы. Затем следовало описание покаянной церемонии, которую должен был совершить осужденный. Далее объявлялась кара-смерть на костре, после чего подробнейшим образом описывалась памятная доска, которая будет прикреплена к стеке часовни урсулинок (стоимость доски — 150 ливров, каковые будут изъяты из конфискованного имущества преступника); в самом конце, как бы между прочим, говорилось о том, что перед казнью осужденный будет подвергнут «ординарной и экстраординарной» пытке. «Означенный приговор вынесен в городе Лудене 18 августа 1634 года и будет приведен в исполнение в тот же день», — торжественно закончил писец.

Наступила долгая пауза. Затем Грандье обратился к своим судьям.

— Господа, — медленно и отчетливо начал он. — Призываю в свидетели Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа, а также Пресвятую Деву, единственную мою защитницу, что я никогда не был колдуном, никогда не совершал святотатственных деяний, а из чудес знаком только с теми, что упоминаются в Священном Писании, слово которого я нес своей пастве. Я поклоняюсь своему Спасителю и готов принять малую толику его муки.

Он воздел очи к небесам, а затем вновь взглянул на королевского комиссара и тринадцать его подручных. Мягким, доверительным тоном,



будто разговаривая с близкими друзьями, Грандье признался, что боится за свою душу — боится, что из-за страшных истязаний, уготованных его плоти, может впасть в отчаяние, совершить худший из грехов и тем самым обречь себя на вечное проклятие. Неужто их милости захотят погубить человеческую душу? Наверняка нет. А если так, то не проявят ли они милосердие, хотя бы немного смягчив строгость назначенной кары?

Он подождал несколько секунд, вопросительно посмотрел на каменные лица. В зале снова захихикали женщины, и кюре понял, что надежды нет. Надеяться оставалось лишь на Господа, который здесь, рядом, и не бросит его, а также на Христа, который не покинет его в минуту тяжких испытаний.

Тогда Грандье заговорил о святых мучениках. Они отдали свои жизни ради любви Господа и прославления Иисуса Христа. Кто умер на колесе, кто в пламени, кто от меча, кто от стрел, кто в пасти диких хищников. Конечно, ему и в голову не придет сравнивать себя с ними, однако же у него есть надежда, что Господь в бесконечной Своей милости позволит ему искупить физическими страданиями все грехи его суетной и порочной жизни.

Грандье говорил так трогательно, а уготованная ему участь была столь чудовищно жестока, что все присутствующие, кроме самых заклятых врагов священника, почувствовали жалость. Те самые женщины, которые еще недавно хихикали, смотрели и слушали со слезами на глазах. Пристав снова призвал публику к порядку, но тщетно — со всех сторон доносились всхлипы и рыдания. Лобардемон встревожился. Все происходящее противоречило плану. Барон лучше, чем кто-либо другой, знал, что Грандье неповинен в преступлениях, за которые его будут пытаться и сожгут. Но в то же время, на основании многостраничных показаний, кюре был официально и законно признан колдуном. Так решили тринадцать судей. Значит, не так уж он невиновен. По правилам, ему сейчас следовало бы рыдать от отчаяния или изрыгать проклятия, отрекаться от дьявола или хулить Бога, уготовившего ему дорогу в ад. А вместо этого негодяй вел речи, уместные лишь для добрых католиков. Он будоражил чувствительной публике сердца, являя пример истинно христианского смирения. Мириться с этим было нельзя. Что скажет его высокопреосвященство, если узнает, каким безобразием закончился тщательно подготовленный процесс? И Лобардемон как человек действия принял единственно возможное решение.

— Очистить зал, — приказал он.

Приставы и лучники бросились выполнять приказ. Возмущенных

дворян и их дам выставили в коридор, двери за ними захлопнулись. Остались только Грандье, стража, судьи, два монаха и несколько чиновников.

После этого Лобардемон обратился к осужденному. Пусть признает свою вину и выдаст соучастников. Лишь в этом случае судьи согласятся подумать, не смягчить ли суровость приговора.

Священник ответил, что не может назвать соучастников, ибо никогда их не имел, да и в преступлениях сознаваться не станет, потому что невиновен...

Но Лобардемон требовалось признание, чистосердечное и безоговорочное — иначе не удастся заткнуть рот сомневающимся и очернителям. Барон внезапно сделался ласков и вкрадчив. Он велел развязать Грандье руки, вынул из карман лист бумаги, обмакнул перо в чернильницу и протянул осужденному. Достаточно поставить подпись, и необходимость в пытках отпадет.

По всем обыкновениям, осужденный преступник должен был обеими руками ухватиться за такое предложение. Например, Жоффриди, марсельский колдун, подписал все, что от него требовалось. Но Грандье отказался играть по правилам.

— Простите, ваша милость, но я этого делать не стану, — сказал он.

— Всего лишь один росчерк пера! — взмолился Лобардемон.

Когда же Грандье сказал, что совесть не позволяет ему лгать, королевский комиссар проявил красноречие: Грандье должен пожалеть свое несчастное тело и свою заблудшую душу, должен оставить дьявола с носом и примириться с Господом, Которому нанес тяжкую обиду.

Согласно свидетельству отца Транкиля, Лобардемон даже плакал, взывая к зачерствавшему сердцу грешника. Можно не сомневаться, что святой отец писал правду. Приспешник кардинала Ришелье был щедро наделен «слезным даром». Те, кто присутствовал при последних часах Сен-Мара и де Ту<sup>[66]</sup>, рассказывали, что Лобардемон лил крокодиловы слезы над молодыми людьми, которых только что приговорил к смерти. Но на Грандье слезы, как и угрозы, не подействовали — он отказался подписать фальшивое признание. Для Лактанса и Транкиля это упорство стало еще одним доказательством вины осужденного. Сам Люцифер заткнул ему уста и ожесточил его сердце.

Лобардемон плакать перестал. Голосом, полным холодной ярости, он сказал, что делает преступнику предложение в последний раз. Подпишет он или нет? Грандье покачал головой.

Тогда Лобардемон позвал начальника стражи и велел увести

осужденного наверх, в камеру пыток. Грандье не произнес ни звука. Лишь попросил, чтобы послали за отцом Амброзом, чтобы тот присутствовал во время истязаний. Но отца Амброза не нашли. После несанкционированного визита в темницу старика заставили покинуть город. Тогда Грандье попросил позвать отца Грийо, настоятеля кордельерской обители. Но кордельеры были не в чести у Лобардемона, потому что отказывались признать новую доктрину капуцинов и не верили в одержимость монахинь. В любом случае, все знали, что отец Грийо дружит со священником и его семьей, поэтому Лобардемон ответил на просьбу отказом. Если осужденный нуждается в духовном утешении, пусть обращается к Лактансу и Транкилю, злейшим своим врагам.

— Мне все понятно, — горько сказал Грандье. — Вам мало уничтожить мое тело, вы еще и хотите истребить мою душу, погрузив ее в пучину отчаяния. За это вам придется когда-нибудь ответить перед Спасителем.

Со времен Лобардемона Зло значительно продвинулось по пути прогресса. При коммунистической диктатуре обвиняемые, представ перед народным судом, непременно признавались во всех своих злодеяниях, даже если те носили поистине фантастический характер. В прежние же времена обвиняемые признавали свою вину не всегда. Грандье, например, даже под пыткой твердил о своей невиновности, и этот случай — не исключение. Многие люди, в том числе и женщины, вынесли жесточайшие истязания, проявив при этом непреклонность. Наши предки изобрели дыбу, «железную деву», «испанский сапог», пытку водой, но им предстояло еще многому поучиться в тонком искусстве подавления воли и истребления души. Возможно, наши предки вовсе и не хотели этому учиться. Их воспитывали в вере, что человеческая воля свободна, а душа бессмертна, и, даже расправляясь со своими врагами, люди прежних времен не переходили определенных рамок. Даже изменник, даже поклонник Сатаны обладал душой, которая имела шанс на спасение. Непреклоннейшие из судей не могли отказать осужденному в религиозном утешении, поскольку для христианства душ совершенно пропавших не бывает. Священник сопровождал осужденного до эшафота, стараясь примирить грешника с Творцом. Наши предки, проявляя восхитительную непоследовательность, уважали человеческую личность, даже кромсая ее раскаленными щипцами и перемалывая на колесе.

Для тоталитаристов нашего просвещенного столетия души и Творца не существует. Есть лишь комок мяса, чьи поступки определяются условными рефлексам и социальной средой. Этот продукт социобиологии стоит

недорого и не обладает никакими правами. Тот, кто живет в обществе, не может быть свободен от него. Разумеется, на практике Общество тождественно Государству, а коллективная воля — воле диктатора. Временами, тоталитаризм доходит до настоящего безумия, взяв на вооружение какую-нибудь псевдонаучную теорию, сулящую человечеству великое будущее, и тогда преступление совершается во имя абстракции, именуемой «благом человечества». Личность при этом определяется как средство для достижения некоей цели. Отсюда следует, что политические вожди, якобы представляющие интересы Общества, могут совершать любые зверства против людей, объявленных врагами этого самого общества. Физического истребления посредством расстрела (а еще лучше каторжных работ в лагере) оказывается недостаточно. Официальная теория объявляет, что человек — не более, чем общественное животное, поэтому необходимо деперсонифицировать «врагов народа», чтобы официозная ложь выглядела как высшая истина. Для тех, кто владеет методологией превращения человека в животное, а свободной личности в послушный автомат, ничего трудного в этой задаче нет. Ведь личность человека куда менее монолитна, чем думали средневековые теологи. Душа и дух — не одно и то же. Человеческая психика — до тех пор, пока она не сделает сознательного выбора в пользу вечного союза с Духом, — представляет собой набор разрозненных и нестабильных элементов. Это нестойкое соединение может быть легко разрушено под воздействием чьей-либо злой воли, если она достаточно искусна и безжалостна.

В семнадцатом столетии безжалостность такого рода была невообразима, а сопутствующая ей методология не успела развиваться. Лобардемону так и не удалось вырвать у осужденного признание, в котором барон так нуждался. Хотя он не позволил Грандье выбрать духовника по своему усмотрению, однако отказать ему в праве на отпущение грехов он не мог.

Услуги Транкиля и Лактанса были предложены и, естественно, отклонены. Грандье получил четверть часа, чтобы примириться с Господом и подготовиться к мучениям.

Кюре опустился на колени и стал молиться вслух:

«Великий Боже, высший судия, помогающий беспомощным и угнетенным, поддержи меня, дай мне силы выдержать муку, на которую я обречен. Прими мою душу в общество праведных, прости мне мои грехи, помилуй меня, худшего и мерзейшего из твоих рабов. О пронзающий сердца, Ты знаешь, что я невиновен в преступлениях, которые мне приписывают, и что огонь, в который я буду низвергнут, испепелит меня за

совсем иные прегрешения. О, Спаситель человечества, прости моих врагов и обвинителей, но пусть они увидят свою неправоту и раскаются. Пресвятая Дева, защитница несчастных, прими мою бедную мать под свое покровительство, утешь ее в потере сына, который боится лишь одного — что мать его не вынесет мучений в этом мире, который сам он скоро покинет».

Грандье замолчал. Да пребудет воля Твоя. Бог здесь, рядом с палачами. Христос поддержит страдальца в миг наигорчайших мук.

Ла Гранж, начальник стражи, записал в тетрадке все, что запомнил из молитвы священника. Подошел Лобардемон, спросил, что это записывает молодой офицер.

Получив ответ, барон рассердился и вознамерился отобрать тетрадку, но Ла Гранж не отдал ее, и комиссару пришлось довольствоваться устным обещанием, что эти записи никому не будут показаны. Ведь Грандье нераскаившийся колдун, а нераскаившиеся колдуны не должны молиться.

Если верить отчету отца Транкиля и прочих официальных лиц, то в эти последние часы Грандье вел себя самым сатанинским образом. Он не молился, а распевал непристойные песни. Когда ему поднесли к лицу распятие, он в ужасе отшатнулся. Имени Пресвятой Девы он не произносил, а если и говорил иногда слово «Господь», то всякий разумный человек понимает, что он имел в виду Люцифера.

К несчастью для официальных хроникеров, до нас дошли и иные свидетельства. Лобардемон был сторонником келейности, однако Ла Гранж вовсе не собирался исполнять обещание, данное под принуждением. Были и другие непредвзятые свидетели. Некоторые из них, например, астроном Исмаэль Бульо, известны нам по имени, другие оставили анонимные письменные свидетельства.

Но вот четверть часа истекла. Осужденного связали, растянули на полу и зажали его ноги между четырьмя дубовыми досками. Две внешние были фиксированными, две внутренние могли сжиматься. Палач намеревался забить клинья между досками, тем самым размозжив жертве ноги. Разница между «ординарной» и «экстраординарной» пыткой заключалась в количестве клиньев, вбиваемых между досками. «Экстраординарная» пытка приводила в конечном итоге к смерти, поэтому применяли ее лишь к преступникам, приговоренным к казни.

Пока осужденного готовили к испытанию, отцы Лактанс и Транкиль освятили веревки, доски, клинья и молот. Все это было совершенно необходимо, потому что иначе бесы, используя свое сатанинское мастерство, помешали бы Грандье очиститься физическим страданием.

Окропив предметы пытки святой водой и произнеся положенные молитвы, монахи отошли в сторону, и тогда палач, взмахнув молотом, вбил первый клин. Раздался громкий стон. Отец Лактанс склонился над жертвой и спросил по-латыни, не хочет ли тот признаться. Грандье покачал головой.

Первый клин вбили на уровне коленей. Второй — на уровне ступней, третий — снова наверху; четвертый — внизу. Раздавались удары молота, крики боли, потом тишина. Грандье шевелил губами. Может быть, это признание? Монах прислушался, но разобрал лишь слово «Бог», повторенное несколько раз, а потом фразу: «Не покидай меня, я не хочу, чтобы эта боль заставила меня забыть Тебя». Святой отец выпрямился и велел палачу продолжать.

После второго удара по четвертому клину раздался треск сломанных костей. Кюре потерял сознание.

— *Cogne, cogne!* — кричал отец Лактанс палачу. — Бей, бей!

Грандье открыл глаза.

— Отец, — прошептал он. — А как же милосердие Святого Франциска?

Последователь Святого Франциска не ответил.

— *Cogne!* — произнес он вновь, а после удара склонился над осужденным. — *Dicas, dicas*<sup>[67]</sup>!

Но сознаваться было не в чем. Тогда пришлось вбить и пятый клин.

— *Dicas!* — Молот застыл в воздухе. — *Dicas!* Страдалец посмотрел на палача, потом на монаха и закрыл глаза.

— Мучайте меня сколько хотите, — сказал он на латыни. Скоро все равно это закончится. Навсегда.

— *Cogne!* Снова удар.

Задыхаясь и обливаясь потом, ибо день выдался жарким, палач передал молот подручному. Теперь настал черед Транкиля говорить с узником. Медоточивым голосом святой отец изложил все достоинства чистосердечного раскаяния — оно сулило Грандье явные выгоды не только в следующем мире, но и в этом.

Кюре слушал, а когда Транкиль закончил, задал ему вопрос:

— Отец, скажите по совести: верите ли вы, что человек, ради избавления от боли, должен признаваться в преступлении, которого не совершал?

Отмахнувшись от этого явно сатанинского софизма, Транкиль продолжил свои уговоры.

Грандье прошептал, что он готов признаться в своих истинных грехах.

— Я был мужчиной, я любил женщин...

Но Лобардемон и францисканцы хотели слышать не это.

— Ты был колдуном, ты якшался с дьяволами. Когда Грандье заявил, что в этом преступлении он неповинен, пришлось вбить шестой клин, за ним седьмой и восьмой. На этом обычные пределы ординарной и экстраординарной пытки были исчерпаны. Кости от коленей до ступней были размозжены в мелкую крошку, а признания все не было. Несчастный лишь кричал от боли, а в промежутках шептал имя Господа.

Когда восемь положенных клиньев были использованы, Лобардемон потребовал принести новых, хоть это и было против правил. Палач сходил в кладовую, принес еще два клина. Увидев, что эти клинья не толще предыдущих, Лобардемон разъярился и пригрозил палачу поркой. Монахам же пришла в голову замечательная идея: можно вынуть клин номер семь и использовать его в другом месте. На сей раз за молот взялся отец Лактанс.

— Dicas! — кричал он после каждого удара. — Dicas! Dicas!

Отец Транкиль не захотел отставать. Он вырвал у собрата молот и вбил десятый клин тремя мощными ударами.

Грандье снова потерял сознание. Казалось, он умрет прямо сейчас, не дожив до костра. Клинья закончились. Лобардемон был вынужден остановить пытку. Упрямый грешник разрушил все его планы. Первая стадия мученичества Урбена Грандье продолжалась три четверти часа.

Доски были раздвинуты, измученного узника усадили на стул. Он посмотрел вниз, на свои изуродованные ноги, потом взглянул на комиссара и его подручных.

— Господа, — сказал он. — Посмотрите, есть ли положение более жалкое, чем мое?

По приказу Лобардемона осужденного отнесли в соседнее помещение и положили на скамью. Был душный августовский день, но Грандье дрожал от холода — это было последствие болевого шока. Ла Гранж накрыл его покрывалом и дал стакан вина.

Тем временем Лактанс и Транкиль пытались спасти ситуацию. Всем, кто подходил к ним с вопросами, они отвечали, что колдун и в самом деле не сознался в своих прегрешениях, даже под пыткой. Причина очевидна. Все слышали, как Грандье взывал к Господу, моля дать ему силы. А поскольку его господь — Люцифер, то все понятно. Нечистый сделал своего слугу нечувствительным к боли. Можно было продолжать хоть целый день, вгонять клин за клином, это ничего бы не дало.

Чтобы доказать истинность этих утверждений, один из экзорцистов, отец Архангел, провел маленький эксперимент. Несколько дней спустя он сам поведал о своем опыте перед аудиторией, и один из слушателей

записал его слова. «Онный отец Архангел утверждает, что дьявол дал ему (Грандье) нечувствительность к боли. Он лежал на скамье, и его колени были раздавлены при пытке, а сверху он был накрыт зеленым покрывалом. Означенный святой отец грубо сдернул это покрывало и стал тыкать Грандье в израненные ноги, тот же даже не жаловался на боль». Отсюда следовало, что, во-первых, Грандье боли не чувствовал; во-вторых, что эту нечувствительность даровал ему Сатана; и в-третьих, что (прямое цитирование слов капуцина) «когда он призывал Господа, то на самом деле имел в виду дьявола, а когда говорил, что ненавидит дьявола, имел в виду, что ненавидит Господа»; в-четвертых же и в-последних, требовалось принять особые предосторожности, чтобы Грандье в полной мере вкусил муки сожжения на костре.

Когда отец Архангел удалился, снова настал черед королевского комиссара. Более двух часов Лобардемон просидел возле своей жертвы, всячески убеждая несчастного Грандье поставить подпись под документом. Эта подпись сразу же придавала бы процессу убедительность, очистила бы репутацию кардинала и оправдала бы использование инквизиторских методов во всех последующих случаях, когда каким-нибудь истеричным монахиням придет в голову обвинить кого-то в колдовстве. Подпись была жизненно необходима барону, но, сколько он ни пытался, у него ничего не вышло. Господин де Гастин, присутствовавший при этой беседе, рассказывал впоследствии, что «ему никогда не приходилось слушать ничего столь же омерзительного», как эти мольбы, лицемерные вздохи и всхлипывания. На все уговоры Грандье отвечал, что не может поставить свою подпись под документом, который, как известно Господу (и самому комиссару), насквозь лжив. В конце концов Лобардемон был вынужден признать свое поражение. Он приказал Ла Гранжу позвать палачей.

И они пришли. Осужденного одели в рубаху, пропитанную серой; на шею ему натянули веревку и вынесли во двор, где уже стояла повозка, запряженная шестью мулами. Калеку привязали к скамье. Возница гаркнул на лошадей, и процессия тронулась в путь. Впереди шли лучники, за ними Лобардемон и тринадцать его ручных судей. На улице сделали остановку, и приговор был громогласно оглашен перед публикой. Потом мулы двинулись дальше. У дверей собора Святого Петра, куда в прежние времена кюре не раз входил с видом полноправного хозяина, кортеж снова остановился. В руки осужденному сунули двухфунтовую свечу и подняли его со скамьи, ибо приговор требовал, чтобы он коленопреклоненно покался в своих преступлениях. Однако коленей у священника не осталось, поэтому его положили ничком на землю. Палачам пришлось



задрать ему голову. В этот самый момент из церкви вышел отец Грийо, настоятель кордельеров, растолкал лучников, склонился над страдальцем и обнял его.

Глубоко растроганный, Грандье попросил святого отца, чтобы тот за него молился — ведь община кордельеров единственная во всем Лудене отказалась сотрудничать с гонителями «колдуна».

Грийо пообещал молиться, а также призвал Грандье не терять веры в Господа и Спасителя. Еще он передал осужденному послание от матери. В эту самую минуту она молилась Пресвятой Деве и передавала сыну свое материнское благословение.

Оба, и Грандье, и Грийо, плакали. Толпа сочувственно перешептывалась. Лобардемон пришел в ярость. Ну почему все мешали ему осуществить заранее разработанный план? По всем правилам чернь должна была бы кидаться на осужденного, желая разорвать его на части. А вместо этого они оплакивали его горькую судьбу. Барон вышел вперед, велел стражникам прогнать кордельера. В возникшей сутолоке один из капуцинов проявил рвение — ударил Грандье дубиной по бритой голове.

Когда порядок был восстановлен, священник произнес положенную формулу, однако, попросив прощения у Бога, короля и правосудия, добавил, что, хоть он и является великим грешником, но в преступлении, которое ему вменяют, он неповинен.

Палачи отнесли его обратно на повозку, а один из монахов громко объявил собравшимся, что молиться за нераскаявшегося колдуна нельзя, ибо это тягчайший из грехов.

И процессия двинулась дальше. У ворот урсулинского монастыря обряд покаяния повторился. Однако, когда служитель потребовал, чтобы Грандье попросил прощения у матери-настоятельницы и добрых сестер, осужденный ответил, что никогда не делал им ничего дурного и молит Господа лишь о том, чтобы Он простил этих женщин. Увидев Муссо, мужа Филиппы Тренкан и одного из злейших своих врагов, Грандье попросил его забыть прошлое и произнес с присущей ему учтивостью: «Я умру, будучи вашим покорным слугой». Муссо отвернулся и отвечать не стал.

Однако не все враги Грандье проявили столь нехристианское жестокосердие. Рене Бернье, один из священников, давших показания против Грандье еще во время первого процесса, протолкался через толпу и попросил у кюре прощения, пообещав, что прочтет мессу в его честь. Грандье взял его руку и с благодарностью поцеловал ее.

На площади Святого Креста шесть тысяч зрителей уже ждали, сбившись в сплошную массу. Все окна были сданы напрокат; зеваки сидели

даже на крышах и свисали с водостоков церкви. Специальная трибуна была водружена для судей и самых почетных гостей; все прочие места были заняты чернью, так что невозможно было пройти к эшафоту. Стражникам пришлось расчищать дорогу ударами алебард. Лишь после продолжительной потасовки путь был расчищен. Даже самой повозке с осужденным понадобилось полчаса, чтобы преодолеть сто ярдов до эшафота.

Неподалеку от северной стены церкви был установлен столб высотой в пятнадцать футов. У подножия столба были сложены штабелем бревна, хворост и солома. Поскольку осужденный после пытки не мог стоять на ногах, к столбу привязали железное сиденье. Надо сказать, что при всей значительности события, расходы на казнь оказались на удивление скромны. Некому Дельяру заплатили 19 ливров и 16 су за «дрова, пошедшие на костер для господина Грандье, а также за столб, к которому онный господин был привязан». За «железное сиденье весом в 12 фунтов, по цене 3 су и 4 денье за фунт, а также за шесть гвоздей, коими означенное сиденье было прикреплено к столбу», кузнец Жаке получил 42 су. Наем пяти лошадей, понадобившихся для лучников, которых прислал прево города Шинона, а также шести мулов, повозки и двух возниц, обошелся в 108 су. 4 ливра ушли на две рубашки для осужденного: простую, в которой его пытали, и пропитанную серой, в которой его сожгли. Двухфунтовая свеча, понадобившаяся для церемонии покаяния, обошлась в 40 су, а вино для палачей — в 13. К этому нужно было добавить оплату труда привратника церкви Святого Креста и двух его помощников. Общая сумма составила 29 ливров 2 су и 16 денье.

Осужденного сняли с повозки, усадили на железное сиденье и привязали к столбу. Он сидел спиной к церкви, а лицом к помосту для почетных гостей и фасаду того дома, где в прежние времена его принимали как дорогого гостя. Когда-то в этих стенах он подшучивал над Адамом и Маннури, развлекал общество чтением писем «Луденской обувщицы», а также обучал некую юную девушку латыни. Потом он соблазнил эту девушку, и хозяин дома, прокурор Тренкан, стал непримиримейшим из его врагов. Теперь Луи Тренкан сидел у окна своей гостиной, а рядом с ним стояли каноник Миньон и Тибо. Увидев обритого уродца, в которого превратился Урбен Грандье, эта троица торжествующе захохотала. Кюре поднял голову и посмотрел на них. Тибо помахал ему рукой, словно старому приятелю, а Тренкан, попивавший разбавленное белое вино, сделал вид, что поднимает тост за отца своей незаконнорожденной внучки.

Грандье опустил глаза — частью от стыда, ибо помнил и уроки

латыни, и тяжко оскорбленную им девушку, а частью от страха, что вид торжествующих врагов вызовет в его душе горечь и заставит забыть о присутствии Господа.

Кто-то коснулся плеча священника. Это был капитан Ла Гранж. Он попросил прощения за то, что вынужден принимать участие в казни, а также пообещал две вещи: во-первых, осужденному дадут обратиться с прощальным словом к народу, а во-вторых, прежде чем разгорится костер, его удавят. Грандье поблагодарил капитана, и тот отдал приказ палачу приготовить петлю.

Тем временем монахи читали очистительную молитву.

«Воззрите на крест Господень, да устрашатся враги Его; лев племени иудина возобладал, возобладал корень Давидов. Изгоняю тебя, исчадие лесное, во имя Бога Отца Всемогущего, во имя Иисуса Христа Его Сына и нашего Господа, а также во имя Святого Духа...»

Они окропили дрова, солому, жаровню с тлеющими угольями. Не забыли и палача, и зрителей, и осужденного, и даже мостовую. На сей раз, поклялись святые отцы, никакой дьявол не помешает колдуну сполна вкусить заслуженной им муки. Несколько раз священник пытался обратиться к собравшимся, но монахи били его по губам железным распятием, брызгали ему в лицо святой водой. Если же Грандье уклонялся от ударов, монахи с торжеством кричали, что отступник отвращается от Спасителя. Ежеминутно отец Лактанс взывал, требуя покаяния: «Dicas!»

Этот речитатив запомнился зрителям, и весь недолгий остаток своей жизни отец Лактанс был известен в Лудене как отец Дикас.

— Dicas! Dicas!

Снова, в тысячный раз, Грандье ответил, что каяться ему не в чем.

— А теперь, — прибавил он, — поцелуй меня на прощанье и дай мне умереть.

Сначала Лактанс отказывался, но зрители возмутились столь нехристианским поведением. Тогда святой отец вскарабкался на эшафот и поцеловал осужденного в щеку.

— Поцелуй Иуды! — крикнул кто-то, и многие подхватили: — Иуда, Иуда!

Лактанс услышал эти голоса и, охваченный яростью, прыгнув, зажег пук соломы и ткнул им прямо в лицо осужденному. Пусть признается, что он слуга Сатаны! Пусть покается, пусть откажется от своего господина!

— Святой отец, — тихо и даже нежно сказал Грандье, столь разительно непохожий в эти последние минуты на своих злобных гонителей, — очень скоро я встречу с Господом, а уж Он-то знает, что я

говорю правду.

— Сознавайся! — визжал монах. — Сознавайся! Через минуту ты умрешь!

— Всего через минуту, — медленно повторил кюре. — Какая-то минута, а затем меня ждет справедливый и ужасный суд, на который, святой отец, вскоре призовут и вас.

Дальше Лактанс слушать не стал — он сам поджег хворост. По штабелю побежало пламя, затрещали ветки, костер быстро разгорелся. Не желая отставать от своего напарника, отец Архангел поджег костер с противоположной стороны. В небо потянулась струйка синего дыма. Потом, жизнерадостно хрустнув, занялись вязанки, сложенные вокруг столба.

Осужденный увидел огонь и в ужасе крикнул начальнику стражи:

— Разве это вы мне обещали?

И Божьего присутствия как не бывало. Не осталось ни Бога, ни Христа — только ужас.

Ла Гранж возмущенно обругал монахов и попытался погасить пламя, но это ему не удалось, а тем временем Транкиль и Лактанс продолжали разжигать костер.

— Души его! — приказал капитан, и толпа подхватила: — Души, души!

Палач побежал за петлей, но оказалось, что один из капуцинов нарочно запутал ее в узел. Пока палач распутывал веревку, время было упущено — осужденного со всех сторон уже окружала стена пламени и дыма. Монахи же все брызгали в огонь святой водой, чтобы изгнать самых настырных дьяволов.

— Изгоняю тебя, тварь негодную!

Святая вода шипела на раскаленных поленьях, превращаясь в пар. Из уст Грандье раздался вопль боли. Значит, экзорцизм подействовал. Монахи наскоро произнесли благодарственную молитву и, воодушевленные, продолжили дело с удвоенным усердием.

Внезапно невесть откуда прилетела огромная черная муха, с размаху ударилась прямо о лоб отца Лактанса и упала на раскрытую страницу молитвенника. Вот это было знамение! Муха величиной с грецкий орех! А ведь всякий знал, что Вельзевул, кроме всего прочего — еще и Повелитель мух!

— Изгоняю тебя и заклинаю именем святых мучеников! — возопил отец Лактанс.

Со сверхъестественно громким жужжанием насекомое скрылось за

пеленой дыма.

— Во имя Агнца Божьего...

Грандье уже не кричал, он захлебывался кашлем. Мерзавец, он вознамерился обмануть правосудие, задохнувшись от дыма!

Чтобы разрушить козни Сатаны, Лактанс плеснул святой водой в направлении кашля.

— Изгоняю тебя, тварь огнедышащая! Да рассеет святая вода сатанинские чары!

Сработало! Кашель прекратился. Еще один стон, и потом тишина. Тут вдруг, к изумлению монахов, темная фигура, едва различимая за пламенем, начала говорить.

— Deus meus, — сказала она, — miserere Deus<sup>[68]</sup>. — А потом еще по-французски: — Прости их, прости моих врагов.

Снова приступ кашля, а потом веревки, которыми Грандье был привязан к столбу, лопнули, и несчастный рухнул прямо на пылающие поленья.

Огонь пылал, святые отцы по-прежнему кропили его святой водой и выкрикивали заклинания. Внезапно с церковного шпиля слетела вниз стая голубей и принялась метаться вокруг черного столба дыма. В толпе зашумели, лучники замахали своими алебардами, прогоняя птиц, а Лактанс и Транкиль стали брызгать в них святой водой. Но тщетно, голуби улетать не желали. Они летали кругами, ныряли в клубы дыма, и их перья вскоре закоптились. Обе партии — и сторонники, и противники Грандье — утверждали, что это чудо, только враги говорили, что то были никакие не птицы, а стая демонов, прилетевших за душой злодея, а сторонники уверяли, что голуби, посланники Святого Духа, наглядно продемонстрировали невиновность Грандье. И никому, кажется, не пришло в голову, что это были просто птицы, подчиняющиеся своим собственным инстинктам.

Когда костер выгорел, палач бросил на все четыре стороны по лопате пепла. После этого зрители ринулись вперед. Обжигая пальцы, женщины и мужчины рылись в раскаленном прахе, растаскивая на сувениры зубы, кусочки обгорелой кости, клочки плоти. Впрочем, большинству из них все эти реликвии требовались не на память, а для дела: кому для несчастной любви, кому на удачу, кому как чудодейственное средство от головной боли, запоров или сглаза. Причем было совершенно неважно, виновен Грандье или нет — все равно частицы его тела обладали бы чудодейственными свойствами. В любом случае действенность реликвий зависит не от их происхождения, а от их репутации. Вся человеческая

история наглядно свидетельствует, что многие исцелялись от болезни, прибегая к помощи любой ерунды — если эта ерунда была достаточно хорошо прорекламирована. Так было со святым Лурдом, с ведьмовством, со средневековыми шарлатанами, да и с многими нынешними патентованными чудодейственными средствами. Если Грандье — колдун, как утверждали капуцины, то тем лучше: мощи колдуна обладают огромной силой. Если же кюре был невиновен, то и это прекрасно — тогда он мученик, невинная жертва, и его останки можно считать святыми.

Вскоре весь пепел исчез. Усталые и томимые жаждой, но довольные добычей, зрители расходились по домам и гостиницам, чтобы отдохнуть, выпить и подкрепиться.

В тот же вечер, после краткого отдыха и легкой трапезы, святые отцы вновь собрались в урсулинском монастыре. Мать-настоятельница подвергли экзорцизму, и она послушно задергалась в конвульсиях. В ответ на вопрос отца Лактанса, Иоанна ответила, что та самая черная муха была бесом Барухом, близким приятелем Грандье. Почему Барух так нагло упал на молитвенник?

Сестра Иоанна запрокинулась назад, ударившись затылком об пол, сделала свой знаменитый шпагат и ответила, что Барух пытался швырнуть молитвенник в огонь. Это звучало малоубедительно, и монахи решили прервать экзорцизм, чтобы продолжить завтра, при публике.

На следующий день сестер отвели в церковь Святого Креста. Многие из приезжих еще находились в городе, и народу собралось видимо-невидимо. После обычных процедур мать-настоятельница заявила, что в ней сейчас остался только бес Исакаарон, а все остальные отправились в преисподнюю, на банкет, устроенный в честь души Урбена Грандье.

В ответ на скрупулезные вопросы, сестра Иоанна подтвердила: да, Грандье имел в виду именно Сатану, когда призывал бога, а, отрекаясь от дьявола на словах, на самом деле отрекался от Христа.

Лактанс пожелал узнать, каким мукам подвергают Грандье в аду, и очень разочаровался, когда настоятельница ответила, что худшая из адских мук — лишение Господа.

— Так-то оно так, — сказал священник. — Но физическим-то мучениям его подвергают?

После долгих раздумий сестра Иоанна ответила, что Грандье «будет подвергнут особой пытке за каждый из своих грехов, в первую очередь плотских».

А как прошла казнь? Удалось ли дьяволу уберечь своего слугу от страданий?

Увы, ответил Исакаарон, у Сатаны это не получилось, ибо экзорцисты ему помешали. Вот если бы они не благословили пламя, то тогда Грандье бы ничего не почувствовал. Однако благодаря трудам отцов Лактанса, Транкиля и Архангела, Грандье помучился на славу.

«Но это сущие пустяки по сравнению с муками, которые он испытывает теперь», — воскликнул экзорцист. И отец Лактанс заговорил об адских терзаниях. Потом спросил: в каком из многочисленных чертогов ада разместили колдуна? Как встретил его Люцифер? Что происходит с ним в данную минуту?

Исакаарон старался удовлетворить любопытство монаха. Когда же воображение сестры Иоанны иссякло, ей на помощь пришла сестра Агнесса. Она упала на пол, задергалась в судорогах, и ее устами заговорил бес Бехерит.

Вечером, вернувшись в монастырь, монахи увидели, что отец Лактанс выглядит бледным и рассеянным. Быть может, ему нездоровится?

Лактанс покачал головой. Нет, он здоров. Но одна мысль не дает ему покоя: осужденный хотел, чтобы его исповедовал отец Грийо, а в этом ему отказали. Быть может, экзорцисты совершили страшный грех?

Коллеги попытались его утешить, но безуспешно. Проведя бессонную ночь, Лактанс проснулся в холодном поту.

— Господь карает меня, — повторял он. — Господь карает меня.

Хирург Маннури пустил ему кровь, аптекарь Адам поставил клистир. Лихорадка спала, но ненадолго. А потом у отца Лактанса начались видения. Он слышал, как Грандье кричит под пыткой, видел кюре на костре, молящим Бога за своих врагов. И вокруг все время летали демоны, целые сонмы демонов. Они проникли в тело отца Лактанса, заставили его брыкаться, грызть подушки, исторгли из его уст самые страшные кощунства.

18 сентября, ровно через месяц после казни Грандье, отец Лактанс выбил распятие из руки священника, пришедшего причастить его, и сразу после этого скончался. Лобардемон оплатил богатые похороны, а отец Транкиль прочел проповедь, в которой превозносил усопшего, называя его образцом святости. Транкиль сказал, что Лактанса убил Сатана, решивший отомстить преданному слуге Божьему за расправу с Грандье.

Теперь настала очередь хирурга Маннури. Однажды ночью, вскоре после смерти отца Лактанса, его вызвали к одному больному, чтобы пустить тому кровь. Возвращаясь обратно, хирург внезапно увидел в свете фонаря Урбена Грандье. Кюре был в чем мать родила, как в тот день, когда на его теле разыскивали дьявольские метки. Стоя посреди улицы Гран-

Паве, неподалеку от разрушенного замка и сада обители кордельеров, Грандые поджидал запоздалого путника. Маннури остановился, и слуга, сопровождавший хирурга, увидел, как тот задает какие-то вопросы, обращаясь в пустое пространство. Ответа Маннури не получил и задрожал всем телом. Потом упал на землю и стал молить о пощаде. Неделью спустя он умер.

Теперь настал черед Луи Шове, одного из честных магистратов, отказавшихся принять участие в судебном фарсе. Настоятельница и большинство монахинь обвинили этого человека в колдовстве, и господин Барре в своем шинонском приходе нашел дополнительные свидетельства, предоставленные бесами. Шове испугался того, что может произойти, если кардинал решит свести с ним счеты. Магистрат впал в черную меланхолию, потом помутился рассудком и скончался еще до исхода зимы.

Отец Транкиль оказался крепче прочих. Лишь четыре года спустя, в 1638 году, он пал жертвой своей чересчур ретивой борьбы со злом. Ненавидя Грандые всем сердцем, он вселил в души монахинь бесов. А позднее, посредством своих нелепых экзорцизмов, обеспечил бесам долгую жизнь. Теперь черти взяли реванш. Над Богом потешаться нельзя, и Транкиль пожал бурю, которую посеял.

Сначала видения были редкими и не слишком интенсивными. Но понемногу демоны Собачий Хвост и Левиафан стали брать верх. В последний год жизни отец Транкиль вел себя точно та же, как истеричные урсулинки: катался по полу, бранился, высовывал язык, шипел, лаял, ржал. И это еще не все. Дьявол, которого капуцинский биограф отца Транкиля красноречиво нарек «зловонным Адским Филином», вселил в душу Транкиля соблазн нарушить целомудрие, а также поправить смирение, терпение, веру и благочестие. Тщетно монах взывал к Пресвятой Деве, святому Иосифу, святому Франциску и святому Бонавентуре. Бесы оказались сильнее.

В Троицын день 1638 года святой отец прочел свою последнюю проповедь. Потом слег, сраженный недугом, причины которого носили явно психосоматический характер. «Он изрыгал из себя нечистоты, каковые несомненно являлись частицами пакта с дьяволом... Всякий раз, когда он принимал пищу, бесы выворачивали его наизнанку, причем с такой яростью, что это погубило бы и самого здорового человека». Кроме того, монаха мучили жестокие головные и сердечные боли, «не описанные в трудах Галена или Гиппократов». К концу недели «он исторг из себя столь зловонную блевотину, что комната насквозь пропиталась смрадом». Наконец пришлось соборовать умирающего, однако в момент причащения



бесы переселились из отца Транкиля в другого монаха, стоявшего на коленях подле кровати. Одержимый впал в такое неистовство, что полдюжины капуцинов едва могли его удерживать — он же все порывался пинать ногами агонизирующего отца Транкиля.

Зато похороны были пышными. «Когда же служба закончилась, верующие набросились на тело. Одни просто прикладывали к нему четки, другие же отрезали кусочки от рясы, чтобы сохранить их как реликвию. Не выдержав напора, гроб треснул, и покойника принялись дергать то вправо, то влево. Несомненно, святого отца оставили бы ободранным догола, если бы несколько почтенных людей не отогнали бесстыжую чернь. Вполне возможно, что эти нечестивцы не пощадили бы и самих мощей». Итак, клочки рясы отца Транкиля стали такими же реликвиями, как пепел человека, которого он пытал и сжег заживо... Все перепуталось. Колдун умер как мученик, а его палач после смерти превратился в святого — но такого святого, в душу которого вселился сам Вельзевул!

В сущности, все это не имело значения: фетиш есть фетиш.

## Глава девятая

Грандье больше не было, но остались Еазаз, Завулон и прочие бесы. Этот факт казался многим необъяснимым. На самом же деле удивляться было нечему: когда не устранена истинная причина, никуда не денутся и следствия. В умы монахинь дьяволов вселили каноник Миньон и прочие экзорцисты, они же и не давали бесам исчезнуть. По два раза в день, за исключением воскресений, одержимые урсулилки устраивали привычное представление. Как и следовало ожидать, состояние их не улучшилось, а, пожалуй, даже ухудшилось, по сравнению со временем, когда Грандье был жив.

В конце сентября Лобардемон сообщил кардиналу, что обратился с просьбой к ордену Иисуса. Иезуиты пользовались репутацией людей ученых и умных. Если прибегнуть к их авторитету, то публика наверняка «перестанет противиться очевидной истинности луденских бесноватых».

Многие иезуиты, включая орденского генерала Вителлески, вежливо, но решительно отказывались участвовать в экзорцизме. Однако на сей раз деваться им было некуда. Вслед за приглашением Лобардемона поступил и прямой приказ короля, а устами его величества говорила персона еще более серьезная — его высокопреосвященство.

И вот 15 декабря 1634 года четверо отцов-иезуитов въехали в Луден. Одним из них был Жан-Жозеф Сурен. Отец Боир, провинциал Аквитанский, избрал молодого монаха в экзорцисты. Потом, правда, передумал и отменил свой приказ, но было поздно — Сурен уже покинул Маренн, чтобы отбыть к месту назначения. В конце концов миссия осталась за ним.

В ту пору Сурену было тридцать четыре года, он находился в середине жизненной дороги. Его характер сформировался, образ мыслей определился раз и навсегда. Собратья по ордену высоко оценивали его способности, уважали его религиозное рвение и аскетизм, страстное стремление к христианскому совершенству. Однако восхищению сопутствовала и некоторая настороженность. Отец Сурен обладал всеми задатками героя веры, но наиболее осторожные из иезуитов усматривали в личности Жан-Жозефа и некоторые тревожные черты. Например, любовь к чрезмерности в словах и поступках. Он говорил, что «человек, не доходящий до крайностей в божественных вопросах, никогда не приблизится к Господу». Мысль правильная, но с тем условием, что

«крайности» имеют нужную направленность. Некоторые из оригинальных идей молодого монаха, по форме будучи вполне ортодоксальными, пугали своей непримиримостью. Например, Сурен говорил, что готов отдать свою жизнь за людей, рядом с которыми живет, но «в то же время намерен обращаться с ними так, как если бы они были его врагами». Надо полагать, что такая позиция не слишком облегчала жизнь братии, делившей с Суреном стол и кров. Подобное отношение к другим людям можно назвать антисоциальным, а помимо того, Сурен отличался еще и крайней безапелляционностью в вопросах праведности. Он говорил: «Мы должны искоренять в себе тщеславие столь же безжалостно, как святотатство, а невежество и несовершенство карать с беспредельной жестокостью». К столь непримиримому ригоризму Сурен присовокуплял еще и опасный интерес к так называемым «особенным дарам», то есть чудесным способностям, которыми иногда обладают святые праведники. Наставники и начальники монаха относились к этому пристрастно неодобрительно, потому что «особенные дары» вовсе не обязательны душе для спасения. Отец Анжино, друг Сурена, писал про него много лет спустя: «С раннего детства подобные вещи влекли его, и он придавал им слишком большое значение. Пришлось дать ему возможность идти по жизни этим путем, непривычным и необычным для большинства».

В рыбацком порту Маренне, где Сурен провел четыре года после своего «второго послушничества» в Руане, он стал духовным наставником двух странных женщин. Одну звали мадам дю Верже, она была женой богатого и благочестивого купца. Вторая звалась Мадлен Буане, она была дочерью ремесленника-протестанта, но перешла в католичество. Обе эти особы (в особенности мадам дю Верже) обладали пресловутыми «особыми дарами». Сурен добросовестнейшим образом записывал все видения и откровения, являвшиеся госпоже дю Верже. Свои записи он давал почитать друзьям. В этом ничего дурного, разумеется, не было. Однако зачем уделять так много внимания предмету, природа которого неясна и двусмысленна? Лишь «обычные дары» способны привести душу на небеса, зачем же тогда заниматься «необычными»? Ведь никогда не знаешь, кем явлены эти чудеса — Богом или дьяволом. А может быть, они вообще плод воображения или результат мошенничества? Если отец Сурен стремился к совершенству, то пусть шел бы себе к нему той же дорогой, что и другие члены ордена — дорогой послушания и праведности, молитвы и благочестивого созерцания.

Еще хуже, с точки зрения окружающих, было то, что Сурен не отличался хорошим здоровьем и был подвержен неврозам — или, как их в ту пору называли, «меланхолии». Еще за два года до приезда в Луден он

перенес тяжелое заболевание психосоматического характера. Малейшее физическое усилие вызывало у него острые мышечные боли. Когда он пытался читать, начиналась жестокая головная боль. Временами рассудок Сурена как бы затемнялся, и он жил, одолеваемый «агониями и терзаниями столь непомерными, что не знал, чем все это может закончиться». Может быть, особенности поведения монаха и все его учение были не более чем продуктом больного духа, жившего в нездоровом теле?

Сурен пишет, что многие из иезуитов так до самого конца и не поверили в одержимость луденских монахинь. Он же не испытывал ни малейших сомнений с самого начала, еще до переезда в Луден. Жан-Жозеф верил, что мир насквозь пропитан чудодейственным присутствием сверхъестественного. Это убеждение зиждилось на цельности и крайней доверчивости его натуры. Достаточно было кому-то заявить, что он общался со святыми, ангелами или дьяволами, и Сурен сразу верил такому заявлению полностью и безоговорочно. Проницательностью он явно не отличался. Более того — и с обычным здравым смыслом у него тоже было не все в порядке. Сурен представлял собой парадоксальное, но достаточно распространенное явление: умный и способный человек, который в то же время в некоторых отношениях является полным болваном. Никогда не мог бы он произнести слов господина Теста<sup>[69]</sup>: «Глупость не является моей сильной стороной». Глупость как раз-то и была «сильной стороной» Сурена, не в меньшей степени, чем благочестие и острый ум.

Первый раз Сурен увидел бесов на публичном экзорцизме, который проводили Транкиль, Миньон и кармелиты. Уже заранее убежденный в истинности бесов, после этого спектакля Сурен и вовсе преисполнился веры. Он убедился в абсолютной подлинности дьяволов, «и Господь ниспослал ему столь безграничное сочувствие к несчастным монахиням, что он не мог сдержать слез».

Собственно говоря, сочувствовать монахиням было не из-за чего. Сестра Иоанна пишет: «Дьявол часто доставлял мне несказанное наслаждение, поскольку то, что он проделывал с моим телом, приносило мне немало радости. Я с восторгом слушала, когда меня обсуждали другие люди, и особенно гордилась собой, если вызывала у зрителей больше сочувствия, чем прочие сестры». Однако любое наслаждение, если оно продолжается слишком долго, превращается в свою противоположность. Экзорцисты переусердствовали с урсулинками, и со временем игра перестала быть приятной. Когда публичные экзорцизмы происходили нечасто, они чем-то напоминали пир или оргию. Для женщин, приученных относиться к себе, исходя из самых строгих нравственных устоев,

греховность происходящего была очевидна. Хотя монахи и уверяли, что души одержимых ни в чем не виноваты, сестра Иоанна постоянно терзалась угрызениями совести. «И не удивительно, ибо я очень ясно понимала, что главная причина моего недуга — я сама, а дьявол пользуется лишь теми подсказками, которые я ему даю». Иоанна понимала и то, что неистовство ее поведения объясняется ее собственным желанием. «К немалому моему смятению, я сознавала, что дьявол поступает со мной подобным образом лишь потому, что я согласна идти ему навстречу... Когда же я начинала оказывать ему сильное сопротивление, то все признаки одержимости немедленно исчезали. Увы, противиться им мне хотелось не так уж часто».

Таким образом, монахини хорошо сознавали свою вину — не за свое поведение во время припадков, а за то, что не считали нужным этим припадкам противиться. Периоды терзаний и угрызений сменялись сеансами экзорцизма, которые не могли не восприниматься как праздничная передышка. Слезы если и лились, то не во время припадков, а в перерывах между ними.

С самого начала Сурену была предоставлена высокая миссия изгонять бесов из самой настоятельницы. Когда Лобардемон сказал сестре Иоанне, что призвал на помощь иезуитов и что в наставники к ней назначен самый благочестивый и способный молодой монах во всей Аквитании, настоятельница переполошилась. Иезуиты — это не тупоумные капуцины и кармелиты, которых ничего не стоило водить за нос. Иезуиты умны, образованны, а если этот отец Сурен еще и святоша, тогда совсем плохо. Он сразу же раскусит ее, поймет, когда она действительно чувствует себя одержимой, а когда всего лишь устраивает спектакль. Иоанна стала упрашивать Лобардемона, чтобы он оставил ее на попечении прежних экзорцистов — милого каноника Миньона, славного отца Транкиля и достойных кармелитов. Но Лобардемон и его господин уже приняли решение. Они нуждались в авторитетном подтверждении факта колдовства, а для этого требовалась помощь иезуитов.

Сестре Иоанне не оставалось ничего другого, как согласиться. Несколько недель, оставшихся до приезда Сурена, она потратила на то, чтобы выяснить о новом экзорцисте как можно больше. Писала письма подругам в другие монастыри, донимала расспросами местных иезуитов. Ее цель заключалась в том, чтобы «изучить характер человека, которого ко мне назначили», а потом, выяснив все, что возможно, «держаться с ним как можно более скрытно, никак не посвящая его в состояние моей души — и это мое намерение оставалось твердым». Когда новый экзорцист прибыл,

Иоанна знала о его предшествующей жизни довольно много. Во всяком случае, она позволила себе насмешливо упомянуть о его «буанеточке» (так бесы язвительно обозвали Мадлен Буане). Сурен всплеснул руками, совершенно потрясенный. Это было настоящее чудо, хоть явно inferнального происхождения.

Сестра Иоанна приняла решение держать свои секреты при себе, а все потому, что испытывала к новому экзорцисту активнейшую неприязнь. Всякий раз, когда Сурен приставал к ней с вопросами о состоянии ее души, у настоятельницы приключался припадок (по ее собственным словам, «на нее набрасывались демоны снаружи и изнутри»). Стоило монаху приблизиться, и Иоанна сразу пыталась скрыться. Когда же он заставлял ее выслушивать его речи, она выла и высовывала язык. По словам Иоанны, она «всячески испытывала его терпение, но он был настолько милостив, что относил все эти выходки на счет дьявола».

Все монахини страдали от угрызений совести и сознания греховности своих поступков — вне зависимости от того, причастны к ним были бесы или нет. Настоятельница же имела еще более веские основания для раскаяния. Вскоре после казни Грандье дьявол Исакаарон «воспользовался моим небрежением и чудовищнейшим образом стал искушать мое целомудрие. Он совершил некий акт над моей плотью, акт необычный и возмутительный. Он вселил в меня веру, что я вынашиваю ребенка, да так убедительно, что я всей душой в это поверила». Иоанна призналась сестрам в своей беде, и вскоре множество бесов в один голос стали кричать, что она понесла. Экзорцисты доложили о случившемся комиссару, тот написал его высокопреосвященству. Выяснилось, что у сестры Иоанны уже три месяца нет месячных; ее сильно тошнит, она страдает несварением желудка, из груди выделяется молоко, а живот заметно увеличен. Шли недели, нравственные и физические страдания настоятельницы возрастали. Если она и в самом деле беременна, то ее саму, ее монастырь, а также весь орден урсулинок ожидает страшный позор. Единственным отдохновением от отчаяния были визиты Исакаарона. Бес навещал ее почти каждую ночь. Во тьме кельи Иоанна слышала голоса, чувствовала, как сотрясается ее постель. Невидимые руки сдергивали с нее простыню, кто-то шептал ей на ухо лестные и непристойные слова. Иногда в углу зажигался свет, и Иоанна видела то козла, то льва, то змея, то мужчину. По временам она впадала в каталептическое состояние и лежала, не в силах пошевелиться, а по ее коже как бы ползали маленькие звери, щекоча тело своими усиками и лапками. Жалобный голос просил ее о любовных ласках — пусть она полюбит его, хотя бы совсем немножко. Когда же Иоанна ответила, что «ее честь в руках

Господа, и Всевышний знает, как с этой честью поступить», неведомая сила выкинула ее из постели и избила так сильно, что все лицо распухло, а тело покрылось синяками. «Это происходило очень часто, но Господь дал мне больше мужества, чем я могла помыслить. Но сомнение мое было велико, и я гордилась этими ночными сражениями, полагая, что веду себя образом, угодным Господу, а потому мне нечего терзаться угрызениями совести. И все же угрызения не оставляли меня в покое, и я знала, что веду себя не так, как хотел бы Господь».

Итак, главным обидчиком был Исаааарон, поэтому именно против этого беса Сурен направил свой главный удар. «Слушай меня, Сатана, и изыди». Увы, заклинания не помогали. «Поскольку я не признавалась ему в своих искушениях, соблазны преследовали меня все больше и больше». Исаааарон делался сильнее, а вместе с тем, к ужасу сестры Иоанны, все явственней становились симптомы прогрессирующей беременности. Перед рождением настоятельница раздобыла некие снадобья, которые, согласно галенической медицины, якобы обладали способностью вытравливать плод. Во всяком случае, девушки, попавшие в отчаянное положение, свято верили в их силу.

А что если дитя умрет некрещеным? Ведь тогда его душа пропадет навек. Устрашившись, Иоанна выкинула снадобья.

У нее возник другой план. Она пойдет на кухню, возьмет самый большой нож, разрежет себе чрево, извлечет младенца, окрестит его, а затем либо поправится, либо умрет. Перед новым, 1635 годом Иоанна причастилась и исповедовалась, «однако не признавшись исповеднику в своих намерениях». На следующий день, вооружившись ножом и купелью, она закрылась в маленькой комнате в верхнем этаже монастыря. Там висело распятие. Сестра Иоанна преклонила перед ним колени и стала молиться Господу, чтобы «Он простил ей собственную смерть и смерть маленького создания, ибо после крестин я была намерена его задушить; а также чтобы Он простил мне мою собственную смерть, если мне суждено умереть». Когда она раздевалась, ее охватил «страх вечного проклятия», но страх этот был недостаточно силен, чтобы отвратить ее от замысленного. Сняв рясу, она прорезала в рубахе большую дыру ножницами, взяла нож и попыталась воткнуть его между ребрами в области живота, «твердо намеренная довести дело до горького конца».

Люди истерического склада часто пытаются совершить самоубийство, но им редко это удается. «И, о чудо, вмешалось само Провидение, остановив мою руку! Некая сила вдруг швырнула меня на пол. Нож был вырван из моей руки и упал под распятие». Потом какой-то голос крикнул

ей: «Отступись!» Сестра Иоанна подняла глаза на распятие. Христос простер к ней одну из пригвожденных к кресту рук. Раздались божественные слова, и дьяволы испуганно завывали. Тогда-то настоятельница решила, что изменит свой образ жизни и отныне будет вести себя иначе.

Беременность между тем продолжалась, да и Исакаарон от своего не отступался. Однажды ночью он предложил Иоанне сделку: она станет к нему немножко добрее, а за это он даст ей волшебный пластырь, который высосет плод из чрева. Иоанна заколебалась, но все же ответила отказом. Тогда разозленный бес снова задал ей взбучку.

В другой раз Исакаарон плакал и молил так жалобно, что сестра Иоанна растрогалась до слез и «ощутила желание услышать его мольбы вновь». Желание было исполнено. Ночные встречи продолжались, и конца им не было видно.

Встревоженный Лобардемон послал за знаменитым доктором дю Шеном. Врач приехал, осмотрел настоятельница и подтвердил факт беременности. Тут уж барон запаниковал. Как воспримут эту новость протестанты?

К счастью, Исакаарон публично, во время экзорцизма, обозвал доктора невежой. Он сказал, что все симптомы беременности — от утренней рвоты до выделения молока — насланы бесами. «И потом Исакаарон заставил меня исторгнуть всю кровь, скопившуюся в моем теле. Это произошло в присутствии епископа, нескольких лекарей и многих других людей». После этого симптомы беременности исчезли и больше не возвращались.

Зрители вознесли хвалу господу, так же поступила и настоятельница — во всяком случае устами. Однако ее терзали сомнения. Она пишет: «Демоны убеждали меня, что чудодейственное спасение, благодаря которому я не разрежала себе живот, проистекло не от Господа, а от них; поэтому я должна помалкивать о случившемся и не признаваться в этом даже на исповеди». Позднее, правда, ей удалось избавиться от сомнений и убедить себя в том, что действительно произошло чудо.

Сурен в чуде нисколько не сомневался. Все, происходившее в Лудене, для него относилось к области сверхъестественного. Вера Жан-Жозефа была алчной и неразборчивой. Он верил и в бесов, и в виновность Грандье, и в то, что монахинь со всех сторон одолевают колдуны. Доктрина, гласящая, что дьявол под присягой обязан говорить истину, тоже пришлась ему по сердцу. Хороши были и публичные экзорцизмы, укреплявшие католическую веру и внушавшие страх божий вольнодумцам и гугенотам. Пусть переходят в лоно истинной церкви, наблюдая все эти чудеса. Так же



свято Сурен верил во все фокусы, порождаемые воображением сестры Иоанны.

Чрезмерная доверчивость — тяжелый интеллектуальный недостаток, извинить который может лишь крайнее невежество. Но слепота Сурена была совершенно добровольной. Мы уже знаем, что несмотря на все суеверия эпохи, большинство иезуитов отличались куда меньшей доверчивостью. Они сомневались в существовании бесов, считали поведение своего собрата абсурдным и нелепым, а его жгучий интерес к сверхъестественному постыдным. Мы уже говорили, что глупость являлась одной из «сильных сторон» Сурена. Но, кроме того, он был по-настоящему благочестив и обладал всеми задатками героя. Его целью было христианское совершенство — умерщвление плоти, благодаря которому душа может достичь благого единства с Господом. Эту цель Сурен сулил не только себе, но и всем тем, кто пожелает последовать с ним по пути очищения и кротости. У Жан-Жозефа и прежде находились духовные дочери, почему же не последовать их примеру и настоятельнице? Еще в Маренне ему пришла в голову идея, которую он воспринял как Божье откровение. Он не ограничится одним экзорцизмом, он еще и приобщит Иоанну к духовной жизни, врата которой отворили перед ним мать Изабелла и отец Лальман. Одержимая монахиня избавится от демонов, когда ее душа озарится светом.

Через один или два дня после приезда в Луден он изложил свою идею сестре Иоанне, а в ответ услышал дикий взрыв хохота, исторгнутый Исакаароном, и бранные слова, произнесенные Левиафаном. Бесы сказали, что эта женщина принадлежит им, в ней поселился целый сонм чертей. Какие тут могут быть духовные совершенства и единение с Господом! Да она уже два года не предается благочестивому созерцанию. О каком вообще благочестии может идти речь! Бесы так и покатались со смеху.

Но Сурен не отступился. День за днем, не обращая внимания на кощунства и судороги, он вел неспешную работу со своей подопечной. Подобно Псу Божию, монах следовал по пятам за ее душой и готов был затравить ее хоть до смерти, ибо в данном случае смерть означала вечную жизнь. Настоятельница пыталась спастись бегством, но от Сурена было не отвязаться. Он донимал ее своими молитвами и проповедями, говорил с ней о духовной жизни, молил Господа укрепить ее и просветить, расписывал блага просветленной души. Сестра Иоанна прерывала его издевательским смехом, отпускала скабрёзные шуточки про драгоценную «буанеточку», пела песни, рыгала, хрюкала по-свинячьи. Но иезуит твердил свое и не ведал усталости.

Однажды, после особенно отвратительных выходок дьявола, Сурен взмолился Господу, чтобы Тот освободил сестру Иоанну от страданий и лучше подверг испытаниям самого иезуита. Сурен возжелал изведать все те муки, которые испытывает сестра Иоанна. Пусть и в его душу вселятся бесы, «лишь бы Всемиловейший исцелил ее и вернул на путь добродетели». Сурен даже был согласен на то, чтобы претерпеть крайнее унижение и быть сочтенным безумцем.

Моралисты и теологи утверждают, что подобных молитв произносить нельзя<sup>[70]</sup>. Увы, осторожность не относилась к числу достоинств Сурена. Он продолжал твердить свои безумные, опасные заклинания. Молитва, если она произносится искренне и всерьез, всегда бывает удовлетворена. Иногда вмешательство идет от Господа, но чаще, как мне кажется, происходит материализация идеи, приобретающей вещественную форму из-за того, что человек все время об этом думает. Сурен мечтал о том, чтобы в него вселились бесы. И 19 января это произошло.

Возможно, это случилось бы и без его молитв. Бесы уже умертвили отца Лактанса, да и отцу Транкилю жить оставалось недолго. Если верить Сурену, ни один из экзорцистов в той или иной степени не избежал влияния демонов, которых они пытались изгнать, а на самом деле, наоборот, призывали и удерживали. Нельзя устремляться всеми помыслами ко злу или к идее зла, не подпав под его опасное влияние. Тут главное не впасть в крайность, ведь так легко вести борьбу не *за Господа*, а *против дьявола*. Всякий крестоносец рано или поздно сходит с ума. Он приписывает злобу и порочность своим врагам, а со временем сам становится их вместилищем.

Одержимость чаще всего носит не сверхъестественный характер. Одержимы те, кто испытывает жгучую ненависть к какому-то человеку, классу, расе или нации. В наши дни судьбы мира находятся в руках новых одержимых — людей, которые видят в своих оппонентах олицетворение зла. В чертей новые одержимые не верят, однако сами добровольно опутали свои души сетями. В Бога они верят еще меньше, чем в дьявола, поэтому очень мало надежды на то, что эти люди когда-нибудь исцелятся.

Сосредоточившись на идее сверхъестественного, метафизического зла, Сурен довел себя до иступления, свойственного всем одержимым. Однако с наименьшей силой он верил в идею добра, и в конечном итоге эта вера спасла его.

В начале мая Сурен написал своему другу-иезуиту отцу д'Аттиши, подробно описав все, что с ним произошло. «Со времени последнего письма я впал в состояние, ставшее для меня полной неожиданностью, но, очевидно, полностью совпадающее с видами Провидения на путь моей

души... Я веду борьбу с четырьмя злейшими дьяволами Преисподней... Самое легкое из моих поприщ — экзорцизм, ибо враги мои денно и ночью, тайными способами, истязают меня... Уже три с половиной месяца я постоянно вижу перед собой дьявола. Очевидно, за мои грехи Господь позволил... бесам выйти наружу из тела одержимой и войти в мое тело, дабы мучить и истязать меня помногу часов подряд, так что все видят мой позор<sup>[71]</sup>. Не могу объяснить тебе, что происходит со мной, когда злые духи проникают в меня. Я не утрачиваю сознания и свободы поступков, но в то же время во мне как бы возникает „второе я“, словно у меня две души, одна из которых отодвигается от тела и словно со стороны наблюдает за тем, как вторая, вторгшаяся извне, хозяйничает там и поступает по-своему. Два духа ведут борьбу не на жизнь, а на смерть на арене моего тела. Душа будто раздваивается, и одна ее половина вбирает в себя все дьявольское, а вторая продолжает вдохновляться Господом. В одно и то же время я ощущаю в себе великий покой и милость Божью, но терзает меня и иное чувство — ненависть и отвращение к Господу, проявляющиеся в том, что я пытаюсь освободиться от Него. Схватка эта происходит явно на глазах у всех и повергает их в изумление. Я испытываю радость, восторг, но в то же время и горечь, вырывающуюся из меня в виде стонов и криков, как это обычно происходит с одержимыми. Я ощущаю в себе проклятье и страшусь его. Меня пронзают тернии отчаяния, принадлежащие духу, что вторгся в меня. А тем временем другая моя душа пребывает в полнейшей уверенности, презирает и проклинает свою черную половину. Иногда из моих уст одновременно вырываются крики, принадлежащие обеим душам. И мне трудно бывает понять, что это было — радость или ужас. Меня охватывают судороги, когда ко мне прикасаются Святыми Дарами. Их близость (во всяком случае так мне кажется) ввергает меня в ужас, но вместе с тем я испытываю и искренний священный трепет...

Когда, действуя по побуждению одной из этих двух душ, я пытаюсь сотворить крестное знамение у моих уст, другая душа отталкивает мою руку или же больно кусает палец. В то же время я обнаружил, что молитва звучит искреннее и проникновеннее в самый разгар припадка, когда мое тело катается по земле, и служители церкви разговаривают со мной, будто с дьяволом. Не могу передать тебе то наслаждение, которое я испытываю, превращаясь в дьявола, причем вовсе не из-за мятежа против Господа, а из-за того ничтожества, в которое ввергает меня моя греховность...

Когда другие одержимые видят меня в таком состоянии, приятно слышать, как они торжествуют, как ликуют сидящие в них бесы! „Врач, исцелись сам! Поди-ка произнеси проповедь! Вы только посмотрите, во что

превратился этот проповедник!“... Истинная милость явлена мне: я на собственном опыте вижу, из какого низменного состояния поднимает меня Иисус Христос, я сполна могу оценить величие Его искупительной жертвы, причем не на веру, не понаслышке, а через собственные переживания!..

Вот в каком положении я теперь пребываю почти каждый день. Все спорят из-за меня. Действительно ли я одержим? Возможно ли, чтобы духовная особа оказалась в моем состоянии? Некоторые говорят, что Господь наказал меня за мои фантазии, другие твердят что-то другое. Я же храню душевный мир и не пытаюсь изменить свою судьбу, ибо я твердо убежден: нет ничего лучшего, чем довести себя до последней крайности...»

(В писаниях поздних лет Сурен разворачивает эту тему подробнее. Он пишет, что во многих случаях Господь использует одержимость в качестве процесса очищения, предшествующего озарению. «Господь нередко по Своей безграничной милости позволяет дьяволу вторгнуться в души, которым предназначено подняться на высокий уровень святости». Дьяволы не могут покорять себе человеческую волю, не могут ввергать своих жертв в грех. Все святотатства, непристойности и богохульственные слова не пятнают душу одержимого. Наоборот, они могут принести пользу, потому что душа испытывает такое унижение, что страшится греха. Страдания, муки и унижения, которым демоны подвергают рассудок человека, — «это воск, сгорающий дотла и обнажающий самые глубины сердца». Сам Господь трудится над душой одержимого, и Его действия «так мощны, так вдохновляющи, так ослепительны, что душа, предавшаяся милости Всевышнего, делается необычайно прекрасной»).

Свое письмо отцу д'Аттиши Сурен заканчивает просьбой хранить это признание втайне. «Кроме моего исповедника и начальников ты — единственный человек, кому я доверяюсь». К сожалению, Сурен доверился не тому, кому следовало. Отец д'Аттиши показывал письмо всем подряд. С этого послания было сделано множество копий, а несколько месяцев спустя письмо даже вышло отдельной книжкой. Сурен стал скандальной знаменитостью — вроде осужденных убийц или шестиногих телят.

Левиафан и Исакаарон не оставляли его в покос. Однако, невзирая на телесные и духовные страдания, Сурен не отступился от своей миссии — очистить и спасти сестру Иоанну. Если она бежала от своего экзорциста, Сурен следовал за ней. Когда он загонял ее в угол, она бросалась на него, но он не отступался. Опускался на колени у ее ног, читал молитвы. Иногда садился рядом с ней и, преодолевая сопротивление, излагал ей духовную доктрину отца Лальмана. «Внутреннее совершенство, кротость перед Святым Духом, очищение сердца, подчинение воли Господу...» Бесы,

сидевшие в настоятельнице, выли и корчились, но Сурен продолжал, хотя ему тоже был слышен хохот Левиафана и похабные шутки Исаакаарона, беса похоти.

Но Сурену приходилось воевать не только с демонами. Даже в периоды психического здоровья (а точнее, особенно в эти периоды) настоятельница не скрывала своей неприязни к иезуиту. Она не любила его, потому что боялась разоблачения. Ведь в периоды просветления Иоанна отлично понимала, кто она на самом деле: истеричка, лицедейка, нераскаявшаяся грешница. Сурен умолял ее быть с ним откровенной, а в ответ она завывала дьявольским голосом или же целомудренно говорила, что признаваться ей не в чем.

Отношения между пастырем и духовной дочерью осложнились тем, что на пасхальной неделе сестра Иоанна вдруг почувствовала «сильнейшую и порочнейшую привязанность» к тому самому мужчине, которого так боялась и ненавидела. Она не могла заставить себя признаться в этом грехе. В конце концов сам Сурен, после трехчасовой молитвы перед Святыми Дарами, первым заговорил о «дьявольских соблазнах», которые его одолевают. Сестра Иоанна пишет: «Невозможно и передать, как поразило меня это признание». Час был поздний, и монах вскоре удалился, а настоятельница все не могла прийти в себя. Наконец она решила, что пришло время не только изменить линию поведения по отношению к Сурену, но и вообще весь свой образ жизни. Решение это было принято лишь ее сознанием, а демоны, поселившиеся в ее подсознании, рассудили иначе.

Когда Иоанна пыталась читать, слова не проникали в ее рассудок. Когда она пробовала думать о Боге, у нее начинались мучительные головные боли, а также «странные приступы слабости». Сурен знал только одно средство: созерцательная молитва. Иоанна согласилась, хотя дьяволы разъярились еще пуще. При одном упоминании о внутреннем совершенстве они повергали тело Иоанны в судороги.

Сурен клал ее на стол, крепко привязывал веревками, чтобы она не причинила себе вреда. Сам опускался на колени и шептал ей на ухо о благе медитации. «Главной моей темой было обращение сердца к Господу, всецелое повиновение Его воле. Я разделил свою речь на три части, и каждую изложил матери-настоятельнице самым простым и доступным образом».

Этот обряд повторялся изо дня в день. Настоятельница лежала связанная, словно перед хирургической операцией, и надеялась только на милость Божью. Она корчилась, кричала, но монах не прекращал своих

нашептываний. Иногда Левиафан перекидывался с монахини на экзорциста, и тогда отец Сурен вдруг утрачивал дар речи. Тут настоятельница начинала покатываться от сатанинского хохота. Но потом молитвы возобновлялись — с того самого места, где были прерваны.

Если дьяволы слишком уж неистовствовали, Сурен доставал серебряную шкатулку, в которой лежала освященная просфора, и прикладывал ее к сердцу или лбу настоятельницы. После судорог «она преисполнялась великой веры, а я нашептывал ей на ухо то, что подсказывал мне Господь. Она слушала меня очень внимательно и погружалась в глубокие раздумья. Воздействие этих слов на ее сердце было так велико... что слезы выступали у нее на глазах».

Произошло преобразование, однако явно истерического толка, построенное на театральности и игре фантазий. Восемью годами ранее, еще будучи юной монахиней, сестра Иоанна добилась расположения тогдашней настоятельницы, изображая из себя вторую святую Терезу. Правда, ни на кого, кроме старой аббатисы, это лицедейство впечатления не произвело. Затем Иоанна сама стала настоятельницей, получила власть над обителью и утратила интерес к мистицизму. Потом началось ее внезапное эротическое помешательство на Урбене Грандье. Невроз усугублялся все больше и больше. Каноник Миньон заговорил о бесах, стал читать экзорцистские молитвы, одолжил Иоанне книгу о процессе над колдуном Жоффриди. Настоятельница прочитала это произведение и вообразила себя такой королевой беснующихся урсулинок. Отличаясь непомерным честолюбием, она хотела перещеголять своих подопечных во всем — в кощунствах, в непристойности, в акробатических фокусах. Сама она отлично понимала, что «все изъяны ее души проистекают из ее натуры» и «что она сама повинна во всех своих злосчастиях, а вовсе не какие-то внешние причины». Под воздействием Миньона «изъяны души» Иоанны переродились в семь бесов, что вселились в ее тело. Бесы зажили своей собственной, независимой жизнью и подчинили себе монахиню. Чтобы избавиться от них, надо было прежде преодолеть свои дурные привычки и порочные устремления. Новый наставник твердил Иоанне, что она должна молиться, должна открывать душу Божественному свету. Рвение Сурена было заразительным. Растроганная искренностью монаха, Иоанна, кроме того, угадывала за его увлеченностью истинную веру. Сурен знал, о чем он говорит, и Иоанне тоже захотелось приблизиться к Господу. Но сделать это она предпочитала каким-нибудь живописным образом, и желательно на глазах у публики. Прежде она была королевой одержимых урсулинок, теперь же она станет святой. Или, во всяком случае, все станут

воспринимать ее как святую, ее канонизируют еще при жизни, она научится делать чудеса...

Иоанна увлеклась новой ролью со всей присущей ей неиссякаемой энергией. Поначалу она предавалась созерцанию по тридцать минут в день. Потом увеличила время до трех-четырёх часов. Одновременно она стала подвергать себя всевозможным аскезам. Отказалась от пуховой перины и стала спать на голых досках; вместо соуса пищу ей теперь поливали горьким отваром; она носила власяницу и пояс, утыканный гвоздями; по меньшей мере трижды в день секла себя кнутом, а однажды (во всяком случае, как пишет она сама) подвергала себя флегелляции целых семь часов.

Сурен, свято веровавший в умерщвление плоти, всячески поощрял свою питомицу. Он давно уже заметил, что бесы, насмехающиеся над церковными обрядами, пускаются наутек от хорошей взбучки. Кроме того, кнут — отличное средство и от меланхолического склада натуры. В свое время то же самое открытие сделала святая Тереза: «Повторю снова (ибо я встречала в своей жизни много людей, страдающих сей меланхолической болезнью), что нет иного средства одолеть бесов, кроме как приложив к этому все доступные нам средства... Если не хватает слов, нужно прибегать к карам; если легких кар недостаточно, необходимы тяжкие. Может показаться несправедливым, — говорит святая, — что мы наказываем слабых и немощных сестер, как если бы они были крепки и здоровы, но это для их же блага».

Не следует забывать о том, что невротики обладают способностью калечить психику и других людей. Сестра Тереза свидетельствует: «Очень часто несчастье проистекает от мятежного духа, которому не хватает воспитания и смирения... Используя дурной нрав (или меланхолию), Сатана завоевал немало душ. Сейчас, в наши дни, это свершается куда чаще, чем прежде, а все потому, что себялюбие и попустительство ныне называют болезнью». В эпоху, когда люди верили в абсолютную свободу воли и порочность человеческой природы, лечение невротиков при помощи физических средств воздействия было весьма эффективным. Возможно ли применять такую терапию сегодня? В каких-то случаях, вероятно, и можно. Для большинства же больных лучшая терапия — не шок, а разговор по душам. Во всяком случае, эта метода больше соответствует современному интеллектуальному климату.

Из-за многолетних церемоний экзорцизма и постоянного присутствия публики в часовне монастыря предаваться благочестивому созерцанию было не так-то просто. Поэтому с начала лета 1635 года сестра Иоанна и ее

наставник стали встречаться наедине, под самой крышей обители. Там установили решетку, разделившую помещение надвое. Из-за железных прутьев Сурен наставлял свою ученицу в премудростях мистической теологии. А настоятельница рассказывала ему о своих искушениях и соблазнах, о схватках с демонами, о чудодейственных свершениях, которых она достигает при помощи созерцания. Они подолгу сидели молча, предаваясь медитации. По словам Сурена, чердак стал «домом ангелов и вместилищем райских восторгов», суливших тем, кто их вкушает, особую благодать. Однажды, размышляя о пренебрежении к физическим страданиям, которые проявил Спаситель во время Своих Страстей, сестра Иоанна впала в экстатическое состояние, а когда припадок миновал, сказала Сурену через решетку, «что она приблизилась к Господу вплотную и получила поцелуй из Его уст».

Как относились ко всему этому другие экзорцисты? Что думали об этих свиданиях добрые луденцы? Сурен пишет, что «люди ворчали: почему этот иезуит каждый день запирается наедине с монахиней? Я отвечал им: вы даже не понимаете, каким важным делом я занимаюсь. Мне казалось, что я вижу в этой одержимой душе разом и адский огонь и райское сияние; одна половина этой души была охвачена любовью, другая ненавистью, и обе эти силы тянули душу в свою сторону».

Однако то, что видел Сурен, было сокрыто от взоров остальных. Эти самые остальные знали, что иезуит проводит долгие часы в разговорах со своей подопечной вместо того, чтобы подвергать ее экзорцизму. Коллегам Сурена попытка вывести одержимую на путь христианского совершенства казалась глупой и бессмысленной, тем более, что и сам Сурен тоже стал одержимым и частенько подвергался экзорцизму. В мае, когда брат короля Гастон Орлеанский приехал полюбоваться на демонов, на Жан-Жозефа набросился Исакаарон, совершивший вылазку из тела сестры Иоанны. Сама настоятельница сидела спокойная, сдержанная, с иронической улыбкой, а экзорцист катался по полу в конвульсиях. Принц, правда, остался доволен, но Жан-Жозеф очень страдал из-за нового унижения, которому подверг его Господь.

Никто из иезуитов не сомневался в чистоте намерений Сурена, однако поведение монаха воспринималось как неразумное и неосмотрительное, ибо порождало сплетни. Уже в конце лета отца провинциала стали убеждать, что Сурена нужно вызвать в Бордо.

Иоанне тоже пришлось вкусить немало горечи. Она готовилась к новой роли — святой девы, надеялась на то, что будет иметь в этом амплуа огромный успех, а вместо этого «Господь послал мне новое испытание в



виде бесед с моими сестрами; я говорила с ними о дьяволах, что их искушали; но большинство из сестер прониклись ко мне великой неприязнью, потому что увидели, как изменилась я сама и мой образ жизни. Бесы нашептывали им, что это дьявол произвел во мне такую перемену, дабы я могла смотреть на них свысока и пристыжать их. Когда я находилась с сестрами, демоны подговаривали некоторых из них смеяться надо мной и передразнивать меня, что доставляло мне немало боли». Во время экзорцизмов монахини называли свою настоятельницу *le diable devot* — «благочестивая дьяволица». Того же мнения придерживались и все экзорцисты, кроме Сурена. Тщетно сестра Иоанна уверяла их, что святой Иосиф наделил ее даром созерцательной молитвы; тщетно проявляла она скромность, говоря, что «Божественное Величие даровало мне такую степень углубленности в молитву, что мне открываются большие озарения, а Господь просвещает мою душу особым образом». И вместо того чтобы простереться ниц перед носительницей Божественной мудрости, экзорцисты говорили ей, что она подвержена иллюзиям, которые являются обычным уделом одержимых. Столкнувшись с подобным жестокосердием, настоятельница находила спасение либо в безумии, либо на чердаке, со своим дорогим, добрым, доверчивым отцом Суреном.

Но и с ним все было непросто. Он охотно верил всему, что она рассказывала о своих божественных дарованиях, но идеалы святости, исповедуемые Жан-Жозефом, были чересчур суровы, да и о характере сестры Иоанны он придерживался весьма невысокого мнения. Одно дело признаваться в том, что ты чувственна и горда, но совсем другое, когда тебе тычут этим в лицо. Сурен не довольствовался тем, что корил сестру Иоанну за пороки, он постоянно старался их исправить. Жан-Жозеф был убежден, что в настоятельницу вселились бесы, но так же твердо верил он и в то, что жертва сама повинна в этом, потому что не может избавиться от своих недостатков. Поэтому, по словам Сурена, было необходимо «напасть на лошадь, чтобы сбросить всадника». Лошади не нравилось, что на нее нападают. Ибо, хотя сестра Иоанна твердо решила «достичь божественного совершенства» и уже воображала себя святой, процесс вхождения в святость оказался болезненным и трудным. Сурен очень серьезно относился к ее мистическим переживаниям, и это льстило, но, к неудовольствию настоятельницы, еще более серьезно он относился к покаянию и аскезе. Когда Иоанна задирала нос, он немедленно возвращал ее на землю. Когда она требовала, чтобы для нее организовали какой-нибудь пышный спектакль вроде публичного покаяния в грехах или разжалования из ранга настоятельницы в обычные послушницы, Сурен

возражал. Ему нужны были каждодневные, не явные, но существенные доказательства умерщвления гордыни и плоти. Если Иоанна начинала изображать из себя знатную даму (а это случалось с ней частенько), Сурен обращался с ней как с кухаркой. Истошив свое терпение, она находила пристанище в гневе гордого Левиафана, в богохульствах Бегемота или непристойных шутках Валаама. Сурен же, вместо того чтобы прибегнуть к экзорцизму, любимой забаве дьяволов, подвергал их порке. Настоятельница соглашалась на это испытание, потому что в основе ее поступков лежало искреннее желание добиться совершенства. «Мы можем противиться церкви, — жаловались бесы, — мы плевали на попов, но противиться воле этой стервы мы не в силах». Черти сносили порку то жалуясь, то ругаясь — в зависимости от своего характера. Крепче всех был Левиафан, на втором месте Бегемот. Но Валаам и Исакаарон ужасно боялись боли. «Чудесное было зрелище, — рассказывает Сурен, — когда демон похоти был под ударами». Правда, удары были легкими, но крики все равно были истошными, а слезы обильными. Бесы оказались более чувствительны к боли, чем сестра Иоанна. Однажды, находясь в нормальном состоянии, она целый час секла себя, чтобы избавиться от некоторых психосоматических симптомов, насланных на нее Левиафаном. Но в большинстве случаев хватало нескольких минут порки, и бесы бросались наутек, а сестра Иоанна могла двигаться дальше по пути самоусовершенствования.

Путь этот был тернистым и, с точки зрения настоятельницы, обладал одним существенным недостатком: он был не замечен со стороны. Можно было достичь каких угодно вершин совершенства, напрямую общаться с небесами, но как это доказать? Никак. Иоанна рассказывала окружающим о своих свершениях, а те лишь качали головой и пожимали плечами. Когда же она начинала вести себя как святая мать Тереза, все покатывались со смеху или злились на нее, называя лицемеркой. Не хватало чего-то более убедительного, сверхъестественного.

О дьявольских чудесах речи больше идти не могло. Сестра Иоанна перестала быть королевой одержимых, она стремилась к прижизненной канонизации. Первое из ее «божественных чудес» произошло в феврале 1635 года. Однажды Исакаарон признался, что три неведомых колдуна, два из Лудена и один из Парижа, завладели тремя освященными просфорами, дабы сжечь их в огне. Сурен немедленно велел Исакаарону отправляться в Париж, чтобы извлечь просфоры из-под матраса, где они были спрятаны. Исакаарон отправился в путь и не вернулся. В помощь ему откомандировали Валаама. Тот сначала упрямылся, но все-таки, не выдержав схватки с ангелами, повиновался. Бесам было велено принести

просфоры на следующий день, когда закончится послеобеденный экзорцизм. В назначенный час Валаам и Исакаарон предстали перед Суреном и, после судорог и конвульсий, объявили, что просфоры спрятаны в нише над алтарем. «Тут демоны заставили тело настоятельницы вытянуться до необычайной длины». Иоанна была маленького роста, но ее неестественно вытянувшаяся рука достала до ниши и вынула оттуда листок бумаги, в который были завернуты три просфоры.

Этот фокус, весьма неуклюжий, Сурен считал великим знамением. Но в автобиографии сестры Иоанны история с просфорами упоминается лишь мельком. Возможно, она стеснялась трюка, с помощью которого одурачила своего доверчивого наставника. Или же, с ее точки зрения, чудо оказалось недостаточно значительным? Да, она участвовала в этой истории, но на вторых ролях. Ей же хотелось сотворить чудо, которое будет принадлежать ей и только ей. Осенью того же года ее мечта осуществилась.

В конце октября, поддавшись давлению со стороны орденовой братии, провинциал Аквитанский велел Сурену возвращаться в Бордо, а на его место назначил иного, менее эксцентричного монаха. Когда эта новость дошла до Лудена, Левиафан пришел в восторг, а сестра Иоанна, напротив, впала в уныние. Она чувствовала: нужно что-то делать. Стала молиться святому Иосифу, и он даровал ей веру, что «Господь поможет нам одолеть этого гордого демона». Три или четыре дня настоятельница болела, не вставала с кровати, а потом ей стало лучше, и она попросила устроить обряд экзорцизма. «Так случилось, что в тот день (5 ноября) многие достойные люди пришли в храм, чтобы посмотреть на экзорцизм — я усматриваю в этом особую милость Господа». («Особая милость» бывала явлена всякий раз, когда в церковь приходили какие-нибудь важные персоны. Именно в присутствии аристократии бесы и свершали самые живописные свои деяния).

Начался экзорцизм, и сразу же «появился Левиафан, самодовольно хвастаясь, что одержал победу над служителем церкви». Сурен призвал беса к смирению, требуя, чтобы тот поклонился Святым Дарам. Как положено, Левиафан завыл и задергался. «Но Господь в извечном милосердии Своем дал нам то, на что мы не осмеливались и надеяться». Левиафан простерся ниц (собственно говоря, это сделала сестра Иоанна) у ног экзорциста. Бес признал, что плел козни против доброго имени Сурена, и стал молить о прощении. Потом, пройдя судорогой по телу настоятельницы, Левиафан покинул свою жертву — навсегда. Это был истинный триумф для Сурена и его методы. Прочие экзорцисты изменили свое отношение к Жан-Жозефу, и провинциал решил дать Сурену еще один

шанс.

Сестра Иоанна добилась того, чего хотела, а главное — продемонстрировала, что и сама может властвовать над дьяволами. Они способны превратить ее в юродивую, но и сама она, при желании, может сделать так, что они вообще исчезнут.

После бегства Левиафана на лбу у настоятельницы появился красный крест и оставался там в течение целых трех недель. В качестве чуда это выглядело неплохо, но требовалось что-нибудь поэффектней.

К делу подключился Валаам. Он заявил, что готов покинуть тело настоятельницы, но на память напишет у нее на левой руке свое имя, и надпись эта останется до самой ее смерти. Сестре Иоанне не понравилась перспектива всю жизнь расхаживать с автографом нечистого. Если уж Валаам хочет оставить надпись, то пусть это будет имя святого Иосифа.

Следуя совету Сурена, она девять раз совершила моления в честь этого святого. Валаам всячески пытался воспрепятствовать благому замыслу. Настоятельница чувствовала себя слабой и больной, но не отступалась. Однажды утром, накануне мессы Валаам и Бегемот (бесы злобного хохота и кощунства) залезли к ней в черепную коробку и устроили такой дебош, что сестра Иоанна не смогла совладать с собой. Повинуясь неодолимому желанию, она бросилась в трапезную и там «набросилась на еду с неутолимой жадностью и съела больше, чем трое изголодавшихся людей за целый день». После такой трапезы причащаться было нельзя, и это ставило весь замысел под угрозу.

Охваченная горем, сестра Иоанна воззвала к Сурену о помощи. Он надел ризу и взялся за дело. «Снова в меня вселился бес и вывернул меня наизнанку, да так обильно, что это превосходило все человеческие возможности». Потом Валаам поклялся, что теперь желудок монахини совершенно пуст, и отец Сурен допустил свою подопечную к причастию. «Лишь благодаря этому я исполнила служение святому Иосифу до конца».

29 ноября бес злобного хохота наконец удалился. При этом событии, среди прочих зрителей, присутствовали два англичанина: Уолтер Монтегю, сын первого графа Манчестера, недавно перешедший в католичество и веривший в чудеса с рвением неофита, а также его юный друг и протеже Томас Киллигрю, будущий драматург. Через несколько дней Киллигрю написал другу в Англии длинное письмо, описывая все, что видел в Лудене<sup>[72]</sup>. Киллигрю пишет, что зрелище «превзошло все его ожидания». Гуляя по церкви, он увидел, как четыре или пять монахинь тихо молятся, преклонив колени, а у них за спиной стоят экзорцисты, держа в руке веревку, привязанную к шее каждой из монахинь. С веревки свисали

маленькие крестики — это был «поводок», при помощи которого экзорцист мог удерживать беснующихся чертей в повиновении. Пока же, впрочем, все было тихо и спокойно. «Я не увидел ничего примечательного, кроме этих коленопреклонений». Но полчаса спустя две из монахинь пришли в возбуждение. Одна вцепилась монаху в горло, а другая высунула язык, обняла экзорциста за шею и попыталась поцеловать. Все это время раздавался дикий вой. Потом Томаса позвал Уолтер Монтегю, чтобы посмотреть на то, как одержимые монахини будут угадывать мысли на расстоянии. С Монтегю у бесов проблем не возникло, однако мысли самого Томаса Киллигрю разгадать они не смогли. Все время бесы возносили моления за Кальвина и проклинали римско-католическую церковь. Потом один из бесов вдруг исчез. «Туристы» спросили, куда он подевался. Монахиня ответила так непристойно, что редактор «Европейского журнала» не осмелился напечатать ее ответ.

Затем начался экзорцизм хорошенькой сестры Агнессы. Я уже рассказывал, как Киллигрю описывает эту сцену. Зрелище того, как двое крестьян держали девушку за руки, а монах торжествующе топтал ногами ее белую шею, наполнило сердце юного кавалера ужасом и отвращением.

На следующий день все началось заново, но на сей раз спектакль вышел более интересным. Киллигрю пишет: «Когда молитвы закончились, она (настоятельница) обернулась к монаху (Сурену), и он набросил ей на шею веревку с крестами, завязав ее в три узла. Монахиня все это время стояла на коленях и молилась. Потом встала, поклонилась перед алтарем и уселась на подобие кушетки, специально установленной в часовне для экзорцизма. (Интересно, сохранился ли до наших дней этот прообраз кушетки из психоаналитического кабинета?) Опустившись на это сиденье, монахиня проявила столько смирения и терпения, что можно было подумать, будто молитвы монахов уже вернули ее на путь добродетели и изгнали дьявола. Настоятельница привязали двумя веревками, обхватив одной из них вокруг талии, а второй вокруг ног. Когда к лежащей приблизился священник со Святыми Дарами, она тяжело вздохнула и вся задрожала, словно ее должны были подвергнуть пыткам. Но вела себя она при этом все так же смиренно. Впрочем, и остальные монахини проявляли не меньше кротости. Во время экзорцизма одна из них сама легла на кушетку и призвала монахов, чтобы они покрепче ее связали. Странно видеть, как пристойно и целомудренно ведут себя монахини, когда они находятся в своем обычном состоянии. Лица их скромны, как и подобает девам, посвятившим свою жизнь вере. Вот и настоятельница в начале экзорцизма лежала мирно и спокойно, и можно было подумать, что она

спит...»

Сурен взялся за дело, и через несколько минут перед ним предстал Валаам. Последовали стоны, вопли, страшные кощунства, чудовищные гримасы. Внезапно живот сестры Иоанны начал раздуваться и вскоре выглядел так, будто монахиня находилась на последней стадии беременности. Раздулись и груди, словно не желая уступать животу. Экзорцист приложил священные реликвии к опухолям, и те немедленно спали. Киллигрю шагнул вперед и дотронулся до руки монахини. Кожа была холодной, пульс медленным и спокойным. Но настоятельница оттолкнула его и принялась сдирать с себя головной убор. Обнажилась наголо стриженная голова. Иоанна закатила глаза, высунула язык — он был распухшим, черным и пупырчатым, словно плохо выделанная кожа. Сурен развязал одержимую, повелев Валааму склониться перед Святыми Дарами. Сестра Иоанна соскользнула с кушетки на пол. Долгое время Валаам упрямился, но в конце концов исполнил положенный обряд. «Потом, — пишет Киллигрю, — все еще лежа на спине, она изогнулась дугой и, отталкиваясь ногами, поползла по полу, причем опиралась на свой голый череп. Принимала она и иные противоестественные позы, подобных которым я никогда не видел и ранее почитал невозможными для человека. Причем продолжалось все это очень долго, не менее часа, и за все это время она не пролила ни капельки пота, не сбилась с дыхания». Язык Иоанны свисал на сторону, «раздутый до невероятных размеров; рот перестал закрываться. Потом я услышал, как она визжит, будто ее рвут на куски. Она все время повторяла одно слово: „Иосиф“. Тут все монахи вскочили и принялись кричать: „Знак, сейчас появится знак!“ Один из них взял ее за руку и стал смотреть. Мистер Монтегю и я сделали то же самое. Я увидел, как кожа ее руки краснеет, вдоль вены появляются красные пятна, складывающиеся в буквы. Получилось слово „Иосиф“. Иезуит сказал, что бес заранее обещал, что так и будет».

Все это было тщательнейшим образом запротоколировано и скреплено подписями экзорцистов. Монтегю сделал приписку по-английски, расписался, и Киллигрю тоже поставил свою подпись. Правда, письмо Киллигрю другу заканчивается в довольно легкомысленном тоне: «Надеюсь, ты всему этому веришь, ибо на свете есть лгуны и более бесстыжие, чем твой покорный слуга — Томас Киллигрю».

Со временем кроме имени Иосифа на руке появились имена Иисуса, Марии и Франциска Сальского. Сначала цвет букв был красным, через неделю или две бледнел, но всякий раз добрый ангел сестры Иоанны обновлял письма. Это явление началось зимой 1635 года и продолжалось

до Иоаннова дня 1662 года. После этого имена исчезли «по неизвестной причине (пишет Сурен), если, конечно, не считать причиной неустанные молитвы матери-настоятельницы, обращенные к Господу, дабы Он избавил ее от этой напасти, отвлекающей ее от истинного благочестия».

Сурен, некоторые из его коллег, а также большинство зрителей сочли сии невиданные стигматы особой милостью Всевышнего. Однако более образованные современники отнеслись к чуду скептически. Эти люди вообще не верили в одержимость, и уж тем более не верили в чудодейственное происхождение таинственных писем. Некоторые из них, например Джон Мейтленд, полагали, что буквы вытравлены на коже кислотой; другие склонялись в пользу версии о цветном крахмале. Многие обратили внимание на то, что письма почему-то появлялись не на обеих руках, а только на левой — то есть монахине было бы совсем не трудно вывести их правой рукой.

Габриэль Леге и Жиль де ла Туретт, издатели автобиографии сестры Иоанны, полагают, что здесь речь может идти о самовнушении, приводя в качестве примера несколько схожих случаев истерической стигматизации. Можно добавить к этому, что у истериков кожа обладает особой чувствительностью. Бывает достаточно слегка провести по ней ногтем, и появляются красные полосы, не сходящие много часов.

Самовнушение, намеренный обман или смешение того или другого — можно выбрать любое объяснение. Я склоняюсь к последнему: соединение первого и второго. Вероятно, стигматы выглядели достаточно достоверно, и Иоанна воспринимала их как подлинное чудо. А если речь шла о чуде, то почему бы его слегка не подправить и не приукрасить, чтобы порадовать публику и придать себе больше веса? «Священные имена», появлявшиеся на руке настоятельницы, похожи на романы Вольтера Скотта: основаны на фактах, но слеплены из фантазии и вымысла.

Наконец-то у сестры Иоанны появилось свое собственное чудо, принадлежавшее только ей. И чудо это стало постоянным. Добрый ангел появлялся вновь и вновь, восстанавливая поблекшие письма, так что Иоанна всегда могла предъявить их знатым посетителям или жадной до чуда толпе. Настоятельница сама превратилась в живую реликвию.

Исаакарон покинул ее 7 января 1636 года. Оставался только Бегемот; этот демон святотатства оказался крепче всех остальных, вместе взятых. Не помогали ни экзорцизмы, ни покаяния, ни созерцательные молитвы. Насильственное внедрение религии в неподготовленный и не натренированный разум привело к обратному действию — разум взбунтовался и стал яростно хулить те истины, которые ему навязывались.

Отрицание и противление превратились в злого духа, угнездившегося в подсознании Иоанны и не желавшего оттуда выходить. Сурен сражался с Бегемотом более десяти месяцев и в октябре наконец сдался. Провинциал отозвал его в Бордо, к настоятельнице же прислали другого иезуита.

Отец Рессе был сторонником так называемого «простого» экзорцизма. Сестра Иоанна говорит, что новому экзорцисту больше всего нравилось, когда бесы поклонялись Святым Дарам. Если Сурен пытался «сбросить всадника, нападаая на лошадь», то Рессе ничтоже сумняшеся воевал с ездоком, невзирая на чувства и состояние «лошади».

«Однажды, — пишет настоятельница, — собрались знатные гости, и добрый отец решил устроить экзорсизм ради их духовного блага». Иоанна сказала своему наставнику, что больна и обряд повредит ее здоровью. «Но добрый отец, твердо намеренный произвести экзорсизм, повелел мне укрепиться духом и довериться Господу, после чего приступил к обряду». Сестра Иоанна проделала все свои обычные фокусы, после чего ей стало хуже. Она слегла с высокой температурой и резкой болью в боку. Позвали доктора Фантона, который, хоть и был гугенотом, но считался лучшим лекарем в городе. Иоанне трижды пускали кровь, пичкали ее лекарствами. Лечение подействовало, у больной «опорожнилось чрево и истекла кровь, что продолжалось семь или восемь дней». Ей стало лучше, но через несколько дней вновь наступило ухудшение. «Отец Рессе хотел возобновить экзорцизмы, а меня все время тошнило». Снова поднялась температура, заболел бок, началось кровохарканье. Вызвали Фантона, который объявил, что у Иоанны плеврит. В течение семи дней он семь раз пускал ей кровь, четыре раза делал клистир. Потом объявил, что болезнь смертельна. И ночью сестре Иоанне был голос. Голос сказал, что она не умрет, что Господь намеренно довел ее до самого смертного порога, дабы явить ей Свою мощь во всей Своей славе. Дабы она исцелилась, уже обретаясь у самых врат смерти.

Еще два дня положение ее ухудшалось, и 7 февраля умирающую причастили. Послали за врачом. Дожидаясь его прихода, сестра Иоанна произнесла следующую молитву: «Господи, я всегда знала, что Ты намеренно подверг меня этой болезни, дабы явить Свою безграничную силу. Если это так, то низведи меня в такое состояние, чтобы врач объявил меня обреченной». Пришел доктор Фантона, осмотрел больную и поставил диагноз: она умрет через час, самое большее через два. Потом вернулся домой и написал соответствующее послание Лобардемону, в то время находившемуся в Париже. Врач писал, что пульс прерывистый, желудок растянут, а слабость достигла такой степени, что клистир уже не действует.



На всякий случай он все же вставил настоятельнице лечебную свечку в надежде, что это средство «принесет облегчение ее неописуемым страданиям». Но надеяться на это средство не следует, ибо монахиня явно умирает.

В половине седьмого сестра Иоанна впала в беспамятство, и ей явился добрый ангел — прекрасный юноша восемнадцати лет с длинными золотистыми кудрями. Сурен говорит, что ангел этот был как две капли воды похож на герцога де Бофора, сына Сезара де Вандома, который родился от любви Генриха IV и Габриэли д'Эстре. Юный принц недавно побывал в Лудене, чтобы посмотреть на бесов, и его длинные золотые волосы произвели на настоятельницу глубокое впечатление.

После ангела явился святой Иосиф, положил руку на правый бок монахини, на то самое место, где ее одолевали боли, и смазал плоть какой-то мазью. «После этого я пришла в себя и совершенно исцелилась».

Снова произошло чудо. Сестра Иоанна продемонстрировала, что обладает сверхъестественной силой. Точно так же, как прежде она изгнала Левиафана, на сей раз она избавилась от смертельно опасной и даже неизлечимой болезни.

Она встала с ложа, оделась, спустилась в часовню и вместе с другими сестрами запела благодарственную молитву. Опять послали за доктором Фантоном, рассказали ему о случившемся. Гугеноту было сказано, что Господь — лучший лекарь, чем земные врачи. «Тем не менее, — пишет настоятельница, — он не перешел в истинную веру и, более того, в будущем отказался нас пользоваться».

Бедный доктор Фантон! После возвращения Лобардемона врач предстал перед целой комиссией магистратов, которые требовали, чтобы он поставил свою подпись под свидетельством о чудодейственном исцелении Иоанны. Врач отказался. Когда его спросили, почему он упорствует, Фантон ответил, что внезапные выздоровления случаются не так уж редко и могут происходить вполне естественным путем. «В человеке содержится невидимая субстанция, именуемая гумором, которая может выделяться через поры кожи или же перемещаться из жизненно важных органов в менее важные. Тревожные симптомы, производимые воздействием гумора, при этом могут облегчаться или вовсе исчезать. На гумор воздействует естество, равно как и иные гуморы, среди которых встречаются как вредоносные, так и исцеляющие». Далее доктор Фантон заявил, что «гумор может выходить из тела с выделениями мочи и кала или же с блевотиной, потом и кровью; процесс этот невидим глазу, и часто бывает, что больные, одолеваемые воспаленным гумором, внезапно избавляются от него

вследствие некоего внутреннего кризиса. Это может происходить под воздействием лекарств, назначенных больному ранее, но сразу не подействовавших. Понемногу выходя из тела больного, гумор уносит с собой и причину болезни. Верно также и то, что гумор действует, подчиняясь лишь своим собственным законам». В общем, как мы видим, Мольер в своей пьесе ничуть не преувеличил невежество тогдашних врачей.

Миновало два дня. Внезапно настоятельница вспомнила, что на ее рубашке остались следы той мази, которой смазал ее святой Иосиф. В присутствии сестер она сняла рясу, «и мы вдохнули чудесный аромат. На рубашке обнаружилось пять пятен, от которых исходило райское благоухание».

В «Смешных жеманницах» Горгибус спрашивает служанку: «Где твои юные хозяйки?» Маротта отвечает: «У себя в комнате». «Что они там делают?» «Губную помаду». В тот век всякая следящая за собой женщина должна была сама изготавливать косметику. Рецепты кремов, лосьонов, помады и духов свято хранились в тайне, передавались по наследству или, в знак особенной дружбы, близким подругам. Сестра Иоанна с давних пор слыла мастерицей по этой части. Скорее всего, «чудесный елей Святого Иосифа» имел не божественное, а вполне земное происхождение. Но как бы там ни было, пять пятен можно было видеть и обонять. Настоятельница пишет: «Невозможно себе представить, с каким благоговением все отнеслись к этому знамению, и сколько чудес Господь совершил при помощи этих пятен».

Таким образом, у сестры Иоанны теперь было два собственных первоклассных чуда: письма на руке, а вдобавок к этому — благоухающая рубашка, осененная высшей благодатью. Но и этого было ей мало. Настоятельница считала, что, оставаясь в Лудене, зарывает свой талант в землю. Конечно, в город заглядывали и паломники, и вельможи, и прелаты. Но сколько на свете людей, которые никогда не доберутся до Лудена! А король с королевой! А его высокопреосвященство! А все герцоги, маркизы, маршалы Франции, папские легаты, чрезвычайные и полномочные послы, доктора Сорбонны, аббаты, епископы, архиепископы! Разве можно лишать всех этих достойных господ возможности собственными глазами увидеть чудо, а также смиренную свидетельницу и носительницу Божьей благодати?

Если бы Иоанна сама высказала подобное пожелание, оно прозвучало бы неуместным и чересчур самоуверенным, поэтому первым идею выдвинул Бегемот. Однажды, после особенно утомительного экзорцизма,

отец Рессе спросил беса, почему он так упорствует. Нечистый ответил, что ни за что не покинет тела настоятельницы, пока она не совершит паломничества к гробнице святого Франциска Сальского в Аннеси, в Савойском герцогстве. Сколько священник ни старался, сколько ни предавал черта анафеме, Бегемот лишь улыбался. К прежнему ультиматуму он прибавил новый: нужно снова вызвать отца Сурена, иначе путешествие в Аннеси ничего не даст.

И к середине июня Сурен снова появился в Лудене. Но устроить паломничество оказалось труднее, чем вернуть прежнего экзорциста. Генерал ордена иезуитов Вителлески не желал, чтобы один из его подопечных разъезжал по Франции в компании монахини. В то же время и епископ Пуатевенский не соглашался отпускать свою монахиню путешествовать с иезуитом. Возник и вопрос денег. Королевская казна, как обычно, пустовала. Вся история с луденскими одержимыми и так обошлась королю слишком дорого: субсидии монахиням, жалованье экзорцистам и прочее, и прочее. А тут еще эта развлекательная поездка в Савойю. Но Бегемот стоял на своем. Единственная уступка, на которую он пошел, состояла в том, что паломничество не обязательно должно состояться прямо сейчас, но сестра Иоанна и Сурен обязаны дать обет отправиться в Аннеси впоследствии — иначе Бегемот свою жертву не покинет. И он настоял на своем.

Сурен и сестра Иоанна получили позволение встретиться у гробницы святого Франциска, если отправятся туда по отдельности и разными дорогами. Обеты были принесены, и чуть позже, 15 октября, Бегемот ретировался. Сестра Иоанна наконец была свободна от демонов. Через две недели Сурен вернулся в Бордо. Следующей весной, охваченный бесовским неистовством, скончался отец Транкиль. Экзорцисты — те из них, кто еще оставался жив, — разъехались по домам, ибо жалованья им больше не платили. Ненадолго задержались и бесы. Как только ими перестали заниматься, они, один за другим, отправились восвояси. После шести лет неустанной борьбы воинствующая церковь признала свое бессилие перед чертями, и сразу же после этого чертей как не бывало. Затянувшаяся оргия закончилась. А если бы экзорцисты вообще не появились, то не было бы и никаких демонов.

## Глава десятая

Приступая к описанию паломничества сестры Иоанны, мы на несколько коротких недель перемещаемся из тихого провинциального городка в большой мир. Это мир, который мы знаем из учебников истории. Там вращаются венценосные особы, придворные интриганы, сластолюбивые герцогини и властолюбивые прелаты. Это мир большой политики и высокой моды, мир Рубенса и Декарта, науки, литературы, учености. Наша героиня на время покинула Луден, где ее окружали семь бесов и шестнадцать истеричек, и ступила туда, где семнадцатое столетие сияло во всем своем великолепии.

Очарование истории заключается в том, что от века к веку все меняется, и в то же время все остается неизменным. Читая про людей, живших в иные эпохи и принадлежавших иным культурам, мы узнаем в них свое человеческое «я», но в то же время мы видим, как изменился образ жизни человечества. То, о чем наши предки только догадывались или мечтали, стало реальностью, как и многое такое, что им и в голову не приходило. Но сколь бы ни были важны и значительны перемены, свершившиеся в области техники, общественного устройства и норм поведения, все эти метаморфозы не столь уж существенны. Как и прежде, в центре мироздания находится человек. Он все так же подвержен физическому увяданию и смерти, зависит от боли и наслаждений, колеблется между любовью и ненавистью, между стяжательством и самоотрешенностью. Перед людьми стоят те же самые проблемы, возникают те же искушения, и всякий из нас должен делать тот же самый выбор — между падением и просветлением. Меняются формы, но содержание и смысл остаются прежними.

Сестра Иоанна, конечно, не могла понимать, какая великая революция происходит в научной мысли в ту эпоху, когда она жила. Иоанна понятия не имела об открытиях, сделанных Галилеем, Декартом, Харвеем или ван Хельмонтом. С детства она знала только одну реальность: общественную иерархию и установленный порядок мыслей. Во время паломничества ей довелось познакомиться с этой стороной жизни ближе.

В культурном смысле семнадцатый век, особенно во Франции, представлял собой продолжительную попытку со стороны правящего меньшинства выйти за пределы своего телесного существования. Более чем в какой-либо иной период истории вельможи тщились отождествить себя

со своим общественным положением. Им мало стало носить громкий титул, они хотели слиться с титулом воедино. Эти люди поставили себе задачей слиться со своими должностями, со своими обретенными или унаследованными привилегиями. Отсюда возник и сложнейший этикет и церемониал, все головоломные законы чести, кровного родства и изящных манер. Отношения возникали не между живыми людьми, а между титулами, генеалогиями и должностями. Например, кому дозволяется сидеть в королевском присутствии? Для Сен-Симона, жившего в конце столетия, этот вопрос представлял первостепенную важность. Но и тремя поколениями раньше над тем же ломал себе голову маленький Людовик XIII. Уже в четырехлетнем возрасте он возмущался тем, что его незаконнорожденный сводный брат герцог Вандомский сидит за одним столом с ним, да еще в шляпе. Отец дофина король Генрих IV повелел, чтобы «Фефе Вандом» сидел рядом с принцем и шляпы не снимал, так что наследнику пришлось повиноваться, но он был крайне недоволен. Нет более яркого воплощения теории о божественности королевской власти, чем пресловутое ношение шляпы. В девятилетнем возрасте Людовика XIII передали на воспитание от гувернантки к гувернеру. В присутствии своего августейшего питомца гувернер, разумеется, должен был находиться с непокрытой головой. Этот закон оставался в силе даже тогда, когда гувернер подвергал дофина порке по приказанию короля или королевь-матери. Принц снимал штаны, но оставался в шляпе, а подданный сек его до крови, оставаясь без головного убора. Это зрелище являло собой иллюстрацию к несокрушимой истине: «Как ни обращайся с королем, все равно он помазанник Божий».

Стремление вырваться за пределы плоти и крови очень явственно проявляется в искусстве этой эпохи. Короли и королевы, дамы и господа хотели, чтобы все воспринимали их не живыми людьми, а аллегориями: сверхъестественно мощными, — божественно здоровыми, умопомрачительно величественными — то есть именно такими, какими их изображал Рубенс. Аристократы платили огромные деньги за портреты Ван Дейка, потому что художник изображал их рафинированными, элегантными и благородными. В театре эти люди рукоплескали героям и героиням Корнеля, потому что те олицетворяли собой волю, силу, сверхъестественные достоинства. Классический театр потому и придерживался единства времени, места и действия, что зрители хотели видеть в нем не изображение реальной жизни, а аллегорию жизни — упорядоченную, введенную в рамки, идеальную. Такую жизнь, которой не хватало высокородным зрителям.

В области архитектуры общее настроение эпохи проявлялось в тяге к монументальности. На эту тему есть стихотворение у Эндрю Марвелла, который был мальчиком во время строительства дворца Ришелье, и умер незадолго до того, как достроили Версаль.

Зачем, Адама сын убогий,  
Возвел ты пышные чертоги?  
Лесной зверек в норе таится,  
Гнездо в ветвях свивает птица,  
А домоседка-черепаха  
В свой панцирь прячется со страха.  
Для всякой твари нездорово  
На белом свете жить без крова.  
Но человек один лишь тщится  
В таких хоромах поселиться,  
Где в беломраморных стенах  
Собой он явит тлен и прах.

По мере того как разрастались «беломраморные стены», парики «тлена и праха» становились все пышнее, а каблуки башмаков все выше. Король Солнце и его придворные ковыляли на высоченных котурнах и носили на голове целые башни из конского волоса, тем самым давая понять, что они мощнее самого Самсона в расцвете его могущества.

Нечего и говорить, что эти попытки преодолеть границы естественного всегда заканчивались неудачей, причем двойной: у наших предков, живших в семнадцатом веке, не получалось не только быть величественными, но даже и казаться таковыми. То есть душа стремилась к этой недостижимой задаче, но плоть, увы, оказывалась слишком слабой. «Великий век» не обладал достаточными материальными и организационными возможностями, чтобы эффектно обустроить спектакль сверхчеловеческого величия. Этот эффект, к которому так стремились Ришелье и Людовик XIV, может быть достигнут лишь при помощи профессиональных постановщиков и имиджмейкеров, появившихся только в двадцатом веке. Для успеха подобной мистификации нужен мощный технический арсенал, огромные денежные средства и наличие хорошо выдрессированного персонала. В семнадцатом веке всего этого еще не было. Не хватало даже самых элементарных технических приспособлений. Та самая *machina*, из которой появляется *deus*, была еще слишком

несовершенной. Ришелье и сам Король Солнце принадлежали к числу «старых фермопильцев, ни на что путное не годных». Знаменитый Версаль представлял собой гигантское, но скучное и не слишком впечатляющее зрелище. «Живые картины», столь модные в семнадцатом столетии, всегда были прескверно отрежиссированы. Вследствие недостаточной отрепетированности все время происходили смехотворные накладки, способные испортить любую торжественную церемонию. Вспомним историю с похоронами «великой мадемуазель», двоюродной сестры Людовика XIV, служившей посмешищем для всего Парижа. После смерти, согласно своеобразным обычаям того времени, тело принцессы было расчленено и похоронено по частям: голова в одном месте, конечности в другом, сердце и прочая требуха в третьем. При этом внутренние органы были так плохо забальзамированы, что гнилостные процессы в них не прекратились. Газ накопился в порфирном сосуде, который вследствие этого превратился в некое подобие анатомической бомбы. Эта бомба взорвалась прямо в разгар погребения, до смерти напугав всех присутствующих.

Подобные физиологические казусы происходили не только посмертно. Авторы мемуаров и собиратели анекдотов о семнадцатом веке без конца пишут о том, как кто-то рыгнул или испортил воздух в высочайшем присутствии. Пишут и о зловонии, исходившем от королей, герцогов и маршалов. Генрих IV, например, славился тем, что от него всегда исходил сильный запах пота. Придворный красавчик Бельгард постоянно шмыгал носом, от любвеобильного Бассомпьера потом несло не меньше, чем от его господина. Распространенность всех этих историй красноречивейшим образом свидетельствует о том, как тщетны были попытки великих мира сего придать себе величие и благородство. Именно из-за того, что вельможи так чванились и важничали, обществу нравилось потешаться над ними, напоминая им и себе, что ничего сверхчеловеческого в этих людях нет.

Кардинал Ришелье и вовсе держался полубогом, желая соответствовать своему высокому положению — светскому, духовному, политическому и литературному. Но этот несчастный старик страдал тяжелой и мучительной болезнью, столь отвратительной для окружающих, что люди с трудом находились с ним в одном помещении. У Ришелье был костный туберкулез правой руки и трещина в прямой кишке, так что он был постоянно окружен запахом испражнений. Musk и благовония слегка приглушали, но не до конца забивали запах гниения. Ришелье постоянно помнил о том, что он вызывает у окружающих непреодолимое отвращение.

Таков был разительный контраст между полубожественным положением этого человека и его жалкой плотью. На современников этот парадокс производил неизгладимое впечатление. Когда из города Мо в кардинальский дворец доставили мощи святого Фиакра (известного тем, что он помогает исцелять геморрой), анонимный поэт откликнулся на это событие стихами, которые, вероятно, привели бы в восторг самого Свифта.

Святые мощи очень быстро  
Несли чрез комнаты министра.  
Блаженный вряд ли был бы рад  
Вкусить чудесный аромат,  
Что беспрестанно источала  
Гнилая жопа кардинала.

А вот кусок из другой баллады, описывающей последнюю болезнь великого кардинала.

Он угасал, и на его глазах  
Рука больная догнивала,  
Та самая рука, что всем на страх  
Пожар войны над миром разжигала.

Разрыв между гниющим заживо стариком и величием его персоны выглядел поистине непреодолимым. Если воспользоваться выражением Жюль де Готье, в данном случае «боварический угол», отделяющий реальность от фантазии, приближался к 180 градусам. В эпоху, когда божественное право королей, духовных особ и вельмож представлялось неоспоримым (а потому особенно часто подвергалось осмеянию), случай кардинала Ришелье выглядел как поучительная притча. Чудовищное зловоние, изъеденная червями живая плоть — все это казалось современникам справедливым воздаянием за дела кардинала. Когда великий человек умирал и ему уже не помогали ни священные реликвии, ни доктора, к Ришелье призвали старую крестьянку, слывшую великой целительницей. Бормоча какие-то заклятия, она заставила больного выпить чудодейственный эликсир — четыре унции конского навоза, разбавленные в белом вине. Таким образом, вершитель судеб Европы отошел в мир иной, ощущая во рту вкус навоза.



Когда сестра Иоанна встретила с кардиналом, он находился в зените славы, но уже был очень нездоров, терзался жестокими болями и нуждался в постоянном врачебном уходе. В тот день господину кардиналу пускали кровь, и ворота его Руэльского замка были закрыты для всех, даже для епископов и маршалов Франции. Тем не менее нас провели в его покои, хотя его высокопреосвященство находился в постели. После ужина («он был великолепен, и нам прислуживали пажи») мать-настоятельница и ее компаньонку из числа урсулинок провели в спальню. Они преклонили колена, чтобы кардинал благословил их, затем последовали долгие препирательства по поводу того, смеют ли они сидеть в его присутствии. («Соревнование учтивости с его стороны и смирения с нашей продолжалось довольно долго, но в конце концов я была вынуждена повиноваться»).

Ришелье начал разговор с того, что упомянул о великом долге настоятельницы перед Господом, Который выбрал именно ее в сей век всеобщего неверия, чтобы пострадать за честь церкви и способствовать исправлению грешников и спасению душ.

Сестра Иоанна рассыпалась в благодарностях. Она и ее монахини никогда не забудут, что его высокопреосвященство защитил их от злопыхателей, обвинявших бедных сестер в мошенничестве, и стал им не только отцом, но и матерью, попечителем и защитником.

Кардинал не остался в долгу. Он сказал, что, наоборот, это он должен благодарить провидение за то, что оно предоставило ему возможность защищать угнетенных. (Все эти слова, по замечанию настоятельницы, он произносил «с обворожительной учтивостью и любезностью»).

Потом великий человек спросил, может ли он посмотреть на священные письма, запечатленные на руке сестры Иоанны. Далее настала очередь и елеса святого Иосифа. Иоанна развернула рубашку. Прежде чем взять реликвию в руки, кардинал благочестиво снял ночной колпак. Потом понюхал чудодейственную ткань и, дважды ее поцеловав, воскликнул: «Какой прекрасный аромат!» «Почтительно и восхищенно» свернув рубашку, он приложил ее к шкатулке, стоявшей на столике подле кровати — очевидно, для того, чтобы зарядить содержимое шкатулки чудодейственной силой елеса. По просьбе Ришелье настоятельница рассказала (должно быть, уже в тысячный раз), как свершилось ее волшебное исцеление. Потом она преклонила колени и кардинал благословил ее еще раз. Встреча была окончена. На следующий день его высокопреосвященство прислал ей пятьсот ливров, чтобы покрыть расходы на паломничество.

Когда читаешь рассказ сестры Иоанны об этой аудиенции, поневоле вспоминаешь письма, где кардинал иронически укоряет Гастона Орлеанского за чрезмерную доверчивость. «Я счастлив слышать, что луденские бесы совершили такой переворот в душе вашего высочества и что вы теперь совершенно отказались от богохульств, которыми прежде злоупотребляли». В другом месте он пишет: «Вдохновение, которое вы обрели благодаря Луденским дьяволам, поможет вам в скором времени стать на долгий путь, который приведет вас к добродетели». Есть и еще одно упоминание о Лудене. Узнав от курьера, что принц заболел болезнью, «которую сам и заслужил», Ришелье выражает сочувствие его высочеству и предлагает в качестве спасения от недуга «экзорцизм при помощи доброго отца Жозефа». Эти письма, адресованные брату короля, написаны тем самым человеком, который отправил Урбена Грандье на костер, но при этом они полны иронии и скептицизма. Ирония, допустим, объясняется тем, что Ришелье не мог отказать себе в удовольствии «сбить спесь» с вышестоящих — это было его извечное пристрастие. Но как быть со скептицизмом и цинизмом? Когда его высокопреосвященство был искренним: когда подшучивал над колдовством и бесами или же когда целовал священную рубашку? Вероятнее всего, кардинал, будучи человеком умным, отлично понимал, что вся луденская история — сплошное мошенничество или же добровольное заблуждение. Вера Ришелье в бесов объяснялась исключительно политическими причинами. Увы, публика восприняла процесс не так, как ему хотелось бы. Этот всеобщий скептицизм помешал планам кардинала развернуть инквизиторскую кампанию по борьбе с колдовством, которая укрепила бы королевскую власть. Но все равно усилия не пропали даром. Отрицательный результат — это тоже результат. Правда, невинного человека подвергли пыткам и сожгли на костре, но, в конце концов, лес рубят — щепки летят. Да и потом, от этого священника кардиналу были одни неприятности — лучше уж было от него избавиться.

Но потом у кардинала снова начинало болеть плечо, а постыдные язвы не давали спать по ночам и изводили мучительными болями. Ришелье звал врачей, но они мало чем могли ему помочь. В ту пору медицина в основном полагалась на «целительные силы природы». Увы, в этом недужном теле природа уже ничего исцелить не могла. Ришелье пугался: а что если его недуг имеет сверхъестественное происхождение? Он посылал за реликвиями и образами, требовал, чтобы все молились за его выздоровление. Втайне великий человек заглядывал в гороскоп, прижимал к груди священные талисманы, бормотал заклятья, которым еще в детстве

его научила старая нянька. Когда наступал очередной приступ, двери дворца закрывались «даже для епископов и маршалов Франции», и в эти периоды Ришелье готов был поверить во что угодно — не только в виновность Урбена Грандье, но даже в чудодейственный елей святого Иосифа.

Для сестры Иоанны аудиенция у его высокопреосвященства стала важным, но далеко не единственным событием ее триумфальной поездки. Из Лудена в Париж, а потом в Аннеси она путешествовала, осененная славой и сопровождаемая рукоплесканиями. Еще более лестными были приемы в аристократических салонах.

В Туре Иоанну «с необычайной любезностью и добротой» принял сам архиепископ Бертран де Шо, восьмидесятилетний вельможа, прославившийся страстью к азартным играм, а в последнее время превратившийся во всеобщее посмешище из-за комичной влюбленности в мадам де Шеврез, которая была на пятьдесят лет младше прелата. «Он сделает для меня все, что я захочу, — говорила госпожа де Шеврез. — Достаточно только позволить ему, когда мы рядом сидим за столом, ущипнуть меня за ляжку».

Выслушав историю сестры Иоанны, архиепископ приказал, чтобы священные письма на ее руке были изучены комиссией врачей. Настоятельница выдержала это испытание с честью, и после этого вокруг монастыря, где она остановилась, собиралось уже не по четыре тысячи человек, как прежде, а по меньшей мере семь тысяч.

Была еще одна встреча с архиепископом, на сей раз в присутствии Гастона Орлеанского. Принц приехал в Тур, потому что у него здесь жила любовница, шестнадцатилетняя Луиза де ла Марбельер, позднее родившая ему сына, покинутая своим высоким покровителем и ушедшая в монастырь. «Герцог Орлеанский встретил меня у самых дверей гостиной; он тепло меня приветствовал, поздравил меня с чудодейственным выздоровлением и сказал: „Я однажды приезжал в Луден, и бесы, поселившиеся в вас, изрядно меня напугали; благодаря им я избавился от привычки к сквернословию и поклялся себе, что отныне стану лучше и добрее“. Произнеся эти слова, он оставил меня и подошел к Луизе».

Из Тура настоятельница и ее свита отправились в Амбуаз. Там посетителей, желавших взглянуть на священные письма, было так много, что двери монастыря оставались открытыми до одиннадцати часов вечера.

На следующий день в Блуа толпа, выломав двери, ворвалась в гостиницу, где сестра Иоанна вкушала трапезу.

В Орлеане взглянуть на настоятельница, остановившуюся в

урсулинской обители, пришел местный епископ. Он посмотрел на руку и воскликнул: «Нельзя прятать от людских взоров чудо Божье, пусть посмотрят на него все люди!» Двери обители были распахнуты, и толпа вдоволь налюбовалась на письмамена.

В Париже настоятельница гостила у господина де Лобардемона. Здесь к ней часто навещались господин де Шеврез и князь де Гимене, а вокруг дома ежедневно собиралась толпа до двадцати тысяч человек. «Более всего смущало меня то, — писала сестра Иоанна, — что эти люди хотели не просто посмотреть на мою руку, но еще и задавали мне множество вопросов об одержимости и изгнании дьяволов. В конце концов мне пришлось издать книжку, благодаря которой публика смогла узнать о самых важных событиях, произошедших с тех пор, как бесы вселились в мое тело, и до тех пор, когда они меня покинули; особую главу я посвятила появлению священного имени на моей руке».

Последовал визит к господину де Гонди, архиепископу Парижскому. Этот прелат был настолько учтив, что проводил настоятельница до самой кареты, после чего парижане и вовсе посходили с ума. Подобно голливудской кинозвезде, сестра Иоанна уже не принадлежала себе. Она была вынуждена с утра до вечера просиживать у раскрытого окна на первом этаже, чтобы толпа могла вдоволь на нее налюбоваться. Так Иоанна сидела с четырех утра до десяти вечера, облокотившись на подушку и демонстрируя всем свою замечательную руку. «Я не могла ни послушать мессы, ни поесть. Погода стояла жаркая, а толпа теснилась так густо, что у меня началось головокружение, и в конце концов я упала в обморок».

Встреча с кардиналом Ришелье состоялась 25 мая, а несколькими днями позже, по повелению королевы, настоятельница в карете Лобардемона отвезли в Сен-Жермен-ан-Лэ. Там она долго беседовала с Анной Австрийской, и королева в течение целого часа сжимала в своих венценосных пальцах замечательную руку урсулинки, «в восхищении глядя на явление, коего не бывало с самых первых дней существования церкви». Королева воскликнула: «Как могут люди сомневаться в столь чудодейственном событии, побуждающем людей к большему благочестию? Те, кто не верит в это чудо, являются врагами церкви».

О приезде кудесницы доложили самому королю, который решил дать ей аудиенцию. Он внимательно рассмотрел священные письмамена и сказал: «Я никогда не сомневался в истинности этого чуда, но теперь я вижу, что моя вера еще более укрепилась». Потом он позвал придворных, отзывавшихся о луденских событиях со скептицизмом, и продемонстрировал им вещественное доказательство.

— Ну что вы на это скажете? — спрашивал его величество, показывая им руку сестры Иоанны.

«Но эти люди, — пишет настоятельница, — не пожелали сдаваться. Не стану упоминать имена этих господ, ибо это было бы немилосердно по отношению к ним».

Единственная неловкость, возникшая в этот знаменательный день, произошла, когда королева попросила отрезать ей кусочек священной рубашки, «дабы она, посредством молитв святого Иосифа, обрела счастливое разрешение от бремени». (В это время Анна Австрийская была на шестом месяце беременности, вынашивая будущего Людовика XIV). Настоятельница пришлось ответить, что вряд ли Богу понравится, если эту священную реликвию станут резать на куски. Буде на то воля ее величества, лучше уж пусть королева забирает себе всю рубашку целиком. Однако же, присовокупила Иоанна, если рубашка останется в ее смиренном владении, то от этого будет большая польза для верующих, которые смогут собственными глазами смотреть на эту священную реликвию и поклоняться своему покровителю святому Иосифу. Королева дала себя убедить, и настоятельница вернулась в Париж, сохранив свою драгоценность.

После поездки в Сен-Жермен все дальнейшие события выглядели уже не такими блестящими — даже двухчасовая беседа с архиепископом Санским, даже тридцатитысячная толпа зевак и разговор с папским нунцием, который сказал, что «не видел в Божьей церкви явления более чудесного, чем это», и что он не может взять в толк, «как гугеноты с своей слепоте все еще продолжают упорствовать, хотя им явлено столь незыблемое доказательство».

20 июня сестра Иоанна и ее спутники покинули Париж. Повсюду, где бы они ни останавливались, собирались людские толпы, и паломников принимали у себя прелаты и вельможи. В Лионе, куда они прибыли четырнадцать дней спустя, их посетил архиепископ Альфонс де Ришелье, старший брат премьер-министра и тоже кардинал. Родители хотели, чтобы Альфонс стал мальтийским рыцарем. Однако мальтийским рыцарям по уставу полагалось уметь плавать, а Альфонс этим искусством так и не овладел. Поэтому ему пришлось довольствоваться митрой епископа Люсонского, принадлежавшей членам рода Ришелье. Впоследствии Альфонс стал монахом, а после взлета его младшего брата, был сделан сначала архиепископом Экса, а потом и Лиона. У этого прелата была превосходная репутация, однако временами он впадал в помрачение рассудка. В эти периоды кардинал надевал алую мантию, расшитую

золотом, и утверждал, что он — Бог Отец. Кажется, психическая болезнь передавалась в роду Ришелье по наследству. Рассказывают, что и сам всемогущий министр иногда воображал, будто он не человек, а лошадь.

Кардинал Альфонс так заинтересовался священными письменами, что пожелал испытать их хирургическим путем. Возможно ли стереть их естественными средствами? Схватив ножницы, прелат приступил к эксперименту. «Я взяла на себя смелость, — пишет сестра Иоанна, — сказать ему: „Сударь, вы делаете мне больно“. Тогда кардинал послал за своим лекарем и повелел ему „сбрить“ письма. Я стала возражать: „Сударь, мои начальники не дали мне позволения на такое испытание“. Господин кардинал спросил меня, что это за начальники». Настоятельница не растерялась. Она сказала, что имела в виду герцога-кардинала, и эксперимент был немедленно отменен.

На следующее утро прибыл не кто иной, как отец Сурен. Он уже побывал в Аннеси и теперь направлялся домой. Жан-Жозефа одолела временная немота, явно истерического происхождения, хотя сам он был уверен, что это происки дьявола. Сурен молился об избавлении от этой напасти у гробницы святого Франциска Сальского, но молитвы не подействовали. У монахинь-визитандинок имелся большой запас сушеной крови святого. В свое время слуга святого Франциска собирал в сосуд кровь всякий раз, когда хирург делал святому кровопускание. Аббатиса Иоанна де Шанталь прониклась к Сурену жалостью и дала ему проглотить комоч священной крови.

На миг к Сурену вернулся дар речи, и он воскликнул: «Иисус Мария!» Увы, после этого словесный дар вновь его покинул.

Посоветовавшись, лионские отцы-иезуиты решили, что Сурен и его спутник отец Фома должны повернуть обратно и сопровождать настоятельницу до конечного пункта паломничества. По дороге в Гренобль произошло событие, которое сестра Иоанна называет «поистине поразительным». Когда отец Фома начал читать молитву Творцу, отец Сурен вдруг разверз уста и стал ему вторить. Отныне он мог говорить беспрепятственно.

В Гренобле Сурен воспользовался вернувшимся голосом, чтобы произнести несколько красноречивых проповедей о священном елее и магических письменах. Есть что-то трогательное и жалкое в том, как этот ревностный слуга Божий всякий раз путал добро со злом, а истину с ложью. Надрывая свое больное горло, он выкрикивал с амвона слова, полные неистовой веры, пытаясь убедить паству в справедливости юридического убийства, в священности истерии и чудодейственности

мошенничества. Все это было содеяно к вящей славе Господней. Но благость намерений стоит немногого, если не сопровождается нравственностью цели и средств. Человек может стремиться к добру, но если при этом он действует неподобающим образом, последствия получаются катастрофическими. Чрезмерная доверчивость и непонимание человеческой психологии приводили к тому, что люди, подобные Сурену, никак не могли навести мост между традиционными религиозными верованиями и открытиями быстро развивающейся науки. Сурен был человеком талантливым и потому не имел права на глупость, а в большинстве случаев он себя вел именно как глупец. Он стал жертвой собственного рвения, а рвение это оказалось вредоносным<sup>[73]</sup>.

В Аннеси, куда они прибыли через пару дней после отъезда из Гренобля, выяснилось, что слава чудодейственного елея уже достигла и этих мест. Местные жители собрались издалека, чтобы поглазеть на паломников и вдохнуть священный аромат. С утра до ночи Сурен и Фома только тем и занимались, что подносили священную рубашку ко всевозможным предметам, принесенным верующими: четкам, крестам, образкам и даже кусочкам меди и бумаги.

Настоятельница же поселилась в визитандинском монастыре, аббатисой которого была мадам де Шанталь. Мы открываем автобиографию сестры Иоанны, рассчитывая прочесть в ней немало страниц, посвященных этой прославленной последовательнице святого Франциска. Однако выясняется, что Анне Австрийской или неаппетитному Гастону Орлеанскому Иоанна уделила куда больше места. Святой Иоанне де Шанталь посвящен один-единственный маленький абзац: «Рубашка со священным елеем изрядно загрязнилась. Посему госпожа де Шанталь и ее монахини выстирали ее, после чего пятна восстановили свой первоначальный вид». Вот и все.

Чем объясняется столь странное умолчание, когда речь заходит о достославной основательнице ордена визитандинок? Можно лишь догадываться. Вероятно, госпожа де Шанталь оказалась чересчур проницательна, и когда сестра Иоанна, согласно своему обыкновению, начала изображать из себя святую Терезу, на аббатису это не произвело никакого впечатления. У людей по-настоящему святых есть обескураживающий дар заглядывать в самую душу человека, не обращая внимания на маски. Очень возможно, что бедняжка Иоанна почувствовала себя голой и незащищенной перед мудрым взглядом этой доброй старой женщины. И Иоанне стало стыдно.

По дороге домой, в Бриаре, иезуиты распрощались с монахинями.

Сестре Иоанне не довелось никогда больше встретиться с человеком, который пожертвовал собой, дабы вернуть ей психическое здоровье. Сурен и Фома повернули на запад, в Бордо; остальные же двинулись на Париж, где сестра Иоанна снова встретилась с королевой. Она еле успела в Сен-Жермен, потому что в ночь на 4 сентября 1638 года у ее величества начались роды. Подвязка Пресвятой Девы, привязанная к поясу королевы, и рубашка матери Иоанны, которой было накрыто высочайшее чрево, оказали благое воздействие, и в одиннадцать часов утра Анна Австрийская благополучно разрешилась младенцем мужского пола, которому пять лет спустя было суждено стать королем Людовиком XIV. «Таким образом, — пишет Сурен, — святой Иосиф продемонстрировал свою благую силу, не только обеспечив королеве счастливое деторождение, но и подарив Франции короля, могущественнейшего и величайшего из всех, монарха мудрого, осторожного и благочестивого».

Когда стало ясно, что королева находится в добром здравии, сестра Иоанна упаковала свою рубашку и отправилась домой, в Луден. Двери обители распахнулись перед ней и закрылись вновь, чтобы никогда больше не открываться. Короткий миг славы для настоятельницы закончился. Однако она так и не смогла смириться со скукой повседневной жизни, которая должна была отныне стать ее уделом. Незадолго до Рождества Иоанна заболела легочной болезнью. По ее собственным словам, врачи уже отчаялись ее вылечить. «Господь наделил меня великим желанием покинуть вас и отправиться на Небеса, — сказала она своему исповеднику. — Но кроме того, Он наделил меня знанием, что если я еще задержусь на земле на малое время, то смогу принести Ему немалую пользу. А посему, святой отец, приложите ко мне, пожалуйста, священный елей, и я непременно выздоровею». Никто не сомневался в том, что чудо свершится, и исповедник сестры Иоанны даже пригласил гостей полюбоваться на это великое свершение. В ночь на Рождество «в нашей церкви собралось огромное множество людей, которые хотели посмотреть, как я буду исцелена». Гости познатнее получили места в непосредственной близости от комнаты, где лежала больная. Через решетку можно было заглянуть внутрь.

«Когда настала ночь и мне стало совсем дурно, отец Аланж, иезуит, в полном священническом облачении, вошел ко мне в келью, неся священную рубашку. Он приблизился к моему ложу, приложил реликвию к моему челу и начал повторять литанию святого Иосифа, собираясь произнести ее до самого конца. Но стоило ему приложить реликвию к моей голове, как я тут же почувствовала себя совершенно здоровой. Однако я



решила не показывать виду, пока святой отец не закончит молитву. Лишь тогда я объявила, что исцелена, и попросила принести мне одежду».

Возможно, это чудо, чересчур уж срежиссированное, не произвело на публику особенного впечатления. Во всяком случае, в дальнейшем чудес больше не происходило.

Время шло. Тридцатилетняя война все никак не кончалась. Ришелье делался все богаче и богаче, народ — все беднее и беднее. Крестьяне бунтовали против высоких налогов, буржуазия (в том числе и отец Паскаля) — против снижения процентов по облигациям государственного займа. Урсулинки же жили в Лудене безо всяких событий. Раз в несколько недель (добрый) ангел (по-прежнему похожий на господина де Бофора, только поминиатюрнее — примерно трех с половиной футов росту и на вид лет шестнадцати) восстанавливал линияющие письма на левой руке настоятельницы. Чудодейственная рубашка, помещенная в красивую шкатулку, хранилась среди самых драгоценных реликвий монастыря.

В конце 1642 года Ришелье умер, а через несколько месяцев за ним последовал в могилу Людовик XIII. Анна Австрийская и ее любовник кардинал Мазарини стали управлять страной от имени пятилетнего короля и справлялись с этой задачей весьма скверно.

В 1642 году сестра Иоанна начала писать мемуары и обзавелась новым духовником-иезуитом, отцом Сен-Журом, которому она посылала свои творения, а также неоконченный манускрипт Сурена о дьяволах. Сен-Жур одолжил эти рукописи епископу Эвре, который как раз вел борьбу с демонами в Лувьере. Там происходила точно такая же оргия безумия и злобы, как в Лудене. «Мне кажется, — писал Лобардемон настоятельнице, — что ваши с отцом Сен-Журом послания очень пригодились в этом деле».

Менее удачным, чем лувьерский процесс, оказался спектакль, разыгранный в Шиноне отцом Барре. Сначала вроде бы все шло удачно. Несколько молодых женщин, в том числе принадлежащих к лучшим фамилиям города, заразились истерическим поветрием. Там было все как полагается: кошунства, судороги, разоблачения, непристойности. К сожалению, одна из одержимых — девица по фамилии Белокен — имела зуб на местного священника отца Гилуара. Однажды утром в церкви она плеснула из бутылки петушиной кровью на алтарь, а потом, во время сеанса экзорцизма, призналась отцу Барре, что это кровь ее девства, которого она лишилась в полночь по вине отца Гилуара, изнасиловавшего ее прямо на алтаре. Барре, разумеется, поверил девице на слово и принялся расспрашивать других демонов, поселившихся в ее теле. Количество

инкриминирующих подробностей возрастало с каждой минутой. Но дело закончилось скверно. Та женщина, у которой Белокен купила петушка, заподозрила неладное и донесла судье. Лейтенант полиции начал расследование. Барре пришел в неопишное негодование, а Белокен слегла от мучительной болезни, которую, по свидетельству бесов, на нее наслал колдун Гилуар. На лейтенанта полиции все это не произвело никакого впечатления. Он призвал новых свидетелей, и тогда, устранившись, Белокен сбежала в Тур, ибо тамошний архиепископ слыл убежденным адептом одержимости. К несчастью, архиепископа в городе не было, его временно замещал коадьютор, относившийся к охоте на ведьм совсем иначе. Кoadьютор послушал рассказы Белокен, а потом взял и позвал двух повивальных бабок, чтобы они проверили, действительно ли отец Гилуар наслал порчу на утробу несчастной девицы. Выяснилось, что боли — не выдумка, но вызваны они не сверхъестественными причинами, а пушечным ядром малого калибра, которое было засунуто девице в причинное место. Под допросом Белокен призналась, что произвела эту операцию сама. После этого злосчастный отец Барре был лишен прихода и изгнан из Турени. Он окончил свой век в полной неизвестности, живя из милости в одном из Ле-Манских монастырей.

Луденские бесы тем временем вели себя тихо. Правда, однажды, по свидетельству сестры Иоанны, случилось следующее: «Я увидела перед собой двух ужасных мужчин и ощутила невыносимое зловоние. Каждый из них держал в руке по палке. Он схватили меня, содрали мою одежду и привязали меня к кровати, после чего избивали меня палками полчаса, а то и более». К счастью, срывая одежду, злодеи натянули настоятельнице рубашку на голову, так что она не оскорбила свой взор видом собственной наготы. Когда же два зловонных мерзавца, опустив рубашку, удалились, Иоанна «не заметила, чтобы с ней сотворили что-нибудь, противоречащее целомудрию». Было и еще несколько визитов подобного же рода, но в целом чудеса, о которых писала сестра Иоанна на протяжении последующих двадцати лет, носили скорее духовный характер. Например, однажды некая сила, используя те самые инструменты, которыми распяли Христа, расколола ей сердце надвое, но сделала это, разумеется, таким образом, что снаружи ничего не было заметно. Были еще и случаи, когда к Иоанне являлись души умерших сестер и рассказывали ей о чистилище. Демонстрация священной надписи на руке продолжала оставаться постоянным аттракционом для посетителей. Письмена показывали всем мало-мальски важным гостям, причем некоторые из них приходили поглазеть на это зрелище из одного любопытства, а то и прямо выражали

недоверие. Всякий раз, возобновляя надпись Ангел давал Иоанне множество полезных советов, которые она в письменном виде вручала своему наставнику. Ангел охотно давал консультации и по поводу всяких посторонних дел: например, как следует вести себя господину такому-то во время судебного разбирательства; нужно ли выдавать замуж мадемуазель такую-то или лучше подождать более выгодного жениха — и далее в том же духе.

В 1648 году Тридцатилетняя война закончилась. Мощь Габсбургов была сломлена, треть населения Германии истреблена. Европа была готова воспринять волю Великого Монарха и владычество Франции. Это был настоящий триумф. Пока же страну раздирала междоусобица, и на смену одной Фронде приходила другая. Кардинал Мазарини отправился в ссылку, потом снова вернулся к власти; снова отошел от дел и опять возник на политическом горизонте; настал день, когда он исчез окончательно.

Примерно в то же время умер Лобардемон, забытый и вышедший из фавора. Его единственный сын стал разбойником и был убит. Дочь же, оставшись сиротой, пошла в монахини и стала урсулинкой в Лудене, где ей покровительствовала мать Иоанна.

В январе 1656 года была напечатана первая часть «Писем к провинциалу», а четыре месяца спустя произошло великое янсенистское чудо: у племянницы Паскаля чудодейственным образом излечился глаз, чему способствовал Священный Терний, хранившийся в Пор-Рояль.

Еще через год умер отец Сен-Жур, и настоятельница осталась без партнера по переписке. Бедный Жан-Жозеф Сурен был очень болен и отвечать на письма не мог. Тем больше была радость Иоанны, когда в начале 1658 года она вдруг получила письмо, написанное рукой Сурена — впервые за двадцать лет. «Как чудесно, — писала она своей подруге мадам дю Ус, монахине-визитандинке из Ренна, — милосердие Господа: лишив меня отца Сен-Жура, Он теперь возвращает мне моего дорогого наставника, который снова может писать письма! А я всего несколько дней назад, еще не получив его письма, писала ему сама, рассказывая о состоянии моей души».

Так она и продолжала писать письма о состоянии своей души — Сурену, госпоже дю Ус и всем, кто был готов их прочесть и прислать ответ. Если бы все эти письма были опубликованы, они заняли бы несколько томов. А ведь сколько из них потеряно! Судя по всему, сестра Иоанна продолжала пребывать в заблуждении, что «внутренняя жизнь» означает непрерывный самоанализ, причем непременно публичный. На самом деле, разумеется, внутренняя жизнь начинается тогда, когда человек перестает

себя анализировать. Душа, размышляющая лишь о собственном состоянии, не может познать Божественную основу. «Я не стал писать вам не потому, что мне не хотелось этого, ибо я всем вам желаю добра; но потому, что мне показалось, что все нужное уже сказано, а если чего-то и не хватает, то дело здесь не в словах, их обычно всегда говорится куда больше, чем нужно — дело в молчании и труде». С этими словами святой Иоанн де ла Круа обратился к группе монахинь, жаловавшихся, что он не отвечает им на письма, в которых они описывали ему свое душевное состояние. «Говорение отвлекает, а молчание и труд обостряют мысль и укрепляют дух».

Увы, Иоанна молчать не желала. Она была не меньшей сплетницей, чем знаменитая мадам де Савиньи, но сплетничала при этом исключительно про себя саму.

В 1660 году, после английской Реставрации, двое британцев, видевших Иоанну в дни ее демонического величия, вернулись на родину и достигли завидного положения. Том Киллигрю стал дворянином опочивальни и получил лицензию на строительство театра, где он мог ставить пьесы, освобожденные от цензорского ока. Что до Джона Мейтленда, то он провел девять лет в ворчестерской тюрьме, зато теперь стал статс-секретарем и главным фаворитом нового короля.

Настоятельница тем временем старела. Здоровье ее делалось все хуже, и роль ходячей реликвии стала для нее непосильной ношей. Последний раз священные письма обновились в 1662 году, после этого они больше не появлялись, и поток любопытствующих иссяк. Однако, хоть чудо и прекратилось, духовные претензии Иоанны оставались прежними. «Хочу поговорить с вами о важнейшей необходимости, — писал ей Сурен в одном из писем, — о самой основе благодати — я имею в виду смирение. Умоляю вас вести себя таким образом, чтобы священное смирение стало истинным, твердым основанием вашей души. То, о чем мы говорим в наших письмах, — материи тонкие и возвышенные — ни в коем случае не должно лишать вас смирения». Несмотря на всю свою доверчивость и веру в чудесное, Сурен слишком хорошо понимал ту, с кем переписывался. Сестра Иоанна принадлежала к весьма распространенной разновидности «боваристов». Об этих людях можно прочесть и в «Мыслях» Паскаля. Например, он пишет про святую Терезу: «Господу более всего угодно глубочайшее смирение, проявляемое ею; людей же радуют познания, получаемые ею во время откровений. И вот мы всячески тщимся подражать ей на словах, воображая, будто таким образом уподобляемся самой ее природе, но на самом деле мы не любим угодную Господу добродетель и не

пытаемся достичь такого состояния, которое мило Богу».

В глубине души сестра Иоанна, вероятно, отлично понимала, что она — персонаж комедии собственного сочинения. Но другая половина внутреннего «я» убеждала ее в обратном. Мадам дю Ус, неоднократно приезжавшая в Луден и гостившая там месяцами, была убеждена, что ее бедная подруга постоянно живет во власти иллюзий.

До самого ли конца иллюзии сохраняли власть над настоятельницей? А может быть, Иоанне удалось хотя бы умереть не актрисой при свете рампы, а просто человеком? Ее истинное «я» было жалким и абсурдным. Если бы только она перестала изображать перед самой собой Святую Терезу — все сложилось бы иначе. Но она упорствовала и играла чужую роль. Ей не хватило честности и смирения — иначе она обнаружила бы, что в ней действительно живет Другой.

Умерла она в январе 1665 года, и комедия, которой стала ее жизнь, была исполнена монахинями до конца, превратившись в самый настоящий фарс. У трупа отсекли голову, поместив в серебряный с позолотой ларец, рядом со священной рубашкой. В ларец можно было заглянуть через хрустальные окошки. Провинциальный художник написал огромное полотно, изображавшее изгнание Бегемота. В центре композиции находилась Иоанна, экстатически преклоняющая колена перед отцом Суреном, рядом с которым стояли отец Транкиль и еще какой-то монах-кармелит. Неподалеку восседал Гастон Орлеанский со своей герцогиней, величественно наблюдая за происходящим. А сзади, у окна, выстроились зрители рангом пониже. Сверху, окруженный сиянием и сопровождаемый херувимом, висел святой Иосиф. В правой руке он держал три молнии и поражал ими бесов и демонов, выскакивавших из отверстых уст одержимой.

Этот шедевр провисел в часовне урсулинок более восьмидесяти лет и стал объектом всеобщего поклонения. Но в 1750 году епископ Пуатевенский, побывавший в Лудене, повелел убрать сие произведение куда-нибудь подальше. Разрываемые между долгом повиновения и патриотизмом, добрые сестры пришли к компромиссу: они повесили поверх холста другой, еще более грандиозный. Иоанна стала невидимой, но она по-прежнему была здесь. Правда, уже ненадолго. Монастырь пришел в упадок и в 1672 году был закрыт. Картину передали канонику церкви Святого Креста, а рубашка и мумифицированная голова попали в какой-то отдаленный монастырь. До наших дней ни одна из этих реликвий не дожила.

## Глава одиннадцатая

В трагедии мы становимся соучастниками; в комедии — всего лишь зрителями. Автор трагедии отождествляет себя со своими персонажами — так же, как читатель или слушатель. Но в комедии сочинитель никоим образом не проецирует себя на своих героев, да и зрители сохраняют с ними дистанцию. Автор смотрит, записывает, судит со стороны, а аудитория, тоже оставаясь вне действия, решает, хороша ли получилась комедия, и если хороша — то смеется. Комедия слишком долго продолжаться не может. Вот почему большинство выдающихся комедиографов придерживаются жанра «смешанной комедии», где происходит постоянный переход фокуса: от отождествления к отстранению и обратно. В какой-то момент мы просто смотрим на происходящее и смеемся; потом начинаем сочувствовать героям и даже отождествлять себя с ними, хотя всего несколько секунд назад они были для нас не более чем объектами нашего внимания.

Иоанна от Ангелов принадлежала к тому несчастному разряду человеческих существ, кто постоянно вызывает у зрителей реакцию отстранения, то есть чисто комический эффект. А ведь она всю жизнь писала исповедальные письма, призванные пробудить в читателях сочувствие к ее страданиям. Сегодня мы читаем эти послания и по-прежнему считаем бедную настоятельницу фигурой комической — и все потому, что она продолжала оставаться лицедейкой. То есть, даже по отношению к самой себе она сохраняла некую дистанцию. Временами она являла собой пародию на святого Августина, потом превращалась в королеву бесноватых, затем в святую Терезу, а изредка, отказавшись от актерства, вдруг становилась искренней и неглупой женщиной, отлично понимающей, что она представляет собой на самом деле. Конечно, сестра Иоанна вовсе не желала выставить себя на посмешище, однако при этом использовала все приемы комедии: внезапные смены масок, абсурдные трюки, чрезмерность в поступках, чересчур благочестивую демагогию, слишком наивно маскировавшую ее истинные желания.

Кроме того, Иоанна писала свои письма, вовсе не думая о том, что у адресатов могут быть и иные источники информации. Например, из официальных протоколов процесса Грандье мы знаем, что настоятельница и еще несколько монахинь, охваченные раскаянием, попытались отозвать свои показания, назвав их полной ложью. В автобиографии сестры Иоанны

сколько угодно признаний в суетности, гордыне, недостаточной вере. Но о своем главном преступлении — злонамеренной лжи, из-за которой невинный человек угодил на костер, — она не упоминает ни разу. Не приводит она и единственный эпизод во всей этой чудовищной истории, делающий ей честь: ее недолгое раскаяние и публичное покаяние в грехе. Очевидно, как следует поразмыслив, Иоанна решила поверить циничным доводам Лобардемона и капуцинов: ее раскаяние — происки дьяволов, а ее ложь — святая правда. Теперь любой рассказ об этом досадном эпизоде неминуемо подпортил бы образ страдальцы, которую мучил дьявол, а спасло чудо Господне. Утаив странные и трагические факты, Иоанна предпочла сделать из себя некий вымышленный персонаж. То есть превратила себя в персонаж комедии.

Что касается Жан-Жозефа Сурена, то он на протяжении своей жизни думал, писал и говорил много глупых, вредных и даже нелепых вещей. Но всякий, кто читал его письма и мемуары, сразу поймет, что имеет дело с фигурой трагической, ибо мы немедленно становимся соучастниками этих страданий (весьма необычных и, в некотором смысле, вполне заслуженных). Мы узнаем Сурена таким, каков он был на самом деле — безо всяких прикрас. Если Жан-Жозеф исповедуется, то можно быть уверенным, что он совершенно искренней, а не романтизирует себя, как сестра Иоанна, которая, сколько бы она ни тщила, в конце концов непременно сама себя выдаст и обратит свою святость в комедию, а то и в фарс.

Начало долгого крестного пути Сурена нами уже описано. Этот человек обладал железной волей и вдохновлялся высочайшими идеалами духовного совершенствования, но в то же время им владела ошибочная доктрина, превратно толковавшая отношения между Богом и человеком. Эта аномалия довольно скоро подорвала слабое здоровье Сурена и нанесла непоправимый ущерб его психике. В Луден он приехал уже тяжело больным человеком. Там он изо всех сил старался противодействовать беспоклонству, которое практиковали другие экзорцисты, но в конечном итоге сам пал жертвой чересчур истового увлечения идеей Зла. Дьяволы черпают силу из неистовости тех, кто ведет с ними борьбу не на жизнь, а на смерть. Истеричные монахи и злобные экзорцисты лишь укрепляли бесов. Злые порывы, обычно сдерживаемые сознанием, вырывались наружу, и уста изрыгали непристойности, святотатства и прочие недопустимые слова. Лактанс и Транкиль умерли в конвульсиях, «по рукам и ногам скованные Велиаром». Сурен перенес такие же муки, но остался жив.

Работая в Лудене, он находил время для того, чтобы в перерывах

между экзорцизмами и припадками болезни писать письма. Но в откровения он пустился лишь в послании своему ненадежному другу отцу Д'Аттиши. Обычно же Жан-Жозеф писал о медитации, умерщвлении плоти и чистоте сердца. О бесах и своих муках он упоминал редко. «Что касается вашей созерцательной молитвы, — писал он одному из монахов, — то, по моему, это вовсе не плохой знак, что вы не можете сосредоточиться на каком-нибудь одном предмете, хотя готовитесь к этому заранее. Очень советую вам не понуждать свою мысль к рассуждению на какую-то определенную тему, но читать молитвы с таким же свободным сердцем, как в прежние времена, когда вы приходили в комнату к матушке Д'Аррерак и беззаботно болтали с ней о всякой всячине. Вы ведь не решали заранее, о чем будете с ней говорить, но вели беседу лишь для обоюдного удовольствия. Вы любили эту женщину и хотели поддерживать с ней добрые отношения. Вот и с Богом обращайтесь таким же образом».

Другому своему другу он пишет: «Любите нашего дорогого Господа, и пусть Он поступает как Ему угодно.

Когда Он за работой, душе следует отказаться от самочинных действий. Поступайте так, подставляйте себя лучам Его Любви и Его Силы. Оставьте свои заботы, ибо в них слишком много наносного, что нуждается в очищении».

Что же это за Любовь и Сила, лучам которой должна подставлять себя душа? «Дело этой Любви — разрушать, уничтожать и разорять, а потом сотворить заново и вдохновлять новой жизнью. Дело это поистине ужасно и поистине чудесно. Чем ужаснее, тем чудеснее и прекраснее. Вот какой Любви должны мы отдавать всех себя без остатка. Я не буду счастлив до тех пор, пока не увижу, как эта Любовь восторжествует в вас, поглотив вас целиком, без остатка».

В случае самого Сурена процесс поглощения только начинался. В течение почти всего 1637 года и в начале 1638 года он все время болел, однако приступы болезни сменялись относительно спокойными периодами. Он все еще оставался нормальным, хоть и очень болезненным человеком.

Двадцать пять лет спустя он напишет в труде «Экспериментальная наука исследования другой жизни»: «Моя одержимость сопровождалась необычайной остротой ума и жизнерадостностью, которая помогала мне не только терпеливо нести эту ношу, но и радоваться ей». Конечно, предаваться усиленным занятиям он уже не мог по состоянию здоровья, однако знаний, накопленных в раннюю пору жизни, Сурену хватало, чтобы временами устраивать блестящие импровизации. Поднимаясь на кафедру, он иногда не знал, что будет говорить, и вообще не был уверен, что у него



хватит сил раскрыть рот, поэтому его ощущения были подобны чувству, с которым преступник поднимается на эшафот. Но потом вдруг он ощущал «трепет внутреннего чувства и жар благодати, да такой сильный, что сердце начинало гудеть, подобно трубе, мощным голосом, а мысль лилась так свободно, словно ее излагал кто-то другой... Откуда-то извне в мой рассудок по невидимой трубе поступали сила и мудрость».

Но потом все это прекратилось. Труба засорилась, источник вдохновения иссяк. Болезнь приняла новую форму. Она не накатывала на монаха припадками, а поселилась в нем постоянно, лишив его света и связи с Господом. В письмах, написанных в основном в 1638 году и адресованных одной монахине, пережившей нечто сходное, Сурен описывает, как начинался его недуг.

Его страдания были не только нравственными, но и физическими. Дни и недели напролет он метался в лихорадке, чувствуя невыразимую слабость. Потом вдруг начинался частичный паралич. Жан-Жозеф утрачивал власть над конечностями, и всякое движение требовало огромного усилия, сопровождалось невыносимой болью. Самое простое дело превращалось в пытку, любое движение — в подвиг Геракла. Например, ему нужно было потратить два или три часа на то, чтобы расстегнуть крючки на своей рясе. О том, чтобы раздеться полностью, речи вообще не шло. В течение почти двадцати лет Сурен спал не раздеваясь. Но раз в неделю было необходимо менять нижнюю рубашку, если он хотел не завшиветь («а к этим созданиям я всегда испытывал живейшее отвращение»). «Я очень страдал из-за смены белья. Иногда я тратил целую ночь с субботы на воскресенье, чтобы снять грязную рубашку и надеть чистую. Боли при этом были такие, что моя неделя делилась на две части: до четверга и после. Начиная с четверга я терзался страхом, с ужасом думая о приближении субботы, когда нужно будет менять рубашку. Если бы у меня была такая возможность, я охотно променял бы эту пытку на любую другую».

Принятие пищи давалось ему немногим легче. Рубашку можно было менять всего один раз в неделю, однако Сизифов труд резать мясо, подносить вилку ко рту, удерживать в руке кружку — все это было настоящим мучением, особенно если прибавить сюда полное отсутствие аппетита и изрядную вероятность того, что трапеза закончится рвотой. Если обходилось без рвоты, то начинались проблемы с пищеварением.

Врачи делали что могли. Сурену пускали кровь, промывали желудок, назначали теплые ванны. Все это не помогало. Не вызывает сомнения, что симптомы болезни носили не физический, а психосоматический характер.

Дело было не в «гнилой крови» или «зловредных гуморах», а в разуме.

Бесы покинули Сурена. Он сражался уже не с Левиафаном, пытавшимся изгнать из его души Господа. Теперь борьба развернулась внутри самого духа монаха, где никак не могли примириться идея Господа и представления о природе. Сегодня нам представляется очевидным, что конечная инстанция, именуемая естеством, так или иначе является частицей бесконечности, именуемой Господом. Бесконечность присутствует в каждой точке и каждом мгновении бытия. Однако христианские теологи старой школы и суровые религиозные моралисты всячески старались отвергнуть эту очевидную истину, а еще более — ее неминуемые практические последствия.

Они говорили, что человек живет в падшем мире, а потому все природное, естественное — греховно и обречено. Поэтому, утверждали моралисты, с природой надо сражаться, ее надо подавлять, ее порывы — игнорировать.

Но лишь через посредство природы можем мы достичь Благодати. Только благодарно принимая то, что нам дается, мы оказываемся достойны Божьего Дара. Без постижения множества мелких фактов, нам никогда не уразуметь Факта первосущего. «Не гоняйся за истиной, — советует один из мастеров дзэн, — просто откажись от мнений». Христианские мистики утверждают примерно то же, но с одной существенной разницей: они ни за что не хотят отказаться от «мнений», если речь идет о догмах, принципах веры, благочестивых традициях и тому подобном. Но все эти краеугольные камни религии — не более чем дорожные указатели, чтобы мы не сбились с пути. К главному факту бытия можно приблизиться, лишь перемещаясь от одних повседневных фактов к другим. Слова, равно как и фантазии, порожденные словами, душе не помогут. Царство Божие должно свершиться на земле; его не построишь в воображении или посредством благочестивых рассуждений. И не будет этого Царствия до тех пор, пока люди делают вид, что они живут не на земле, а в каком-то ином духовном мире, состоящем из грез, наших собственных предположений, заблуждений и фантазий. Сначала должно наступить царство человека, а лишь потом царство Бога. Умерщвлять же нужно не природу, а роковую привычку человека вытеснять и подавлять естественность. Нам нужно избавиться от наших предубеждений, от словесных ловушек, при помощи которых мы пытаемся преобразовать действительность, от фантазий, за которые мы прячемся, когда реальность не совпадает с нашими ожиданиями. Таково «священное равнодушие» святого Франциска Сальского; такова «отрешенность» религиозного мистика XVIII века Коссада, то есть

добровольное принятие всего, что происходит в жизни; таков и «отказ от предпочтений», который, согласно учению дзэн, является приметой Совершенного Пути.

Основываясь на церковных авторитетах и собственном опыте, Сурен верил, что Бога можно познать напрямую, слив душу с Божественной Первоосновой бытия. Но в то же время он придерживался убеждения, что из-за первородного греха наших праотцев, естественность греховна и обречена, в результате чего между Творцом и его творениями разверзлась пропасть. Придерживаясь подобных взглядов на Бога и вселенную, Сурен пришел к логическому выводу, что нужно исторгнуть из себя все элементы естественности, если только это не влечет за собой самоубийства. В старости, правда, он признал, что заблуждался. «Здесь следует заметить, что за несколько лет перед тем, как отправиться в Луден, святой отец (Сурен пишет здесь о себе в третьем лице) слишком усердствовал в умерщвлении плоти, надеясь тем самым приблизиться к Господу; и хотя в этом стремлении содержался и благой порыв, но вместе с тем здесь проявлялась и определенная чрезмерность, а также узость разума. Вот почему он впал в догматизм, хоть и благонамеренный, но оттого не менее предосудительный». Отделяя конечное от бесконечного, противопоставляя Бога Его творению, Сурен хотел подавить и истребить не только иллюзии, порождаемые эгоистичной привязанностью к плоти, но и саму плоть, то есть материальную основу существования человечества на планете, именуемой Земля.

Его совет был таков: «Естество следует ненавидеть, пусть оно подвергается всем унижениям, которые уготовал ему Господь». Естество «приговорено к смерти», и приговор этот справедлив. Вот почему мы должны «позволить Господу бичевать и распинать нас, как Ему будет угодно». По своему опыту Сурен знал, что мучить естество Всевышний умеет и любит. Придерживаясь мнения, что природа нелепа и безумна, Жан-Жозеф преобразовал умственную усталость, часто сопровождающую невроты, в ненависть к человеческой физиологии и ко всему, что окружает людей. Эти ненависть и отвращение были особенно интенсивны, потому что Сурен все никак не мог избавиться от искушений, которые вызывали в нем отвратительные существа, именуемые людьми. В одном из писем он пишет, что уже несколько дней занимается выполнением некоего делового поручения. Это занятие пришлось ему по вкусу и даже принесло некоторое облегчение. Но потом вдруг монаху приходит в голову, что улучшение это вызвано тем, «что он занимался изменой». Сурен чувствует себя глубоко несчастным, терзается виной и грехом. Им овладевает глубочайшее

раскаяние. Но раскаяние это не побуждает его к действию. Сурен не способен действовать, он «глотает свои грехи, как воду, и питается ими, как хлебом». У него парализованы воля и способность к действию, но не чувствительность. Он не может ничего делать, но он по-прежнему способен страдать. «Чем менее на тебе одежд, тем болезненнее обрушивающиеся на тебя удары». Сурен пребывает в «пустыне смерти». Но пустыня эта не просто голое место, это злобная пустота, «кошмарная и ужасная бездна, в которой нет надежды на помощь и спасение»; там душу терзает сам Творец, к которому жертва начинает проникаться ненавистью. Господь хочет править один; поэтому Он превращает жизнь Своего раба в муку; от естества почти ничего не осталось, оно находится на последнем издыхании. Человека больше нет, есть лишь самые отвратительные его элементы.

Сурен не может больше ни мыслить, ни учиться, ни молиться, ни совершать благие дела, ни раскрывать сердце Творцу с любовью и благодарностью. Но «чувственная, животная сторона его натуры» еще не умерла, «она погружена в преступления и мерзость». Сюда относятся любые суетные устремления отвлечься каким-то посторонним занятием, ибо это не менее греховно, чем гордыня, себялюбие и тщеславие. Мучимый неврозом и максимализмом, Жан-Жозеф мечтает ускорить разрушение естества, изнурая себя все больше и больше. Но по-прежнему еще остаются некоторые занятия, дающие ему облегчение. Он отказывается от этих маленьких радостей, потому что хочет «слить внешнюю пустоту с внутренней». Тем самым он отказывается от надежды на помощь извне — пусть уж его естество будет совершенно беззащитным пред Лицом Господа.

Врачи велют ему есть побольше мяса, но он не может выполнить эту рекомендацию. Господь наслал на него болезнь для очищения. Если Жан-Жозеф будет думать об исцелении, тем самым он воспротивится Божьей воле.

Итак, он отказался от здоровья, от работы, от отдыха. Но все еще оставались виды деятельности, в которых столь блестяще проявлялись его таланты и ученость: проповеди, написание теологических трактатов, благочестивые поэмы, которыми Сурен так гордился. После долгих и тягостных сомнений Сурен решает уничтожить все написанное им. Рукописи нескольких книг, а также многие другие бумаги частью изорваны в клочки, частью сожжены. Теперь он «избавился от всего, что имел, и остался совершенно обнаженным перед своими страданиями». Он предался «в руки Труженика, который (уверяю вас) продолжает Свою работу,

заставляя меня идти тяжкими тропами, против которых восстает все мое естество».

Несколько месяцев спустя «тропы» стали и вовсе невыносимыми. Сурен уже не может описать свои физические и нравственные страдания. С 1639 до 1657 года он никому ничего не пишет. Все это время он был подвержен странной болезни — патологической неграмотности, то есть он утратил умение читать и писать. Иногда ему трудно было даже говорить. Жан-Жозеф находился в изолированности от всех, с внешним миром не общался. Быть оторванным от людей оказалось нелегко, но во сто крат хуже была оторванность от Господа, на которую он сам себя обрек. Незадолго до возвращения из Аннеси Сурен пришел к убеждению (сохранившемуся на много лет), что он проклят уже при жизни. Ему оставалось только с отчаянием ждать смерти, после которой он попадет из земного ада в ад еще более ужасный.

Духовник и руководство ордена уверяли Сурена, что милосердие Господа безгранично и что всякий живущий не может считать себя окончательно проклятым. Один ученый теолог доказывал это Жан-Жозефу при помощи силлогизмов; другой пришел в больницу, нагруженный увесистыми фолиантами и произнес целую лекцию, ссылаясь на авторитет отцов церкви. Все было тщетно. Сурен *знал наверняка*, что он пропал, что бесы, над которыми он в свое время одержал победу, уже готовят ему уютное местечко среди языков вечного пламени. Монахи могли говорить все, что угодно, но факты и собственные поступки страдальца не оставляли почвы для сомнений. Всякое событие, всякая мысль и всякое чувство лишь усугубляли отчаяние Сурена. Если он сидел рядом с камином, то оттуда непременно выскакивала нацеленная на него искра (прообраз вечного проклятия). Если он входил в церковь, то непременно в ту минуту, когда священник произносил какую-нибудь фразу о Божьем Суде, об осуждении неправедных — и предназначалось это высказывание для него, Сурена. Когда Жан-Жозеф слушал проповедь, ему всякий раз казалось, что слова о «потерянной душе» предназначены персонально ему. Однажды, когда он молился у ложа умирающего монаха, ему вдруг пришло в голову, что он, подобно Урбену Грандье, стал колдуном и обладает властью вселять дьяволов в тела невинных людей. Именно этим он сейчас и занимается — читает заклятья над умирающим, приказывает Левиафану, демону гордыни, овладеть сим телом; призывает Исаакаарона, демона похоти, демона шутовства Валаама и повелителя богохульств Бегемота накинуться на беззащитную жертву, на человека, который, накануне встречи с вечностью, готовится к главному шагу своего бытия. Если в такой миг душа

исполняется любви и веры, все будет хорошо. Если же нет... Сурен чувствовал, как в воздухе запахло серой, услышал истошный вой и зубовой скрежет. Оказывается, это он сам, помимо своей воли (а может быть, и намеренно?), призывал бесов, надеялся, что они предстанут перед ним. Вдруг умирающий заметался на кровати и забредил — причем не так, как прежде, о Господе, Христе и Деве Марии, о Божьей благодати и райском блаженстве, но о каких-то черных крылах, невыразимых ужасах и тягостных сомнениях. В полнейшей панике Жан-Жозеф понял, что его собственные подозрения справедливы: он действительно превратился в колдуна! К этим внешним доказательствам того, что его душа проклята, добавлялись внутренние ощущения, словно бы ниспосылаемые ему некой враждебной, сверхъестественной силой. Сурен писал: «Тот, кто говорит о Боге, должен иметь в виду целый океан суровостей и лишений, превосходящих всякое воображение». В долгие часы, полные беспомощности, лежа в параличе, Жан-Жозеф видел перед собой «свидетельства Божьего гнева такой ярости, что с этой болью не может сравниться ничто на свете». Шли годы, один вид страданий сменялся другим, но ощущение того, что Бог враждебен ему, никогда не покидало Сурена. Он верил в это разумом, чувствовал враждебность Всевышнего, как бремя невыносимой тяжести. То было время Божьего осуждения. Он не мог выносить эту муку, но в то же время она никогда не оставляла его.

Ощущение усиливалось благодаря вновь и вновь повторявшимся видениям — таким ярким, почти материальным, что Сурен иногда сам не мог понять, какими глазами он видел эти картины: глазами души или глазами тела. По большей части то были видения Христа. Но не Христа Спасителя, а Христа Судии. В этих видениях Христос не поучал и не страдал, а восседал на престоле, как это будет в день Страшного Суда, и взирал на нераскаявшегося грешника. Именно таким увидят Христа проклятые на вечные муки. На лице Христа было написано «выражение неизъяснимого гнева», отвращения и мстительной ненависти. Иногда Он виделся Жан-Жозефу в виде вооруженного человека в алом плаще. Бывало, что под сводом церковных врат возникало видение, запрещавшее грешнику приблизиться. Иногда же Христос, окутанный радужным сиянием, возникал из дароносицы, и тогда несчастный Сурен чувствовал, как на него обрушивается волна ненависти — один раз, она чуть не опрокинула его с лестницы во время религиозной процессии. Но бывали и другие времена, когда Сурен вдруг начинал сомневаться — даже не сомневался, а знал наверняка, — что Кальвин совершенно прав, и в Священных Дарах никакого Христа нет. Промежуточного пути быть не могло: или одно, или

другое. Когда Сурен верил в то, что освященная просфора — часть тела Христова, тем самым он признавал, что Христос его проклял. Если же оказывалось, что еретическая доктрина права и в просфоре никакого Христа нет, то все равно выходило, что душа Сурена проклята.

Ему являлся не только Христос. Иногда он видел Пресвятую Деву, взиравшую на него с возмущением и ужасом. Она поднимала руку, метала в грешника ослепительные молнии, и несчастное тело Жан-Жозефа сотрясалось от невыносимой боли. Иногда перед больным представляли святые, все они тоже ненавидели его и поражали молниями. Сурен видел их во сне, просыпаясь в ту самую минуту, когда его тело пронзал карающий удар молнии. Иной раз к нему приходили святые, которых он никак не ожидал. Например, однажды его поразил молнией «Святой Эдуард, король Английский». Что это был за Эдуард — Эдуард Мученик или несчастный Эдуард Исповедник? Так или иначе, «Святой Эдуард» обрушил на Сурена «ужасающий гнев, и я совершенно убежден, что эта кара (метание молний) уготована всем грешникам, обретающимся в аду».

В самом начале долгого изгнания из мира людей и Бога Сурен еще был способен, во всяком случае в хорошие дни, кое-как восстанавливать контакт с окружающей средой. «Я все время преследовал моих начальников и других иезуитов, рассказывая им о том, что происходит в моей душе». Но тщетно. Один из главных ужасов безумия состоит в том, что человек чувствует, как между ним и остальными разверзается пропасть. Невозможно сравнить состояние человека больного, человека парализованного, с состоянием здорового мужчины или здоровой женщины. Вселенная, где живет параличный, недоступна пониманию тех, кто может свободно управлять своим телом. Любовь может построить мост, но не может устранить пропасть. А там где нет любви, там нет даже и моста.

Сурен приставал к начальникам и братии со своими признаниями, но те его не понимали и даже не сочувствовали ему. «Я понял истинность того, что говорила святая Тереза: нет боли более невыносимой, чем оказаться под опекой исповедника, который слушает тебя с чрезмерной осторожностью». Сурена и вовсе не слушали, от него отстранялись. Он хватал монахов за рукава, пытался объяснить, что с ним творится. Ведь это было так просто, так очевидно, так ужасно! Но братья презрительно улыбались и с выражением постукивали себя по лбу. Жан-Жозеф просто свихнулся, и самое печальное, что безумие он навлек на себя сам. Это Бог карает его за гордыню и желание быть не таким, как все. Он вообразил, что может быть более духовным, чем другие монахи, что достигнет

совершенства, следуя каким-то собственным, не-иезуитским путем.

Сурен защищался как мог. «Обычный здравый смысл, на котором зиждется наша вера, так защищает нас от представления о другой жизни, что, как только человек начинает говорить о том, что он проклят навек, окружающие сразу же начинают воспринимать его как безумца». Совсем иначе устроены видения обычных безумцев — тех, кто «воображает себя кувшином или кардиналом», а то и Богом Отцом (как настоящий кардинал Альфонс де Ришелье). Вера в собственную проклятость, уверял Сурен, это не знак безумия, и в подтверждение своей правоты говорил о Генрихе Сузо, о святом Игнатии, о Блозиусе, о святой Терезе, о святом Жане де ла Круза. Все эти святые в тот или иной момент верили, что они прокляты, однако никто из них не страдал безумием и все отличались святостью поведения. Однако «осторожные» отказывались их слушать, а если слушали (с. плохо скрываемым нетерпением), то не верили.

Это недоверие усугубляло страдания Сурена, и без того невероятные. Он впал в отчаяние. 17 мая 1645 года в маленькой иезуитской обители Сен-Макер, близ Бордо, он пытался совершить самоубийство. Всю предшествующую ночь он боролся с этим искушением, а большую часть утра провел в молитве перед Святыми Дарами. «Незадолго перед обедом он отправился к себе в келью. Войдя туда, увидел, что окно открыто, подошел к нему и, посмотрев вниз, в пропасть (дом стоял на скале, у подножия которой протекала река), вдруг испугался безумного инстинкта, зародившегося в его душе, и попятился назад, все еще глядя на окно. Что было потом, он не помнил, и вдруг, словно во сне, разбежался и прыгнул вниз». Тело упало, ударилось о выступ скалы и приземлилось у самой кромки воды. Жан-Жозеф отделался сломанным бедром, никаких внутренних повреждений не было. Склонный верить в чудеса, Сурен завершает этот трагический эпизод почти комической припиской. «Во время этого происшествия по берегу верхом проезжал гугенот, и я упал прямо к его ногам. Переезжая через реку на пароме, гугенот сыпал шутками на мой счет. На противоположном берегу он снова сел в седло, выехал на луг и там, на совершенно ровном месте, вдруг упал с лошади и сломал себе руку. При этом он сам сказал, что Господь покарал его за издевательство над монахом, который якобы попробовал летать. Сам же гугенот получил такое же увечье, хоть и упал с куда меньшей высоты.

Окно, из которого выпал монах, находилось так высоко от земли, что менее чем через месяц выпавшая оттуда кошка — она охотилась на воробья — разбилась насмерть, хотя эти животные, как известно, легки, упруги и падают с больших высот безо всякого для себя ущерба».



Сурену сделали шину на сломанную ногу, и через несколько месяцев он снова мог ходить, хоть и остался навсегда хромым. Но душевные раны заживают не так легко, как телесные. Искус отчаяния преследовал его долгие годы, а высота манила особым соблазном. Всякий раз, когда Сурену в руки попадали нож или веревка, он испытывал жгучее желание перерезать себе горло или повеситься.

Разрушительный инстинкт был направлен не только вовнутрь, но и вовне. Временами Сурен ощущал острое желание поджечь дом, в котором жил. Пусть все обратится в пепел — и монастырь, и люди, и библиотека, где хранятся бесценные сокровища мудрости и благочестия, и часовня, и священные облачения, и распятия, и сами Святые Дары. Лишь нечестивец мог носить в себе столько злобы. Но он и был нечестивцем — проклятой душой, олицетворением дьявола. Господь ненавидел его, и он отвечал Богу тем же. Жан-Жозефу подобная ситуация казалась совершенно естественной. И все же, хоть он и чувствовал себя окончательно пропавшим, часть его существа противилась злу, не желая подчиняться ему все свои мысли и чувства. Испытание самоубийства и поджога было сильным, но Сурену удалось с ним справиться. Но «осторожные», которые окружали его, решили все-таки не рисковать. После первой попытки самоубийства к Сурену приставили послушника, а иногда просто привязывали безумца к кровати. В течении трех лет Жан-Жозеф подвергался унижениям, которые в ту эпоху считались нормой обращения с умалишенными.

Но есть люди (и таких довольно много), которым доставляет удовольствие унижать себе подобных. Чтобы не терзаться угрызениями совести, садисты и тираны придумывают себе всевозможные оправдания. Так, жестокость по отношению к детям преобразуется в обучение дисциплине, следование слову Божию, гласящему, что всякий, кто скупится на розги, ненавидит собственного сына. Жестокость по отношению к преступникам — предписание нравственного закона, живущего внутри нас. Жестокость к религиозным или политическим еретикам — не более чем верность Истинной Вере. Жестокость к представителям чуждой расы находит оправдание в лженаучной аргументации. Некогда люди точно так же обращались с сумасшедшими, и во многом эта традиция еще не изжита. В самом деле, общаться с умалишенными — занятие утомительное. Прежде суровость в обращении с ними объясняли при помощи теологии. Мучители Сурена и других безумцев руководствовались двумя мотивами: во-первых, им просто нравилось мучить беззащитных, а во-вторых, они искренне верили, что только так больным можно помочь. По тогдашней

теории считалось, что безумцы сами вызывают свою болезнь. Они совершили некий явный или сокрытый грех, за который их покарал Господь, позволивший дьяволам вселиться в душу нечестивца. Таким образом, сумасшедшие считались врагами Господа и временным вместилищем злых сил, а поэтому церемониться с больными было незачем. И с ними не церемонились, не испытывая при этом ни малейших угрызений совести. Божья воля неукоснительно исполнялась и на земле. Сумасшедших избивали, морили голодом, сажали на цепь в мрачную темницу. Если к больному приходил священник, то непременно говорил страдальцу, что он сам во всем виноват, что Господь на него гневается. Для толпы безумцы были чем-то средним между обезьяной и ярмарочным уродом. По воскресеньям и в праздники родители водили своих отпрысков посмотреть на сумасшедших, как сегодня водят детей в зоопарк или цирк. При этом не существовало, как в нынешнем зоопарке, запрета «дразнить животных». Напротив, поскольку обитатели клеток считались врагами Господа, мучительство разрешалось и даже поощрялось. Один из самых распространенных сюжетов у писателей и драматургов шестнадцатого-семнадцатого веков — психически нормальный человек, которого объявляют сумасшедшим и поэтому подвергают всяческим оскорблениям и издевательствам. Можно вспомнить Мальволио, доктора Маменте или персонажа из «Симплиссимуса» Гриммельсхаузена. В жизни же все происходило еще страшнее, чем в литературе.

Луиза дю Тронше оставила воспоминания о том, как ее содержали в парижском сумасшедшем доме Салпетрьер, куда она попала в 1674 году после того, как ее нашли на улице бессвязно кричащей и хохочущей, причем за сумасшедшей почему-то следовала огромная стая бродячих кошек. Из-за этого Луизу заподозрили в том, что она ведьма. В больнице ее держали в клетке, на цепи, и публика приходила поглазеть на нее. Зрители тыкали в нее тростями, мяукали по-кошачьи и рассказывали, какие страшные кары уготованы колдуньям. Поскольку Луиза лежала на грязной соломе, посетители обсуждали, как чудесно эта солома будет гореть в день казни. Раз в несколько недель грязную солому сжигали во дворе, и Луизу приводили посмотреть на костер, причем все вокруг кричали: «В огонь ведьму! В огонь!» Однажды, в воскресенье, при ней прочли проповедь, в которой священник, указывая на узницу, говорил пастве, что именно так Господь карает грешников. В этом мире они сидят в клетке, а в следующем будут гореть в аду. Несчастная жертва всхлипывала и рыдала, а проповедник сладострастно расписывал огненные муки, серное зловоние, бурление кипящего масла и бичевание раскаленным железом — причем во

веки вечные, аминь.

Естественно, находясь в таких условиях, Луиза опускалась все ниже и ниже. Излечилась она благодаря истинному чуду — нашелся один добрый священник, который обращался с ней ласково и научил ее молиться.

Примерно то же самое происходило с Суреном. Правда, он был избавлен от нравственных и физических мук заточения в сумасшедшем доме, но и в больнице иезуитского коллежа, среди высокоученых мужей и истовых христиан, было достаточно людей жестоких. Например, послушник, приставленный к Жан-Жозефу, безжалостно избивал его. Школяры, завидев сумасшедшего монаха, визжали и улюлюкали. Но это еще ладно. Хуже то, что немногим лучше вели себя собратья Сурена — священники и монахи. Они оказались на диво бесчувственными и черствыми. Среди них были энергичные здоровяки, уверявшие Жан-Жозефа, что с ним все в порядке, что не нужно раскисать; они заставляли его делать то, на что у него не было сил, хохотали, когда он вскрикивал от боли, и говорили, что боль — плод его воображения. Были там и злостные моралисты, садившиеся у его изголовья и изводившие его длинными проповедями о том, как он сам заслужил свои страдания. Некоторые приходили к нему из любопытства и вели себя так, словно имели дело с ребенком или идиотом. Другие упражнялись за его счет в остроумии, пользуясь тем, что он не может ответить, поскольку лишился дара речи. Однажды «святой отец немалого звания пришел в больницу, где я лежал в полном одиночестве, сел ко мне на кровать, долго смотрел на меня, а потом — хотя я ничего дурного ему не сделал — вдруг влепил мне пощечину; после этого встал и вышел».

Сурен изо всех сил старался обратить все эти испытания на пользу своей душе. Господу угодно, чтобы его унижали, считали сумасшедшим и обращались с ним, как с преступником. У него нет права на уважение людей, на их жалость. Жан-Жозеф смирился со своей судьбой. Более того, он жаждал еще больших унижений. Однако покорности судьбе было недостаточно для того, чтобы исцелиться. Как и в случае с Луизой дю Тронше, Сурену помогла людская доброта. В 1648 году отец Бастид, единственный из монахов, утверждавший, что Сурен вовсе не безумец, был назначен ректором Сентского коллежа. Бастид попросил разрешения взять с собой больного. Разрешение было дано. В Сенте, впервые за десять лет, к Сурену стали относиться с сочувствием и вниманием. Его воспринимали там как тяжело больного человека, выдерживающего духовный искуc, а вовсе не как преступника, наказанного Господом, потому заслуживающего кары от людей. Сурен по-прежнему не мог покидать свою темницу и

общаться с внешним миром, но зато теперь сам внешний мир проявлял к нему куда больше дружелюбия и понимания.

Первые симптомы новой жизни проявились в сфере физиологии. В течение многих лет Сурен страдал от удушья. Хроническая тревога привела к тому, что его легкие почти не расширялись, и ему все время не хватало кислорода. Теперь же диафрагма стала двигаться свободно, и Жан-Жозеф ощутил живительную силу свежего воздуха. «Все мои мышцы были скованы, но теперь одна из оков упала, а потом другая, и я почувствовал невероятное облегчение». С его телом происходило некое подобие духовного освобождения. Те, кто страдает астмой или сенной лихорадкой, знают, как это ужасно вдруг оказаться врагом окружающей среды. Но ведомо им и счастье, когда эта враждебность заканчивается. На духовном уровне большинство людей страдает от своего рода духовной астмы, однако лишь немногим дано понять, как мало достается им «кислорода». Но есть люди, обладающие способностью чувствовать этот дефект. Они жадно разевают рот, мечтая наполнить легкие, и когда им это удастся, они испытывают невыразимое блаженство.

На протяжении всей своей странной жизни Сурен то попадал в оковы, то вырывался на свободу; то сидел в крошечной тьме, то возносился на вершину мира. Легкие как бы отражали состояние его души: когда душа была стеснена, легкие не могли дышать, но когда душа начала высвобождаться, легкие тоже окрепли. В рукописях Сурена без конца встречаются не только слова «скован, связан, стеснен», но и их антитеза «освобожден». Так Жан-Жозеф выражал главный факт своего бытия: колебание между напряжением и расслабленностью, между прозябанием и полноценной жизнью.

Психологическое освобождение довольно часто сопровождается таким физиологическим явлением, как расширение грудной клетки и внутренних органов. Как-то раз Сурен вдруг обнаружил, что кожаная куртка, зашнурованная спереди, вдруг растянулась на пять, а то и на шесть дюймов. (В молодости святой Филипп Нери испытал экстатическое возбуждение такой мощи, что его сердце расширилось, сломав при этом два ребра. Тем не менее он дожил до преклонных лет, сохранив энергию и работоспособность до самого конца).

Сурен всегда знал, что между дыханием и духом существует некая мистическая связь. Он перечисляет четыре типа дыхания: дыхание дьявола, дыхание естества, дыхание благодати и дыхание славы, причем уверяет нас, что испытал каждое из них. К сожалению, он не объясняет, что именно имеется в виду, поэтому нам неизвестно, до какой степени он овладел

искусством пранаяны.

Благодаря доброму отцу Бастиду Сурен вновь вернулся в общество людей. Однако Бастид не мог говорить за Господа — во всяком случае за такого господя, в которого верил Сурен. Вчерашний инвалид мог дышать, однако по-прежнему не восстановил способность читать, писать или служить мессу; не мог он свободно ходить, есть или раздеваться без посторонней помощи. Все эти беды укрепляли Сурена в убеждении, что он проклят. Жан-Жозеф терзался отчаянием и ужасом, а к этому еще и присовокуплялись периоды мучительной болезни и острых болей.

Самой странной особенностью его недуга было то, что он никогда окончательно не терял рассудка. Утративший способность читать и писать, совершенно беспомощный, уверенный в обреченности своей души, одолеваемый позывами к самоубийству, святотатству, нечестию и ереси (то он превращался в убежденного кальвиниста, то в манихея), Сурен тем не менее за все эти страшные годы не утратил страсти к литературному творчеству. В первые десять лет своего безумия он сочинил множество стихов. Для этого Жан-Жозеф брал народные мелодии, баллады и даже разгульные песни и сочинял для них богоугодные стихи. Вот несколько строф про святую Терезу и святую Катерину Генуэзскую из баллады «Святые, одержимые любовью» (на мотив песенки «Я встретила германца»):

И тут из-за дальнего древа  
Возникла прекрасная дева,  
Полна беспредельной печали,  
Терезой ее называли.  
Сказала она: друг мой милый,  
Вина для тебя я налила.  
На, выпей и пой вслед за мною:  
«О Боже, хочу быть с тобою».  
Зовет генуэзку младую  
Испить с нею влагу святую.  
И та говорит: «Право слово,  
Вина не пила я такого».

Стихи, конечно, плохие, но виной тому не недостаток вдохновения, а скудость таланта. Сурен писал одинаково скверную поэзию и когда был психически здоров, и когда был психически болен. Его дар (и весьма

значительный) заключался не в стихосложении, а в прозе. Именно этим он и занялся на поздней стадии своей болезни. Между 1651 и 1655 годами он надиктовал свой главный трактат «Духовный катехизис». Этот труд может сравниться по глубине и религиозному чувству с книгой английского современника Сурена Августина Бейкера «Святая мудрость». Несмотря на внушительный объем — более тысячи страниц, «Катехизис» вовсе не является утомительным чтением. Фактура текста довольно непритязательна, но Сурен в этом не виноват. Его обаятельный старомодный стиль был сильно подправлен в последующих изданиях. Один из таких издателей, живший уже в девятнадцатом веке, с бессознательной иронией говорит, что рукописи Сурена «коснулась дружеская рука». К счастью, «дружеская рука» не смогла окончательно испортить простоту и ясность, с которыми автор рассуждает о самых глубоких и тонких материях.

Когда Сурен сочинял свой «Катехизис», он был лишен возможности заглянуть в какие-либо книги или даже собственные рукописи. Но тем не менее ссылки и цитаты весьма обильны и точны, а сам манускрипт обладает поразительной стройностью. Автор снова и снова возвращается к одним и тем же темам, рассматривая их с разных точек зрения, что обеспечивает всесторонность и глубину. Нужно было обладать поистине феноменальной памятью и способностью к концентрации, чтобы создать такой труд, не имея возможности ни разу его перечитать. Во время написания этой книги окружающие все еще считали Сурена безумцем, хотя худшая пора его болезни уже миновала.

Вероятно, это поистине кошмарное испытание — полностью владеть своим разумом и в то же время не властвовать над своими чувствами. Рассудок Сурена беспомощно взирал, как воображение, эмоции и нервная система, сговорившись, словно шайка разбойников, влекут личность к гибели. Это была настоящая война между разумом и фантазией, между писателем-реалистом, оперирующим только фактами, и фантазером, выстраивающим из слов чудовищные псевдореальности, которые нагоняют теску и ужас.

Жан-Жозеф Сурен представляет собой ярчайший образец извечной человеческой беды, имя которой: «Вначале было Слово». Что касается истории человечества, то в начале ее, конечно же, действительно было слово. Язык — это инструмент, при помощи которого человек вырвался из животного состояния. Но в то же время язык, лишив человека невинности и естественности животного, приводит к безумию и сатанизму. Без слов обходиться нельзя, но они несут в себе роковую угрозу. Наши

предположения о строении окружающего мира необходимы для того, чтобы постепенно, шаг за шагом, познавать вселенную. Однако, когда эти предположения возводятся в ранг абсолютных истин, непререкаемых догм и священных идолов, наше представление о реальности начинает искажаться, что приводит человека к преступлениям и ошибкам. «Желая очаровать слепцов, — пишет Дай-о Кокуси, — Будда в шутку уронил слова из своих золотых уст. С тех пор небо и земля сплошь заросли густым вереском из слов». «Вереск» этот произрастал отнюдь не только на Дальнем Востоке. Если Христос пришел в этот мир не с миром, но с мечом, то лишь потому, что Он и Его последователи не имели иного выбора — им приходилось облекать свои видения в слова. Как и все прочие слова, речения христианской религии иной раз оказывались недостаточно ясными или же чересчур агрессивными. В любом случае они всегда были неточны и допускали самые различные интерпретации. Когда это учение использовалось в качестве гипотезы — то есть, источника мудрости, помогающего человеку справляться с бременем бытия, — возникающие на почве христианства предположения обладали огромной ценностью. Но когда их превращали в догмы и идолов, они порождали чудовищное зло: религиозную вражду, войны, церковный империализм и множество более мелких зол вроде луденского судилища или воображаемого сумасшествия Сирена.

Моралисты много говорят о том, что следует контролировать свои страсти; и моралисты, конечно, правы. К сожалению, большинство из них не в силах контролировать собственные слова и образ мыслей. Преступления страсти совершаются не только под горячую руку. Слова сопровождают нас все время, они обладают такой силой, что вера в заклинания и магические формулы вовсе не столь уж абсурдна. Преступления идеализма куда опаснее, чем преступления страсти, ибо под влиянием убеждений и морализаторства пролито куда больше крови. Эти преступления планируются на холодную голову, а совершаются с чистой совестью и нередко на протяжении долгих лет. В прежние времена слова, ответственные за злодеяния такого рода, в основном принадлежали религии; в наши дни они принадлежат политике. Догмы перестали быть метафизическими, но стали позитивистскими и идеологическими. Неизменным осталось лишь идолопоклонническое суеверие тех, кто привержен догмам, а также безумие и дьявольская жестокость, с которой эти люди претворяют свои убеждения в жизнь.

Нужно, чтобы все уразумели смысл идеи как «рабочей гипотезы», и не более того. Когда это поймут в церкви, парламенте, правительстве, может

быть, человечество наконец избавится от позывов к массовому убийству и самоуничтожению. Главная проблема человечества — экологическая. Люди должны научиться сосуществовать с космосом на всех его уровнях, от материального до духовного. Как биологический вид, мы должны научиться сносно обустраивать свою жизнь на небольшой планете, ресурсы которой не безграничны. Как индивидуумы, мы должны наладить нормальные отношения с бесконечным Разумом, от которого мы чувствуем себя изолированными. Используя принцип «не только бери, но и давай», мы научимся жить бок о бок друг с другом. Сказано: «Найди сначала Царство Божие, а все остальное приложится». Но мы действуем наоборот. Мы сначала ищем «все остальное», подразумевая под этим эгоистические устремления и идолопоклонническую веру в силу слова. Из-за этого наша главная экологическая проблема остается неразрешенной и неразрешимой. Чересчур увлеченные политическими играми, мы никак не можем наладить отношения с собственной планетой. Свято веря в идолов, сотворенных из слов, мы беспомощны, когда дело доходит до Первосущностного факта бытия. В погоне за второстепенным мы теряем не только его, но заодно и Царство Божие, а ведь оно если и настанет, то только на земле.

В случае Сурена произошло следующее. Приученный верить в некие предположения как в незыблемые догмы, он стал сходить с ума, одолеваемый ужасом и отчаянием. К счастью, существовали и иные предположения, не менее догматичные, но куда более обнадеживающие.

12 октября 1655 года один из иезуитов в коллеже города Бордо (куда к этому времени вернулся Сурен) пришел в комнату к Жан-Жозефу, чтобы выслушать его исповедь и приготовить своего духовного сына к причастию. Единственный грех, в котором мог обвинить себя больной, заключался в том, что злодеяния его недостаточно отвратительны. Ведь если Господь присудил его к проклятью, то он должен безропотно сносить этот приговор, предаваясь всем возможным порокам. А вместо этого он всегда старался вести себя добродетельно. «Читателю может показаться смешным, что христианин терзается из-за недостаточной своей греховности. Теперь я думаю так же». Эти слова были написаны в 1663 году. Но в 1665 году Сурен все еще считал себя «пропащей душой» и верил, что обязан поступать соответственно. Однако его нравственное устройство было таково, что он был способен лишь на добрые поступки. Тем самым он совершал грех еще более тяжкий, чем преднамеренное убийство (во всяком случае, так ему казалось). В этом-то грехе он и признался исповеднику, ибо был «не обычным человеком, у которого еще есть надежда, а одним из проклятых». Исповедник, судя по всему, человек добрый и умный, и к тому



же хорошо знавший пристрастие Сурена к преувеличениям, уверил кающегося грешника, что отчаиваться не стоит. Ему, исповеднику, было видение, из которого следовало, что для Сурена все закончится хорошо. «Ты поймешь свое заблуждение, научишься мыслить и поступать, как другие люди, и покинешь сей мир в покое». Эти слова произвели на Сурена огромное впечатление, и с этой минуты удушающее облако страха и отчаяния понемногу стало рассеиваться. Бог не отвернулся от него, надежда еще оставалась. И он стал надеяться на выздоровление в этом мире и на спасение в следующем.

С надеждой понемногу возвращалось и здоровье. Один за другим исчезали психосоматические симптомы. Сначала Сурен снова научился писать. Как-то раз, в 1657 году, после восемнадцати лет вынужденной неграмотности, он вдруг взял перо и написал целых три страницы размышлений о духовной жизни. Буквы получились «такими неуклюжими, что их едва можно было прочесть», но это не имело значения. Главное — рука наконец начала его слушаться, равно как и рассудок.

Еще через три года он снова научился ходить. Это произошло, когда он гостил в деревне, у своего друга. Вначале иезуита переносили из спальни в столовую и обратно двое лакеев, «ибо я не мог сделать ни единого шага, не вскрикивая от боли. Это были не те боли, которые ведомы паралитикам, а судороги, стискивавшие мои внутренности, так что я испытывал сильнейшее раздражение в чреве». 27 октября 1660 года к Сурену приехал родственник, и когда гость собрался уходить, Сурен с огромным трудом потащился к двери его провожать. Там он стоял, глядя вслед уходящему, смотрел в сад и вдруг «начал отчетливо видеть все те предметы, которых из-за чрезмерной воспаленности нервов не замечал все эти пятнадцать лет». Вместо привычной боли Жан-Жозеф вдруг ощутил «некоторую живость». Он спустился по пяти или шести ступенькам, сошел в сад и стал озираться по сторонам. Он видел кусты, зеленую траву, цветы, деревья. А еще дальше, на низких холмах желтели листвой осенние леса, весь пейзаж серебрился под лучами неяркого солнца. Ветра не было, и тишина нависла над миром, словно хрустальный полог. Повсюду разворачивался чудесный спектакль красок, силуэтов и линий. Время шло, и в то же время не двигалось, ибо Сурен ощущал присутствие вечности.

На следующий день Сурен снова отважился ступить во внешний мир, о существовании которого за минувшие годы почти совершенно забыл. День за днем его экспедиции становились все смелее, и однажды он дерзнул добраться до самого колодца. Впервые колодец не поманил его возможностью самоубийства. Монах даже вышел за пределы сада и бродил,

утопая в мертвых листьях, по роще, расположенной за пределами монастыря.

Жан-Жозеф был исцелен.

Говоря об открытии внешнего мира, Сурен пишет про «чрезвычайную обостренность нервов». Но эта обостренность не мешала ему по-прежнему сосредоточенно размышлять о теологических проблемах и о фантазиях, которые произрастали из теологии. В свое время именно эта болезненная увлеченность столь катастрофическим образом отрезала его от природы. Еще задолго до начала болезни, оторвавшей его от жизни, Сурен существовал в мире, где слова и их производные были куда существеннее, чем подлинная жизнь, ее явления и предметы. С утонченным безумием человека, не знающего предела в вере, Лальман учит, что «ничему на свете не следует дивиться и изумляться кроме Святого Причастия. Если Бог и способен удивляться, то Он удивился бы лишь этой тайне, да еще разве что тайне Воскрешения... После Воскрешения удивляться нам нечему». Не радуясь и не удивляясь ничему в окружающем мире, Сурен лишь следовал предписаниям своего учителя. Он мечтал лишь о том, чтобы давать, но не хотел ничего брать. А ведь наивысший Дар Божий — это именно акт дарения. Царство Божие должно наступить на земле, а для этого нужно принять земную жизнь такой, какая она есть, а не такой, какой она представляется разуму, подточенному догмами, а также неосновательными предпочтениями и предрассудками.

Будучи строгим ригористом, свято верующим в порочность падшего мира, Сурен, вслед за Лальманом, считал, что в природе нет ничего чудесного и удивительного. Однако теория никак не желала совпадать с жизненным опытом. В «Духовном катехизисе» Жан-Жозеф пишет: «Иногда Святой Дух просвещает душу не сразу, а постепенно; для этого Он пользуется всеми средствами, доступными человеческому восприятию, — животными, деревьями, цветами и прочими плодами творения. Делает Он это для того, чтобы посвятить душу в великие истины, исподволь показать ей, как следует служить Господу». Есть и еще один фрагмент, где говорится о том же самом: «В цветке, в насекомом Господь являет душам все сокровища Своей мудрости и доброты; более ничего не нужно, чтобы зародить в душе любовь». Говоря о самом себе, Сурен пишет, что «во многих случаях мою душу озаряло состояние благодати, и тогда казалось, что солнце светит куда ярче, чем обычно, но при этом остается мягким и ласковым, будто бы это не естественный свет, а какой-то иной, более высокого происхождения. Однажды, когда я пребывал в этом состоянии, я вышел в сад нашего коллеги в Бордо, и свет этот был так чудесен, что мне

пригрезилось, будто я нахожусь в раю». Сурену казалось, что все цвета «ярче и прекраснее, чем естественные», что все предметы вдруг стали необычайно красивыми и изысканными. Благодаря счастливой случайности, Жан-Жозеф сумел войти в врата вечного мира, в котором мы жили бы ежечасно, если бы, как выразился Блэйк, «очистили двери восприятия». Но экстатическое состояние продолжалось недолго, и впоследствии, на протяжении всей долгой болезни Сурена, больше к нему не возвращалось. «Во мне осталось лишь воспоминание о великом событии, превосходящем красотой и величием все, что я знаю в этом мире».

Человек, которому, пусть на миг, открылось Царство Божие на земле, отказался воспринять этот знак и отрекся от всех плодов творения. Произошло это из-за того, что Сурен чрезмерно полагался на слова и абстрактные понятия. На собственном жизненном опыте он видел, что такое Бог, но не сумел воспользоваться этим опытом, а предпочел упорствовать в безумном отрицании чудесного волшебства, которое содержится в Божьем творении. Сурен устремил все свои мысли к мрачным фантазиям и предположениям. Нет более эффективного пути для того, чтобы отвернуться от Божьей славы и красоты.

Всякий раз, когда Антей касался земли, в нем возрождалась мощь. Вот почему Гераклу пришлось поднять великана в воздух — иначе богатырь с ним бы не справился. Сурен был одновременно античным героем и античным титаном, который черпал силы от земли, но в то же время, усилием воли, отрывался от почвы и начинал задыхаться, болтая ногами в воздухе. Он стремился к освобождению, но неправильно трактовал союз с Сыном Божиим. Ему казалось, что этот союз означает отрицание Божественного естества природы. Поэтому Жан-Жозеф мог лишь отчасти понять, как душа сливается с Богом Отцом и Святым Духом. Поначалу исцеление состояло не в переходе из тьмы в «состояние блаженной трезвости», наступающее, когда человеческий ум допускает к себе Высший Разум и мы вдруг начинаем осознавать, кем мы являемся на самом деле. Нет, Сурен просто перешел из одного патологического состояния в другое, где беспредельное отчаяние сменилось беспредельной благодатью. Следует отметить, что даже в худшие периоды болезни Сурен иногда испытывал моменты радостного просветления, когда ему казалось, что проклявший его Бог все-таки не покинул его. Теперь подобные просветления происходили чаще, а убежденность постепенно крепла все сильнее. Одно душевное переживание сменялось другим, видения делались все более светлыми и ободряющими, а ощущения животворными. Но «если хочешь почтить

Нашего Господа, как Он того заслуживает, нужно отучить сердце от пристрастия к духовным восторгам и осязаемой благодати. Нельзя зависеть от этих явлений. Единственной поддержкой должна быть вера. Лишь вера способна очистить нас и приблизить к Богу; вера опустошает душу, и Господь заполняет Собой эту пустоту». Так писал Сурен более двадцати лет назад одной из монахинь, просившей у него совета. Примерно в тех же словах отец Бастид, доброте которого Сурен был обязан своим исцелением, объяснялся теперь со своим подопечным. Душевные переживания, сколь бы возвышенными и утешительными они ни были, неравнозначны просветлению. Более того, они неспособны и приблизить просветление. Говоря все это, Бастид ссылаясь на христианских вероучителей, цитировал святого Жана де ла Круза. Какое-то время Сурен следовал наставлениям Бастида. Однако проявления чудесной благодати беспрестанно являлись ему вновь и вновь. Когда Жан-Жозеф отказывался их воспринимать, они немедленно превращались в свою противоположность, неся с собой мрак и отчаяние. Казалось, Бог снова отвернулся от него, опять вверг его в прежнее состояние. Несмотря на все доводы Бастида и Жана де ла Круза, Сурен снова вернулся к своим видениям, экстазам, вдохновениям. В ходе развернувшейся дискуссии оба оппонента, а также настоятель отец Анжино решили обратиться к Иоанне от Ангелов. Не спросит ли она своего Доброго Ангела, что тот думает об особенной благодати? Добрый Ангел поначалу высказался в пользу точки зрения Бастида. Сурен стал возражать, и после продолжительной переписки между сестрой Иоанной и тремя иезуитами, ангел объявил, что обе стороны правы, ибо каждая из них всеми силами старается услужить Господу. Остались довольны и Сурен, и Анжино. Но Бастид от своего не отступился. Он дошел до того, что высказал пожелание, чтобы сестра Иоанна перестала общаться с небесным двойником господина де Бофора. И Бастид был не единственный, кому эти отношения не нравились. В 1659 году Сурен сообщил настоятельнице, что некий известный деятель церкви жалуется, будто она «открыла лавку, в которой торгует советами своего ангела, и люди обращаются туда, когда им нужно с кем-нибудь судиться, жениться и тому подобное». Следует немедленно прекратить все это, то есть не разорвать отношения с ангелом, как требует отец Бастид, но обращаться к нему лишь с духовными вопросами.

Шло время. Сурен настолько поправился, что смог сам навещать больных, выслушивать исповедь, проповедовать, писать, наставлять верующих устно и письменно. Он по-прежнему вел себя довольно странно, и начальство считало необходимым подвергать его письма цензуре, боясь,

не окажется ли в них чего-нибудь неподобающего или чересчур экстравагантного. Но эти подозрения были беспочвенны. Человек, продиктовавший «Духовный катехизис», когда все считали его безумцем, теперь был достаточно предусмотрителен, чтобы не совершать неосторожных поступков.

В 1663 году он написал книгу «Экспериментальная наука», где описал историю своей одержимости и все последующие испытания. Это было время, когда к власти уже пришел Людовик XIV, но Сурена не интересовали «дела публичные и замыслы великих мира сего». Его занимали Святые Дары, Евангелие, Божий опыт — всего этого было достаточно. Очень часто этого оказывалось даже более чем достаточно. Сурен старел, силы оставляли его, «а любовь плохо дается слабым; ей нужен прочный сосуд, способный выдержать давление». Недолгий период экстатического здоровья остался в прошлом. В прошлом осталось и увлечение особенной благодатью. Но у Сурена нашлось занятие получше. Он пишет сестре Иоанне, что «недавно Господь дал мне одним глазком взглянуть на Его любовь. Сколь велика разница между глубиной души и ее возможностями! Глубина души поистине беспредельна, в ней таятся сверхъестественные сокровища, но при этом сколь скудна наша душа в поступках. Обладая высочайшим и тончайшим чувством Бога, а также утешительным даром любви, она не может передать все эти чудесные вещи другим людям. Может показаться со стороны, что тот или иной человек лишен какого-либо интереса (к вопросам веры), не обладает никакими талантами и являет собой полное ничтожество... Ужасно наблюдать, когда душа никак не может вырваться из тенет своих скудных способностей; из-за этого происходит угнетение, мучительнее которого трудно что-либо вообразить. В глубинах души происходит как бы скопление влаги, которая, не находя места для утечки, давит на душу изнутри и истощает ее силы». Каким-то парадоксальным образом в смертном существе содержится элемент вечности, и это противоречие может оказаться губительным. Но Сурен не жалуется. Он считает, что мука эта благословенная, а смерть, которой она чревата, — наивысшая из наград.

Находясь во власти своих видений и экстатических переживаний, Сурен шел по дороге, которая, должно быть, вела через весьма живописный ландшафт, однако заканчивалась полнейшим тупиком. Но вот он избавился от навязчивой идеи о «особенной благодати» и теперь был готов к тому, чтобы воспринять истинное пробуждение и просветление. Теперь наконец он жил «в доброй вере», к чему давно уже призывал его Бастид. Жан-Жозеф стоял перед миром интеллектуально и эмоционально

обнаженный; он опустошил свою жизнь, дабы она могла наполниться; признал себя бедным, чтобы Бог мог сделать его баснословно богатым. За два года до смерти он писал: «Рассказывают, что ловцы жемчуга, бродя по морскому дну в поисках добычи, дышат через трубку, которая протянута к поверхности воды и плавает там на поплавках. Не знаю, правда ли это, но эта аллегория хорошо проясняет то, что я хочу сказать: у души тоже есть дыхательная трубка (святая Катерина Генуэзская называет ее „каналом“), которая тянется от земли на небеса, к самому сердцу Господа. Через эту трубку душа вдыхает мудрость, любовь и пропитание. Бродя по земле в поисках жемчужин, душа общается с другими душами, проповедует и выполняет волю Божию. Все это время по трубке к ней поступают вечная жизнь и утешение... Поэтому душа пребывает одновременно в блаженстве и несчастье. И все же мне кажется, что душа эта счастлива... В невзгодах и тяготах земной жизни, во всех наших слабостях и беспомощности, Господь дарует нам нечто, что невозможно в полной степени понять и оценить... Это некая рана любви, которая, не источая ни единой капли крови, пронзает душу и наполняет ее жаждой слияния с Богом.»

Итак, старый Жан-Жозеф, искавший жемчужины на земле, зажимающий в зубах трубку, через которую он вдыхал кислород из иного мира, брел к концу своих дней. За несколько месяцев до смерти он издал последнее из своих религиозных сочинений «Вопросы о любви Божьей». Читая некоторые главы этой книги, мы понимаем, что последняя преграда пала, что еще для одной души Царство Божье наступило на земле. Через «канал», соединяющий эту душу с сердцем Господа, на нее снизошел «мир, не похожий на морской штиль или тихое течение равнинных рек, но мир Божественный, подобный всеохватному потоку; душа, перенесшая столько бурь, наслаждается этим миром; благодать не просто проникает в душу, не только покоряет ее, но сливается с нею, как сливаются воедино бурные воды. Мы помним, как в „Апокалипсисе“ Дух Божий поминает о музыке арф и лютней, подобной грому. Вот каковы чудесные промыслы Божьи — даже благозвучные лютни превращаются у Него в громовой раскат. Не знаю, поверят ли люди, что покой тоже может уподобиться бурному потоку, сносящему дамбы, подмывающему берега и разрушающему скалы? Но именно это происходит со мной, ибо Богу под силу делать так, чтобы мир и любовная тишь сокрушали все на своем пути... Божий покой подобен реке, которая текла по территории одной страны, а потом, прорвав плотину, свернула в иные пределы. При этом происходят нарушения заведенного порядка вещей, ибо поток этот несется властно и неостановимо; он покорен одному лишь Богу. Только покой Господень шествует подобным образом,

не разоряя землю, а лишь наполняя русло, заранее обозначенное Всевышним. С яростью и громом движется этот поток, хоть воды его и безмятежны. Гром же происходит исключительно из-за обилия влаги, но не из-за ее гневливости; и воду движет не буря, вода перемещается сама, не утрачивая естественного своего спокойствия; движется она и тогда, когда нет ни единого дуновения ветра. Море встречается с землей и лобзает берега в их пределах. Оно наступает на сушу торжественно и величественно. Так происходит и с душой, когда после долгих страданий на нее нисходит бесконечный покой, и тогда ветер не поднимет ряби на ее поверхности. Вот он каков, Божий покой, несущий с собой сокровища Всевышнего и все богатства Его Царства. Есть у этого наводнения свои буревестники и предвестники, оповещающие о его приближении; сие — посещения ангелов, предшествующих потоку. Они несут с собой знамения из иной жизни, голоса их полны небесной гармонии, и летят они столь быстро, что душа захлебывается, но не от страха, а от благодати.

Обильность сего наводнения не приносит вреда никому и ничему — лишь сметает на своем пути препятствия. Все хищные звери спасаются бегством от нашествия покоя. А вместе с покоем грядут все сокровища, обещанные Иерусалиму — кассия, и янтарь, и прочие редкостные вещи. Вот как грядет Божий покой — изобильно, блаженно, в сопровождении всех щедрот благодати».

Прошло более тридцати лет с тех пор, как в Маренне молодой монах смотрел на неспешные валы Атлантического океана. И вот теперь воспоминания о том повседневном чуде помогли его душе «выплеснуться» в красноречивом гимне первосущему Факту. Сурен вернулся туда, где его душа, сама о том не зная, всегда обреталась. Когда весной 1665 года к нему пришла смерть, то, по словам Якоба Бёме, «ему не нужно было никуда перемещаться» — ибо он уже и так находился там.

## Примечания



В оригинале перевода — Жанна, но советские люди знают ее прежде всего по фильму Ежи Кавалеровича «Matka Joanna od Aniolow», а там она Иоанна.

Джозеф Холл (1574–1656) — английский литератор и религиозный деятель (здесь и далее, где не указано особо, примечания переводчицы).

Жюль Мишле (1797–1874) — французский историк-антиклерикал.

Жан де Лабадье (1610–1674) — французский теолог, перешедший из католицизма в протестантизм и ставший одним из основателей пиетизма (пиетизм — мистическое учение, противостоящее ортодоксальному протестантизму; отличалось консерватизмом и антиинтеллектуальностью. *(Примеч. ред).*

Ораториане — члены конгрегации священников, основанной Филиппо Нери в Риме в 1575 г. Ораториане отличались миссионерским рвением, занимались религиозным воспитанием и благотворительностью.

Знаменитая фраза Людовика XIV.

Пьер Бейль (1647–1706) — франко-голландский писатель и теолог, автор «Исторического и критического словаря».

Следующие фрагменты взяты из книги Г. Ли «История celibата» (Глава 29 «Посттридентская церковь»), посвященной состоянию французской церкви после Тридентского собора.



«Малоценный организм», подопытное животное (*лат.*).

$\Phi y! (\phi p)$ .

Пред Господом склоняясь.  
Молитве предаваясь,  
Мы кротки и смиренны.  
Под колокольный звон  
Взираем на амвон,  
Коленопреклоненны.  
В постели кувыркаясь,  
Телами сочленяясь,  
Мы страстны и греховны.  
Смеемся беззаботно  
И учимся охотно  
Премудростям любовным.

Франциск Сальский (1567–1622) — один из лидеров Контрреформации в Швейцарии, основатель монашеского ордена визитанток. *(Примеч. ред.)*.

Драгоннады — во Франции постои драгун с целью терроризировали гугенотов и предупредить их восстания. (*Примеч. ред.*).

Жан-Луи Гез де Бальзак (1597–1654) — французский писатель.

Видно, не без основанья  
Златоуст был выбран сей,  
Церемонию прощанья  
Произвестъ во славе всей;  
Проявил он без сомненья  
Красноречья чудный дар,  
И усопшему хваленья  
Подобающе воздал.

Сколь часто я воображал  
Ночные, тайные улады —  
Как тело нежное наяды  
В объятьях пылких я держал.  
Но мне сих радостей, увы,  
Еще не подарили вы.



Прощайте, о нежные речи,  
Прощайте, лилейные плечи,  
Прощайте, лилейные грудки,  
Прощайте глаза-незабудки.  
Прощайте, игривые ручки,  
Прощайте, заветные штучки,  
Прощай навек, сердечный друг,  
С кем нежный разделил досуг.  
Но на прощанье позови  
Еще хоть раз вкусить любви  
Меж грудью чище серебра  
И белым мрамором бедра.

Чарльз Брэдлоу (1833–1891) — британский радикал и атеист.

Так все земные твари — люди, звери, морские создания,  
скотина и разноцветные птицы —  
подвержены страстям; любовь одинакова для всех (*лат.*).

В едином порыве покачиваются пальмы,  
согласно вздыхают тополя, а с ними и платаны,  
и ольха перешептывается с ольхой (*лат.*).

Из старика паршивый вояка, паршивый и любовник (*лат.*).

Сколь широкое, прекрасное бедро, что за юная ляжка (*лат.*).

Сердце не поделишь ровно пополам.  
Больше, чем другого, любишь себя сам.

Пер. Б. Пастернака.



Роберт Фладд (1574–1637) — британский врач и мистический философ.

Кенелм Дигби (1603–1665?) — британский философ, дипломат и ученый.

Роберт Бойл (1627–1691) — англо-ирландский химик и натурфилософ, предвестник современной теории химических элементов.

Гален (130–200) — римский врач, автор трактата о частях человеческого тела. Учение Галена было популярно в средневековой Европе.

Из материалов гугенотского синода, проведенного в Пуатье в 1560 году, явствует, что священники довольно часто втайне женились на своих наложницах, и это создавало особенные проблемы, если женщина придерживалась кальвинистского вероучения (Генри Ли «История celibата». Глава 29 «Посттридентская церковь») *(Примеч. авт.)*.

«Легитимная истина велика и преобладающая» (лат.).

Иозеф Юстус Скалигер (1540–1609) — голландский филолог и историк.

Игра слов: вместо «кардинал Сурдис, архиепископ Бордоский» — «кардинал Непотребный, архиепископ Бордельский».



*Тальман де Ро. Историйки. Париж, 1854. Т. 2. С. 337. (Примеч. авт.).*

Завести роман с господином епископом Мальезейским, вашим деверем  
(фр.).

«Облако незнания» — английский анонимный мистический трактат XIV века.

Джеральд Мэнли Хопкинс (1844–1889) — английский поэт и священник-иезуит.

Шравака (санскр. «внимающий») — послушник первой стадии в хинаянском буддизме.

Пелагианство — одна из раннехристианских ересей; полупелагианством называлось богословское учение о благодати и свободе.

Джон Б. Уотсон (1878–1958) — американский психолог, один из основоположников теории бихевиоризма.

Мигель де Молинос (1628–1696) — священник, осужденный за приверженность к квиетизму, христианской доктрине, отстаивающей «пассивную», «бездейственную» веру.



В одном из писем Сурен писал: «Утешение и радости молитвы неотрывны от умерщвления плоти». В другом месте он пишет, что «неистязаемое тело вряд ли сможет воспринять явление ангелов. Для того, чтобы заслужить любовь и ласку Господа, нужно либо много страдать душевно, либо истязать свое тело». *(Примеч. авт.)*.

«Иезуиты пытаются соединить Господа и мир, но в результате обретают лишь презрение и с той, и с другой стороны». Б. Паскаль.  
(Примеч. авт.).

Добрая Армель (фр.).

Пор-Рояль — знаменитый женский монастырь бернардинок в Париже; в семнадцатом веке — оплот янсенизма.

«Изгоняю тебя, нечистый дух, посланец Врага, изгоняю весь ваш легион именем Господа Иисуса Христа; да обратитесь вы в бегство, да оставьте в покое сию рабыню Божию» (*лат.*).

«Заклинаю тебя, древний змей, именем Судии всего живого и мертвого, именем Создателя, сотворившего и тебя, и весь мир, именем Того, кто имеет власть, сослать тебя в Геенну Огненную, дабы ты оставил сию рабыню Божию, позволил ей вернуться в лоно Церкви, избавил ее от страхов и твоей злой ярости» *(лат.)*.

Барре был не первым, кто изобрел столь радикальное средство для изгнания бесов. Лальман рассказывает, что некий французский дворянин, господин де Фервак, точно таким же образом избавил от нечистой силы одну свою знакомую монахиню. А в наши дни в Южной Африке некоторые племена используют клистир с святой водой для обряда крещения. *(Примеч. авт.).*

Томас Киллигрю описывает прекрасную сестру Агнесу, которую он видел в Лудене в 1635 году. Эта монахиня, красота которой сочеталась с шокирующе непристойным поведением, заслужила у экзорцистов прозвище «Хорошенькой дьяволицы». Томас Киллигрю пишет: «Она была очень молода и хороша собой, нежна и стройна, одним словом, самая привлекательная из них всех... Миловидность ее лица омрачалась меланхоличным выражением. Когда я вошел в часовню, она спрятала лицо за покрывалом, но тут же вновь открыла его. (Надо заметить, что Томасу Киллигрю в ту пору было двадцать лет и он считался писанным красавцем). И хотя она стояла передо мной связанная, как рабыня, в ее черных глазах можно было прочесть отсвет былых триумфов». Итак, сестра Агнесса «была связана, как рабыня». А чуть далее Киллигрю описывает, как священник топтал несчастную девушку ногами. Она каталась по полу в конвульсиях, а он с торжественным видом встал на нее. «То было поистине жалкое зрелище, — пишет Киллигрю, — и я не стал смотреть, как произойдет чудо ее избавления от демонов, а предпочел вернуться на постоянный двор». (Примеч. авт.).



Урбен... Назови его звание... Священник... Какой церкви?.. Святого Петра (*лат.*).

Квислинг Видкун (1887–1945) — лидер норвежских фашистов. Сотрудничал с гитлеровцами, после поражения Германии был казнен по приговору суда.

Джеймс Босуэлл (1535–1578) — третий муж Марии Стюарт, королевы Шотландской. Современники обвиняли его в колдовстве и чернокнижии.

Маркиза Франсуаза де Монтеспан (1641–1707) — фаворитка Людовика XIV. Обвинялась в отравлениях и поклонении Сатане.

Старая религия (*ит.*).

Кордельеры — ветвь католического ордена францисканцев.

Подробные и точные описания психиатрических методов лечения стали вестись со второй половины восемнадцатого века. Известный психолог, изучивший эти документы, рассказывал мне, что из них можно извлечь очень важный вывод: коэффициент успешности психиатрического лечения за два века почти не изменился, хотя ныне используются совсем другие методы. Нынешние психоаналитики излечивают не больший процент пациентов, чем лекари 1800 года. А может быть, в 1600 году было то же самое? Точного ответа на этот вопрос мы не знаем. Скорее всего, результаты были гораздо хуже. Дело в том, что в семнадцатом веке к душевнобольным относились с чрезмерной жестокостью, что во многих случаях наверняка усугубляло болезнь. В одной из последующих глав мы еще вернемся к этой теме (*Примеч. авт.*).

Кому ты поклоняешься? (лат.).



Иисусу Христу (*лат.*).

Кто тот, кому ты поклоняешься? (*лат.*).

Неправильно. Следовало ответить: «Jesum Christum».

Я поклоняюсь тебе, Иисус Христос (*лат.*).

Вероятно, Мейтленд имел в виду гэльское наречие своей родной Шотландии.

Господь не хочет (*лат.*).

Господь не хочу (*искаж. лат*).

Когда экзорцист приказал сестре Клэр (чтобы проверить ее экстрасенсорные способности) выполнить приказ, которого она слышать не могла, монахиня покатила по полу в судорогах, «задирая юбку и рубашку, так что оголились ее срамные части, сама же она при этом выкрикивала непотребные слова. Жесты ее становились все более похабными, и многие из свидетелей стыдливо закрывали лица. Монахиня кричала, показывая руками: „Ну же, кидайтесь на меня!“», а в другой раз та же самая Клэр де Сазийи «до того захотела переспать со своим дружкой (по ее уверению, его звали Грандье), что схватила Святые Дары, убежала к себе в келью, и сестры, преследовавшие ее, увидели, как она распятием совершает акт, описать который не позволяет целомудрие». (Примеч. авт.).



В письме, датированном 26 января 1923 года, Джон Чэпмен пишет следующее: «В семнадцатом-восемнадцатом веках многие из благочестивых прошли через период сомнений, когда им казалось, что Бог покинул их... Сегодня такого, кажется, уже не происходит. Но нашим современникам приходится выдерживать испытания другого рода: им вдруг кажется, что *они утратили веру*, то есть они, как правило, сомневаются не в какой-то частной стороне веры, а в истинности всей религии... Единственное спасение здесь — отнестись с презрением к этим сомнениям, не обращать на них внимания и лишь уверять нашего Господа, что ты готов страдать ради Него, сколько Ему будет угодно; с такими словами нельзя обращаться к Тому, в Кого ты не веришь». (Примеч. авт.).

Маркиз де Сен-Мар и де Ту были обвинены в заговоре против кардинала Ришелье и казнены в 1642 году.

Сознайся, сознайся! (*лат.*).

Бог мой, смилуйся надо мной, Боже (лат.).

Герой романа Поля Валери «Вечер с господином Тестом».

«Такие сверхъестественные страдания, как одержимость, часто становятся плодом иллюзий. Совершенно ясно, что желать этих испытаний нельзя, а если они выпадают на нашу долю, то тогда сносить их следует безропотно. Если мы хотим страдать, то нужно умерщвлять свою плоть и подавлять гордыню. Только так мы избавимся от опасности впасть во грех, природа которого нам неведома и властвовать над которым мы не властны. Но воображение наше стремится к чудесному, жаждет романтических добродетелей, до которых так охоча публика... И далее: испытание, именуемое „одержимостью“, смущает дух не только самого одержимого, но его духовных наставников, а также всей общины. Милосердие воспрещает нам призывать на себя подобный вид страданий» (А. Пулен. «Благость внутренней молитвы»). *(Примеч. авт.)*.

Эти явные проявления одержимости впервые проявились 6 апреля. С 19 января, когда Сурен впервые почувствовал себя одержимым, и до апреля симптомы одержимости, очевидно, были чисто психологическими. *(Примеч. авт.)*.

В первый (и, видимо, в последний) раз это письмо было опубликовано в «Европейском журнале», февральский выпуск 1803 года. (*Примеч. авт.*).



«Суеверие подобно разврату», — говорит Паскаль. И в другом месте: «Естественный порок — недоверчивость, другой, ничуть не лучший, — суеверие». (*Примеч. авт.*).